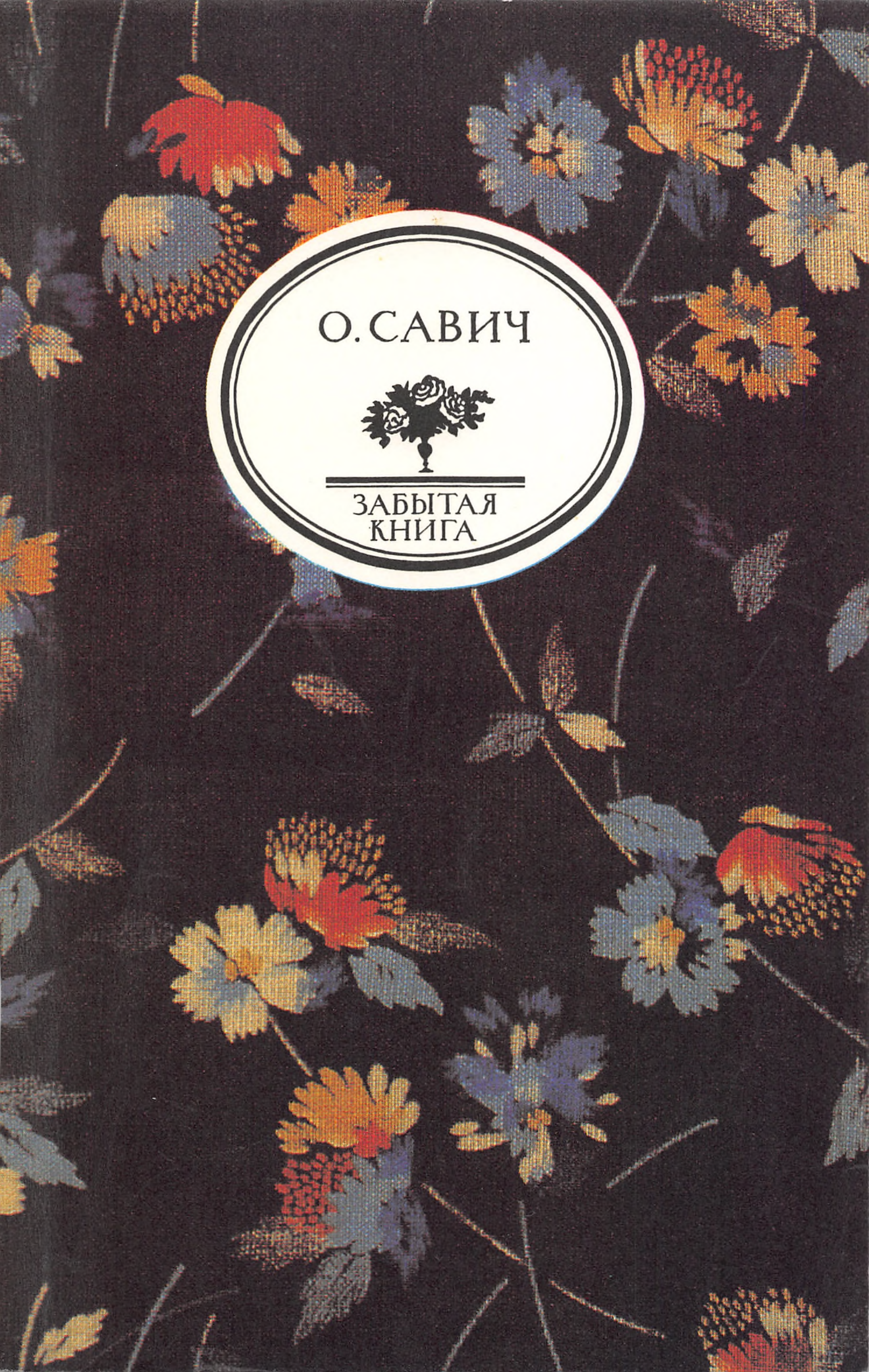

О. САВИЧ
ЗАБЫТАЯ
КНИГА



ЗАБЫТАЯ КНИГА

О. САВИЧ

О. САВИЧ

ВООБРАЖАЕМЫЙ СОБЕСЕДНИК

РОМАН



Москва
«Художественная литература»
1991

ББК 84Р7
С13

Подготовка текста

А. Савич

Вступительная статья

В. Каверина

Оформление художника

А. Семенова

С $\frac{4702010201-163}{028(01)-91}$ КБ-39-39-90

ISBN 5-280-01811-2

МЕСТО В МИРЕ

1

Мы встречались сравнительно редко, и я не мог бы сказать, что это были запомнившиеся встречи. Савич был человеком, который не делал ни малейших усилий, чтобы запомниться, произвести впечатление. Он знал — это чувствовалось — цену показного блеска. При этом внешность его как раз запоминалась. Он был хорош собой — с бледным, матовым лицом, с седой шевелюрой, с мягкими движениями, неторопливый, сдержанно-ровный.

Не помню, когда мы познакомились,— должно быть, в конце сороковых годов, когда я переехал в Москву из Ленинграда. Знал я тогда о нем очень мало — близкий друг Эренбурга, в доме которого мы встречались, переводчик, участник испанской войны. И наши короткие, где-нибудь в стороне от шумного стола, разговоры почти ничего не прибавляли к этому знанию о нем, кроме, может быть, впечатления некоторой отстраненности, заставляющей догадываться о замкнутости душевного мира. Когда мы познакомились ближе, я понял, что ошибаюсь. Он был общителен, хотя и немногословен. То, что он говорил, вынимая трубку изо рта и попыхивая дымком, было направлено к собеседнику не для того, чтобы заставить его прислушаться, а для того, чтобы внимательно выслушать собеседника, а потом в двух-трех словах согласиться или не согласиться.

Что можно было сказать о Савиче по его внешности, по манере держаться? Он был похож на государственного деятеля западного типа — министра, дипломата. Сходство обманывало.

Его светлые глаза под глубокими надбровными дугами смотрели на мир задумчиво, внимательно, немного грустно — но однозначно.

Овадий Герцович Савич родился в 1896 году в интеллигентной семье, вырос без отца (родители рано разошлись) — и с детства был погружен в книги. Он рано начал писать стихи и еще в юности собрал редкую по содержательности и полноте библиотеку поэзии.

В 1915 году он поступил на юридический факультет Московского университета.

Он любил театр, проводил в Малом все вечера. Случай сделал его профессиональным актером.

Подыгрывая товарищу, поступавшему в театральное училище, он был отмечен экзаменаторами, среди которых были известные артисты.

— А вы не собираетесь посвятить себя театру?

— Нет.

— Очень жаль!

Этот короткий разговор решил судьбу Савича. В следующем, 1916 году подыгрывали ему. Он кончил театральную школу (при Театре имени Комиссаржевской) и сыграл десятки ролей. В те годы еще сохранились так называемые «амплуа». Для роли первого любовника у него не хватало трех-четырех сантиметров роста (хотя он был довольно высок), а глаза сидели в глазницах слишком глубоко.

Он был актером Театра имени Комиссаржевской, Государственного Показательного театра, а в революционные годы служил в разъездной красноармейской труппе. Сохранился рассказ о том, как, играя смертельно раненного красноармейца, или, точнее сказать, читая свою роль по тетрадке, он обнаружил нехватку нескольких страниц и сымпровизировал патетический монолог, заслужив глубокую признательность автора пьесы, который был одновременно комиссаром части.

Актерские скитанья Савича отразились в повести «По холстяной земле» (1923), написанной в беспокойной, беглой импрессионистической манере. На первый взгляд главные герои повести — актеры, а на деле — потревоженный приездом передвижного театра мещанский быт какого-то южного города (очевидно, Астрахани).

Лишь отдельные детали говорят о том, что повесть написана профессиональным актером. Был ли им Савич? Едва ли. Если вспомнить «Парадокс об актере» Дидро, легко предположить, что в Савиче не было той необходимой холодности, которая определяет расстояние между актером и лицом, которое он изображает. Думаю, что он принадлежал к тем артистам, которые хорошо играют только себя. Расстояние — это видно по его записным книжкам — пришло через много лет и не для того, чтобы играть других, а для того, чтобы увидеть и понять себя.

В 1923 году Савич ушел из театра. Он жил в Париже, оставаясь советским гражданином и продолжая работать в на-

шей литературе. В 1927 году вышли две книги рассказов — «Короткое замыкание» и «Плавучий остров».

Они написаны в другой стилистической манере, чем повесть «По холстяной земле»,— от так называемого (в те годы) орнаментализма Савич пытался перейти к простоте бунинской прозы. И это удалось — по меньшей мере в лучших рассказах («Никитин день» и «Конокрады»). Заметны и другие влияния (Эренбург). Но не поиски стиля останавливают внимание читателя в наши дни, через сорок лет после выхода этих книг, а поиски характера. Что общего между Ванькой Смех, участником банды зеленых, и аккуратным, безукоризненным, сдержанным Борисом Потье, проводником международного вагона? Но общее есть. Весело-равнодушный восемнадцатилетний бандит, бесшабашный головорез, вдруг возвращается к тяжело раненному комиссару, взятому зелеными в плен и зарытому в землю по горло. Он спасает его, а потом, вернувшись в отряд, убивает своего атамана.

Магическая сила вырывает Мориса Потье из купе международного вагона и бросает в пространство, где он «взлетает и ныряет без карт» — пока не попадает в революционные годы в Москву, а оттуда в Сибирь. Сражаясь против колчаковцев, он погибает с криком: «En avant, camarades!» Главная улица сибирского городка названа именем Мориса Потье, «жители зовут ее Ипатьевской».

Казалось бы, нет ни малейшего сходства в судьбах этих людей. Но общее есть: они выбирают. В грохоте разъятой, внезапно рухнувшей жизни, в сумятице случайностей, в «безумном круженье по горам, в провалах и скатах» они находят в себе душевные силы, чтобы выбрать свой единственный путь. Это — выбор нравственный, выбор света, поворот внутрь, к духовной глубине человека, к его «человечности». Об этом написаны и другие рассказы: «Иностранец из № 17», «Сказка о двух концах». Но выбирают не только герои. Выбирает автор,— можно смело сказать, что, несмотря на подражательность, неуверенность, стилистическую шаткость первых произведений Савича, ему удалось наметить ту психологически-нравственную основу, в которой впоследствии органически слились и он сам как личность, и его произведения.

3

Спокойный, положительный, порядочный, всеми уважаемый человек, специалист по сукну, Петр Петрович Обыденный неожиданно совершает очень странный поступок. Он берет из открытого ящика бухгалтерского стола сто червонцев (дело происходит в 1928 году), хотя они ему вовсе не нужны. Берет не думая, машинально — и на следующий день возвращает. Правда, не полностью. Пять червонцев он успел одолжить своему квартиранту, актеру Черкасу.

В губернском распределителе суконного треста — смятение, почти катастрофа. Но все устраивается. Петра Петровича любят и ценят, недостающие деньги тут же собирают сотрудники. Провинившегося — тем более что он безупречный работник — прощают. Его странный поступок стараются не заметить, забыть. Но что-то остается. Это *что-то* — загадочность проступка, его очевидная бесцельность, его пугающая необъяснимость. Никто не верит, что Петр Петрович взял деньги «просто так», даже его жена и дети. Случайность, которой могло и не быть,— все-таки не случайна. Она опасна, несмотря на всю свою ничтожность. Сама эта ничтожность знаменательна, как знаменательна кража новой шинели Акакия Акакиевича, вырастающая до общечеловеческого нравственного потрясения.

Хотя действие происходит в послереволюционные годы, отсталый, заброшенный городок как бы вынесен за пределы реальности, «алгебраичен». Между людьми и целью их жизни существуют «обстоятельства», и люди начинают видеть в них смысл своего существования. Человек превращается в собственную должность, забывая (подчас до своих предсмертных минут), что он — человек. Мало кому удается увидеть себя в повторяемости дня, бегущего на смену новому дню, в монотонности, машинальности существования. Именно это происходит с Петром Петровичем, который глубоко оскорблен, когда оказывается, что ему не верят, то есть что его, в сущности, считают обыкновенным (к счастью, своевременно раскаявшимся) вором.

Формула мещанского бытия: «так не делается», «так не бывает» — незаметно, исподволь выстраивается против человека, сделавшего бесцельный, необъяснимый шаг. Начинается борьба, и не только между Петром Петровичем и идиотизмом машинального существования. Борьба — и это основное — начинается в нем самом, потому что он сам является выразителем и даже как бы представителем этого прочно установившегося мещанского психологического строя. Ничего, кажется, не произошло. Странный поступок забыт, о нем стараются не вспоминать, в своей дружной семье Петр Петрович окружен особенной заботой.

Но произошло самое главное: появилась мысль. Впрочем, сначала это даже не мысль. Это — смутная догадка, что «так жить нельзя», человек не должен, не имеет права удовлетворяться повторением прожитого дня.

Впервые в жизни Петр Петрович начинает задумываться, вспоминать, сопоставлять. Очень медленно, с перепадами, с попытками уверить себя, что все, в конце концов, обстоит благополучно, в романе развивается то, что можно назвать самооткрытием. Оно уходит в тень — и возвращается. Оно как бы персонифицируется в лице актера Черкаса, который пытается жить «не как все» — и в конеч-

ном счете ничем не отличается от ничтожных, мещански самодовольных сослуживцев Петра Петровича. Оно скрывается за притворной игрой, в которой принимают участие все — и распределитель суконного треста, и семья Петра Петровича, теперь находящегося в отпуску по болезни. Для сослуживцев, для семьи, для городка Петр Петрович болен. На деле — происходит мучительное, почти непосильное душевное выздоровление. Не замечать его, не признаваться перед самим собой, что жизнь прожита бесцельно, уже невозможно.

Мысль развивается, определяется, когда Петр Петрович начинает видеть себя — в других. Но другие — и даже актер Черкас с его жалкими попытками эпатажа — лишь ступени, ведущие к самораскрытию. Для того чтобы оно произошло, нужен он сам — Петр Петрович. Тогда-то и появляется двойник, «воображаемый собеседник», с которым Петр Петрович неторопливо вспоминает и обсуждает собственную жизнь.

В 1928 году, когда был напечатан этот роман, еще не знали о детекторе лжи. То, что происходит с Петром Петровичем, похоже на нравственную модель этого аппарата. Теперь Петр Петрович и правда — одно, и это дает ему возможность мгновенно отличать ложь от правды в других. Теперь он знает, что деньги, в которых он не нуждался, он «украл» не случайно. «...Все — с той минуты, как он взял деньги... до решения сказать всем правду в лицо — было, в сущности, только попыткой бороться со смертью. Он взял деньги потому, что думал, что они вызовут силу жизни... Но это никому еще не удавалось, ибо он не мог уйти от законов жизни...» И дальше: «Он попробовал выдумать иной мир». Но уже слышны шаги за спиной, «хотя идти решительно некому». И снова слышны «не приближающиеся и не удаляющиеся, словно кто-то шел под окнами... никуда не уходя, только переставляя ноги».

Это еще не смерть, это биение собственного сердца. Но смерть — не за горами. Петр Петрович умирает от нравственного выздоровления, которое не понять даже тем, кто глубоко и искренне привязан к нему, которое не понято — и не может быть понято тупым и благополучным миром.

Роман Савича «Воображаемый собеседник» проникнут искренним удивлением человека перед скрытой силой его души. Это — тоска по несбывшемуся блеску перемен, по разнообразию жизни, по высокой цели, без которой жизнь пуста и ничтожна. Это — тоска по чуду,— недаром, умирая, Петр Петрович при свете ясного дня видит звездное небо.

Можно ли поставить знак равенства между автором «Воображаемого собеседника» и главным его героем? Конечно, нет! Не себя изобразил молодой писатель в Петре Петровиче, напоминающем деревянную скульптуру, в которой неведомо как и почему зародилась

жизнь. Однако не случайно эта драма самораскрытия освещена изнутри фантастическим светом, недаром ожившую статую окружают видения.

4

Мы знаем Савича как известного переводчика испанской, чилийской, кубинской, мексиканской, колумбийской поэзии, исследователя-испаниста, учителя и неутомимого советчика молодых переводчиков. Но Савич до 1937 года не знал по-испански ни слова.

В начале тридцатых годов он был корреспондентом «Комсомольской правды» в Париже. Он продолжал писать прозу, но работа не шла — и, может быть, поэтому главное место в жизни снова заняли книги. Его корреспонденции написаны человеком общительным, живым, расположенным к дружеской близости, наблюдательным. Но все-таки книги открывались легче, чем люди, они не врывались в жизнь, они стояли на полках и терпеливо ждали.

В начале февраля 1937 года Эренбург увез Савича в Испанию не без тайной надежды (это чувствуется в известной книге «Люди, годы, жизнь») переломить эту книжную жизнь. «Я легко уговорил его посмотреть хотя бы одним глазом Испанию. Сможешь написать для «Комсомолки» десять очерков».

Эренбург знал Савича в течение пятнадцати лет, но никогда прежде не видел его в минуты смертельной опасности. «Я видел его во время жестоких бомбежек, он поражал меня своей невозмутимостью,— и я понял, что он боится не смерти, а житейских неприятностей: полицейских, таможенников, консулов».

О спокойной храбрости Савича писали многие. Не буду повторять, скажу только, что понятие храбрости в испанской войне было нормой поведения. «Стыдно мужчинам лежать в канаве»,— сказал Савичу огорченный шофер после того, как фашистский «фиат» дважды обстрелял корреспондентскую машину (О. Савич, «Два года в Испании», с. 54).

Все писавшие о Савиче говорят о его выдающемся мужестве — это значит многое в устах участников испанской войны.

Известно, что, покинув Барселону с арьергардными патрулями, он узнал, что советский флаг над домом полпредства и герб на дверях «были оставлены, чтобы не подчеркивать безнадежности». Он вернулся в город, фактически уже занятый фашистами, снял флаг и герб и каким-то чудом благополучно вернулся.

Читая «Два года в Испании», я вспомнил Пьера Безухова на Бородинском поле. Детское удивление штатского заметно почти на каждой странице. К удивлению примешивается восхищение: недаром Эренбург пишет, что Савич «наслаждался жизнью: то место, о котором он тщетно мечтал в мирном Париже, оказалось в полу-

разрушенном, голодном Мадриде». Однако очень скоро выяснилось, что, восхищаясь и удивляясь, нельзя забывать о деле: «Ежедневные сводки испанского командования он сам переводил и сам передавал по телефону в Москву... Заткнув одно ухо пальцем, задыхаясь от валенсийской жары и надрывая голос, он часами проталкивал в телефонную трубку слово за словом, а каждое географическое название по буквам. Кроме сводок, он посылал в «Комсомольскую правду» (а в отсутствие Эренбурга в «Известия») еще статьи и заметки, материал для которых добывал не с чужих слов, а обязательно на месте, уточняя каждый факт в беседе с участниками или очевидцами» (А. Эйснер, «Камарада Савич».— «Журналист», 1968, № 7.

Так в «Известиях» появился новый корреспондент, подписывавшийся испанским именем — Хосе Гарсиа.

Потом Испанию покинули корреспонденты ТАСС Гельфанд и Мирова, и Савич стал представителем ТАСС. Это был ответственный политический пост, и недаром главка о русских советниках при республиканском правительстве написана с таким знанием дела («Два года в Испании»).

В конце войны он оказался единственным полномочным представителем советской прессы в Испании.

Столетие со дня смерти Пушкина отмечалось в республиканской Испании с опозданием. Но отмечалось. Двадцать восьмого февраля 1938 года в Барселоне Савич выступил с докладом о Пушкине.

Когда удалось ему найти время, чтобы вместе с известным поэтом Маноло Альтолагирре перевести на испанский «Пир во время чумы» и «Каменного гостя»? Книга вышла в 1938 году в Барселоне.

После того как война была проиграна и Барселона занята франкистами, он телеграфировал в Москву — просил ТАСС разрешить ему вернуться в Мадрид, который продержался еще несколько дней.

5

В истории человечества не было другой войны, в которой участвовало бы так много писателей, командующих полками, дивизиями и даже фронтами.

Об этом говорил Хемингуэй на Втором конгрессе американских писателей (в июне 1937 года). «Когда человек едет на фронт искать правду, он может найти вместо нее смерть. Но если едут двенадцать, а возвращаются только двое, правда, которую они привезут, будет действительно полной правдой, а не искаженными слухами, которые мы выдаем за историю».

Савич спросил Людвига Ренна, писателя-коммуниста, начальника

штаба Одиннадцатой интернациональной бригады,— правда ли, что в одном из первых боев он повел батальон, указывая направление самопишущей ручкой. Ренн спокойно ответил, что это легенда. «Если она нужна в тылу, я не возражаю. Но я теперь не писатель, а солдат».

«Два года в Испании» — записки военного корреспондента. В книге немало глубоких страниц, посвященных испанской поэзии, испанскому характеру, в котором Савич находил сходство с русским,— размах, отзывчивость, незлопамятность, парадоксальность. В превосходной сцене отъезда русского советника легко угадываются эти черты. Советник последними словами ругает испанцев за бестолковость, лень, беспорядок, а потом, чертыхаясь, садится в машину и плачет: «Душу я, понимаешь, оставляю. А, черт!»

Среди наблюдений, размышлений, хроники — несколько рассказов. Это, в сущности, не рассказы, а портреты, которые даны в движении, в необычайных обстоятельствах испанской войны. Среди них «Венский вальс», посвященный знаменитому писателю дону Рамону. Имя вымышленное, и хотя «Венский вальс», как пишет Савич, родился из встреч с Хосе Бергамином,— «его герой вовсе не Бергамин, ни по внешности, ни по образу жизни, ни по мыслям. Он родился как аргумент в споре двух близких, но отнюдь не совпадающих точек зрения...» («Два года в Испании»).

Когда начинается война, дон Рамон присоединяется к республиканцам и просит отправить его на фронт. Но в бою он беспомощен, неопытен, слаб. Он поражен бессмысленностью боя, напрасными жертвами, и потом... «этот подлый, унизительный страх». Решение принято — он отдаст республике свое перо. И он начинает писать воззвания, обращения, послания. Он пишет «Очерки по истории Испании». Он выступает перед солдатами, и они встречают его овацией. Правительство отмечает его заслуги.

Его называют совестью Испании, коммунисты не забывают поставить его имя во главе списка самых выдающихся республиканцев... «Что же смущало его, когда он внимательно разглядывал голубые жилки на своей тонкой руке, так и не державшей винтовки?»

Перед большой аудиторией он произносит речь о том, что душу народа формировали не только годы расцвета, но и столетия горя... «Когда враг подходил к Мадриду, я отправился защищать мой родной город. Судьбе было угодно, чтобы на мою долю не оказалось винтовки... Я понял свою беспомощность как солдата... Но я утверждаю, что имею право разделить со всеми бедный кусок военного хлеба».

После выступления к нему подходит комиссар, отправивший его на фронт с отрядом валенсийцев. «У вас не оказалось винтовки? Почему вы не подняли винтовку убитого? Какое право имеете вы

требовать от пулеметчика, чтобы он стрелял, пока вы будете размышлять о вечности?»

В ту же ночь война врывается в кабинет дона Рамона, где он пишет свой исторический труд. Он принимает участие в спасении людей, погребенных под обломками рухнувшего дома. В чужой квартире он слышит радио — убежавшие хозяева не выключили приемник. Оркестр играет венский вальс. «Молчат мертвые, стонут раненые, сражаются солдаты, а кому-то в этом мире нужен венский вальс. Кому-то в мире нужен и дон Рамон. Как венский вальс?» («Два года в Испании»).

Савич искал в испанской войне полноту нравственного самоиспытания — и для автора «Воображаемого собеседника» это глубоко характерно. Он был свидетелем и участником мирового потрясения, охватившего всех, кто хоть раз в жизни подумал о судьбах человечества, а не только о собственной судьбе.

Все это Савич пережил как художник, сумевший в бешеном круговороте событий остановиться, оглядеться и глубоко задуматься над тем, что он увидел.

Он был счастлив, но счастье было неполным. Неутомимая работа журналиста — он относился к ней с оттенком сожаления. Этот комнатный, книжный человек, который рассказал о себе, что он в последний раз имел дело с оружием, когда восьмилетним мальчиком разбивал каблуком пистоны, хотел сражаться, как Лукач, Ренн, Эрнандес. «Венский вальс» написан о себе...

Опыт Испании пригодился Савичу в годы Великой Отечественной войны. Сперва он работал в ЦК комсомола, потом в Информбюро. Работа военного корреспондента — безымянная, почти безликая — окрашивалась в руках Савича превосходным знанием европейской жизни.

6

Человек мягкий, уступчивый, деликатный, он был беспощаден к себе, и это чувство стало играть в его жизни важную, особенную роль, когда в конце сороковых годов он вернулся к Испании. Не в Испанию — это было невозможно,— а к Испании, в которой и он, как многие, «оставил душу». Он перевел множество испанских и испано-американских поэтов, от Хорхе Манрике, современника француза Вийона (и первого печатного станка), до нашего современника Пабло Неруды. Он стал учителем молодых переводчиков-испанистов.

Было ли это профессией, новой для пятидесятилетнего человека? Да, но не только профессией и далеко не новой: призванием, долгом, единственной разумной возможностью существования... «О, несчастье неразделенной любви. Я хотел уйти от тебя,

искусство, и ты, казалось, отпускало меня. Как женщина, взамен любви ты предлагало мне необязательную дружбу. Не желая, я отдал тебе жизнь и не могу получить ее обратно...» (Из записных книжек.)

В жизни Савича было три полосы счастья — «Воображаемый собеседник», защита Испании и переводы. Возможна ли третья без первых двух? Нет. Все пригодилось для того, чтобы перевести Габриелу Мистраль, Неруду, Гильена так, как он их перевел. Пригодились его собственные стихи, которые он писал всю жизнь. Пригодились книги, с которыми он никогда не расставался. Пригодилась скитальческая жизнь. Пригодилась Испания, в которую он навсегда, безоглядно влюбился. И уж конечно пригодилась небоязнь ответственности и беспощадность к себе. Он сам написал об этом:

«...Помни, ты не фотограф, а человекоописатель, твой закон — не факт, а правдоподобие, не статистика, а типичность, не правда, а истина. Ангел литературы похож на Азраила, он испепеляет. Если вечно искать сирень с небывалым количеством лепестков, то будет казаться, что меньше четырех не бывает... что пять — совсем немного и т. д.,— такая должна быть требовательность, и в том числе — к слову... Вскакивай ночью и записывай, раз в месяц запишешь нужное...» (Из записных книжек.)

Все, что принято говорить о первоклассных переводчиках — способность к перевоплощению, естественность языка, отсутствие стилизации, умение сделать чужестранное произведение фактом русской литературы,— было сказано о Савиче, и не раз. Добавлю лишь, что он относился к самому языку как к искусству. Для него язык — не бесчисленный ряд смысловых слагаемых, а поэтическое устройство. Тонкостями этого устройства он пользовался бережно и неутомимо. Он умел не показывать себя, как бы «смириться» перед подлинником, но смириться, не теряя достоинства. Подчас он чувствовал, что в силах и потягаться с подлинником. В одном стихотворении Гильена нищий нарисован «с краюшкой хлеба и бутылкой вина за спиной». В глазах русского читателя бутылка вина мешала образу нищего, выглядела более подлинной, чем этого требовала поэзия. Упорно работая, Савич добился истинной близости к подлиннику:

По далекой дороге
Я пошел наугад,
А краюшка и кружка
За плечами стучат.

Каждой новой работе неизменно предшествовало глубокое изучение жизни и творчества переводимого поэта. Предисловия, которые Савич писал к произведениям Мистраль, Манрике, Эрнандеса,

Неруды, ко многим другим,— это дельные, содержательные, написанные с блеском эссе. Они нужны, даже необходимы,— ведь еще недавно советский читатель мало знал об испанской и латиноамериканской литературе! Но я представил себе, что этих предисловий — нет. Я как бы закрыл рукой подпись под портретом — и что же? Психологическая галерея переведенных Савичем поэтов все равно возникает передо мной. Они поразительно непохожи — и не только потому, что Хорхе Манрике жил в XV веке и был сыном магистра ордена Сант-Яго, а пастух Хосе Эрнандес был комиссаром Пятого полка в революционной Испании. Савич разглядел и сумел передать в своих переводах не только их поэзию, но самую жизнь. Биография художника — его холсты, это верно и для литературы. Годами переводя Шекспира, Пастернак по спискам, повторениям, по самому словарю не только доказал подлинность его авторства, но нарисовал реальный убедительный портрет.

Хочется сказать еще об одном: об атмосфере работы. Когда вскоре после конца войны Савичу предложили переводить Габриелу Мистраль и он отказался — его замучили страшные угрызения совести... «Совесть одолела меня. И тут... начинается трудный рассказ о том, как забилось для меня сердце великой женщины, живое, истекающее кровью от огромной, почти немыслимой любви. Как ее глаза стали моими и я увидел долину Эльки, где каждая девушка уверена, что она станет королевой».

Это выглядит парадоксальным, но переводы Савича хороши не только потому, что он всю жизнь писал стихи и прозу, тщательно готовился к работе и был человеком редкого благородства. Он переводил хорошо потому, что ему было стыдно переводить плохо. Стыдно перед Испанией, стыдно перед самим собой, перед русской литературой.

Совесть, острота ответственности, сказавшаяся в суровом отборе поэтов, отдельных стихотворений, каждого слова,— вот характерная для Савича рабочая атмосфера. «Он (переводчик) вынужден защищать не только свой труд, но и самое право на него... Он неизбежно должен говорить и от лица переводимого поэта, не объясняя, не хваля и не порицая... как будто он сам написал то, что он перевел. Соперничество превращается в непрерывный союз, за который отвечает, разумеется, лишь одна сторона — переводчик» («Горе и награда переводчика»).

Теперь, когда я снова прочел его книги, когда я мысленно снова встретился с ним в рассказах и письмах его друзей, я горько пожалел о том, что за долгие годы знакомства не вгляделся в него, не оценил его душевной щедрости, его благородства.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

(Тютчев)

Все, чем занимался Савич, в сущности, направлено против этих роковых сомнений. Нет, надо дать волю сердцу, надо вглядываться в себя, чтобы понять других!

В. Каверин

ВООБРАЖАЕМЫЙ СОБЕСЕДНИК

РОМАН

Итак, в одном департаменте служил один чиновник,— чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный.

Гоголь

1. ПЕТР ПЕТРОВИЧ ОБЫДЕННЫЙ ПРИГЛАШАЕТ СОСЛУЖИВЦЕВ НА СВОИ ИМЕНИНЫ

В главном распределителе губернского суконного треста за все время его существования не случилось ни одной растраты. Как ни относиться к этому событию, но, повторяя любимые слова заведующего, тов. Майкерского,— факт остается фактом, и этот факт подтвержден многочисленными протоколами ревизий, неизменным доверием начальства и полным отсутствием хотя бы самого пустякового дела о служащих распределителя в бумагах местной прокуратуры. Мало того, в книгах распределителя не значилось ни одного случая утечки, усушки, утайки, безвестной пропажи или иного исчезновения лакомого товара. Распределитель и его заведующий получили несколько премий и похвальных отзывов за образцовую постановку дела, и не далее как прошлым летом служащие выиграли на конкурсе местной газеты пять бесплатных мест в крымской санатории.

Само собою понятно, что такая постановка дела и такие с чудесами граничащие успехи зависят в первую очередь от состава сотрудников учреждения. И, действительно, случай и тов. Майкерский подобрали людей с такою тщательностью и заботливостью, с какою в прежнее время самые нежные родители выбирали женихов дочерям. Как и упомянутые родители, случай и тов. Майкерский не гнались ни за умом, ни за красотой. Они искали только честных и положи-

тельных — и в этих качествах уже испытанных — людей. Путем долгого и тщательного отбора, неутомимой внимательности к каждой мелочи, путем самых подробных справок о прошлом каждого кандидата, путем безжалостной и жестокой расправы с теми, кто провинился хотя бы только в мыслях, случай и тов. Майкерский в конце концов создали такой кадр сотрудников, что упомянутые родители могли бы приходить в распределитель, как в бюро для приискания женихов. Это отнюдь не преувеличение, потому что сотрудники распределителя считались в городе лучшими женихами. Тов. Майкерский недаром был убежден, что основы служебного поведения сотрудника заложены в его семейной жизни, и недаром наводил справки и в этой области, и не потерпел бы легкомыслия в сердечных делах, вполне резонно опасаясь, что оно может быть перенесено на кассу, на товар, на бухгалтерские книги и на все отношение к службе.

Как уже указывалось, от сотрудников распределителя не требовалось ни ума, ни красоты. Этим показным, не доводящим до добра качествам в распределителе предпочитали непоколебимую честность и истовость к службе. И кровожадным ревизорам, как местным, так равно и из центра, с глубоким удивлением приходилось подтверждать своею подписью: даже неявок, даже опозданий на службу без уважительных причин не наблюдалось в чудесном распределителе. Не наблюдалось задержек и перебоев в работе. Не имелось перерасходов, дутых накладных и невыгодных сделок с частными торговцами. Частные торговцы вообще не подпускались на версту к распределителю. Жалобная книга — и та блистала девственною нетронутостью чистых страниц. Не было перегружения штатов. А с другой стороны — не жаловались сотрудники, утомляясь как раз в меру и к сроку законного отпуска. Жалованье выплачивалось накануне красного числа. Строгая очередь отпусков и до абсолютного минимума доведенное число командировок вызывали неизменное восхищение ревизоров. Даже путешествие курьера Кочеткова к председателю треста на предмет помощи кухарке при изготовлении обеда для ревизоров рассматривалось как командировка. Отчетность, не греша многословием, была точнее аптечных выкладок. Санитарно-гигиенические условия, в которых работали люди и лежало сукно, удовлетворяли всем последним

требованиям науки, законов и общественного мнения. Словом, не в пример прочим учреждениям, ревизия бывала для распределителя своеобразным праздником, днем законного и скромного торжества, общего удовлетворения и чем-то вроде поголовной раздачи похвальных листов.

Каждое будничное утро, в без четверти девять, курьер Кочетков, проживавший в бывшей швейцарской комнате особняка, отведенного под распределитель, быстрым шагом обходил помещение и убеждался в полной неприкосновенности товара в кладовых и казенной мебели в комнатах, убранных им еще с вечера по приказанию тов. Майкерского. Затем Кочетков раскладывал на столе в прихожей красиво разграфленный лист, на котором расписывались под его наблюдением сотрудники, точно отмечая, минута в минуту, время прибытия на службу. Несколько нетвердым, по причине поздней ликвидации безграмотности, почерком Кочетков, всегда первый, при запертых еще дверях, проставлял на листе свою фамилию, после чего отпирал входную дверь.

А на улице, смотря по времени года, то постукивая ногою о ногу, то присев в холодке на ступеньку, дожидался этой минуты бухгалтер Евин. Он быстро проходил мимо курьера, расписывался на листе, покрывая своим именем всю отведенную под № 2 графу, но отнюдь не вторгаясь в соседнюю, и потом уже здоровался с Кочетковым.

— Здравствуй, Кочетков,— говорил он.— А я уж минут пять дожидаюсь. Когда, думаю, Кочетков наконец откроет? Постой, постой,— нет, не пять, а, должно быть, все восемь минут я дожидался. Хорошо, погода тихая, а то и простудиться недолго, а?

— Очень рано являетесь,— отвечал Кочетков.— У меня приказ — открывать в без четверти девять. Тов. Майкерский велел. Так, говорит, все сотрудники как раз успеют собраться, и не будет в дверях толкотни. А вы за сколько загодя приходите, вот и дожидаетесь.

— А так вернее,— наставительно заявлял Евин.— У меня и часы всегда на четверть часа вперед заведены. Если точка в точку рассчитывать, так мало ли что может произойти. С трамваем что-нибудь, или проспишь, или еще что. И то я из дому выхожу по своим часам почти что даже в обрез. Но торопиться мне не

приходится, потому что четверть часика отложены про запас. Правильно?

— А что же? Может, и правильно,— в раздумье отвечал Кочетков.

Тут Евин обычно начинал смеяться. Тряслись его пухлые щеки, колыхалось тело, заплывали глаза, а голосом он издавал тихие, но неудержимые звуки. Смеялся и Кочетков — он знал очень хорошо, что сейчас скажет Евин, и ждал ежедневной шутки.

— Я ведь почему раньше всех прихожу? — говорил наконец Евин.— Я ведь все хочу раньше тебя прийти, Кочетков. Вот, думаю, распишусь-ка я как-нибудь первым, не все же Кочеткову.

— И ничего не выйдет, тов. Евин,— хитренько посмеиваясь, отвечал ему Кочетков.— Потому что я всегда сначала расписываюсь, а уж потом только дверь открываю.

— А вот погоди,— в полном восторге заявлял Евин,— лето настанет, так я в окошко заберусь часов так в семь и уж тогда непременно первый распишусь.

С этими словами, вполне довольный своими шутками, Евин шел наверх, а Кочетков, усмехаясь, бормотал себе под нос:

— Да уж хоть в дверь, хоть в окно, а листа-то я не выложу, пока сам не распишусь.

В это время обычно в прихожую вбегали, будто боясь опоздать, два самых молодых сотрудника распределителя, Райкин и Геранин. Они совсем не были похожи друг на друга, и до поступления в распределитель они друг друга и не знали. Но одинаковость ли возраста, или общность положения, как самых младших и по штатам низших сотрудников, или случайное сходство характеров, но только теперь они соединились неразрывно. Они и жили на одной квартире, и столовались вместе у вдовы в пригороде, и гуляли рядышком в праздничные дни, и на службу являлись одновременно. Их посылали всюду вместе, вместе хвалили и вместе ругали, будто каждый из них отвечал за другого. Но Райкин был высок, тощ и черен, а Геранин — мал, пухл и светел. Райкин играл на мандолине, Геранин — на гармонике, хотя дуэтом они исполняли свои номера лучше, чем каждый поодиночке. Райкин редко смеялся, и выражение его лица было таково, как будто он много думает или даже, несмотря на возраст, страдает печенью. С лица Геранина не сходила улыбка,

и уж, конечно, никто не сказал бы, глядя на него, что он вообще успел научиться мыслить.

Вбежав, они на ходу здоровались с курьером и озабоченно говорили друг другу:

— Нынче твоя очередь.

— А не твоя?

У них было установлено, что каждый расписывается первым через день, назавтра уступая первенство товарищу. Расписавшись, они стремительно убегали наверх.

Вслед за ними приходил помощник заведующего, Петр Петрович Обыденный. Как исключение из общего правила, его, пожалуй, можно было назвать красивым, но эта красота не рождала тревоги в сердце тов. Майкерского: ведь Обыденному стукнуло уже за пятьдесят. Он был мужчина хорошего роста и средней полноты, с седою головой и седыми пушистыми усами. Дорогу от дома до распределителя он, по предписанию врача, проделывал в любую погоду пешком. Все-таки он был уже не молод, кровь застаивалась быстро, исполнительность и молодцеватость не предохраняли от старости. Он добродушно пыхтел, входя, хотя и нес свое полное тело легко. Он пожимал Кочеткову руку и косился на явочный лист. Раздвигая усмешкой красные губы, он подмигивал курьеру.

— А что, мальчишки расписались уже?

Случалось иногда, что помощник заведующего приходил раньше Райкина и Геранина, и, зная, что они дорожат своим третьим и четвертым местами, он пропускал пустые еще графы и, как всегда, расписывался пятым, оставляя мальчикам их места. Это внимание конфузило мальчиков, но оно было только частью доброты Обыденного, и мальчики его обожали.

— Ну, что, Кочетков,— спрашивал помощник заведующего,— ничего не случилось?

— Да как будто нечему и случиться, Петр Петрович,— весело отвечал курьер.

— Ну, это ты не скажи,— качал головою Петр Петрович.— Мало ли что может случиться. Я уже не говорю про кражи, или если, скажем, сокращение... Или вот еще могут такое придумать, что уничтожается наш распределитель, разослать, скажут, товар в разные места, а сотрудников — кого перевести, кого уволить. Или замещения. Уберут Анатолия Палыча — куда нам тогда? Нет, ты не скажи, мало ли что может быть. Только все это, конечно, не дай бог.

— Пока не слышно про это, Петр Петрович,— вставлял Кочетков.

— Ну да — пока. Когда услышишь, поздно будет.

— Да-к ведь что ж сделаешь, Петр Петрович? Все одно, нас не предупредят.

— Да, уж спрашивать не станут. Стало быть, ничего пока не случилось, Кочетков? Ну, вот и хорошо. И у тебя ничего нового нету?

— Нету, Петр Петрович,— будто извиняясь, неизменно отвечал курьер.

— Ну, вот видишь, а у нас есть. Утром нынче мне жена новость сообщает. Я одеваюсь, стало быть, ну, мне ботинок трудно натянуть, я ее и позвал. А она приходит и объявляет: «Петр Петрович, говорит, у Маймистовых...» — ты, Кочетков, Маймистовых знаешь? Напротив нас живут, наискосок то есть. Дочка моя с ихнею дочкой подруга. Ну, а так мы только на улице кланяемся, настоящего знакомства нет. Да. Вот у них еще сын есть, больной он, что ли,— неприспособленный какой-то, ничего из него не выходит, все дома сидит и учиться не хочет. Да. Так приходит моя Елена Матвеевна и говорит: «У Маймистовых-то, Петр Петрович, горе какое — сын с ума сошел!»

— Скажи пожалуйста! — ахнул Кочетков.

— Да. Я вот тоже сперва внимания не обратил, протянул Елене Матвеевне ногу: «Помоги, говорю, старуха, своему старику». Ну, она на колени стала, ботинок натягивает, а сама все рассказывает, потому что ее, конечно, поразило это. «Вот, говорит, сидел он за столом со всеми, обедали, а он сидит скучный, слова не скажет и почти что ничего не ест. Отец его и спроси: «Ты, что ж, говорит, сыт, должно быть? Если сыт, так нечего стул просиживать». Да. А мальчик как вскинется и закричит: «Все вы, кричит, падаль едите, не стану я падаль есть!» Ну, кулаком об стол постучал при этом, отец на него прикрикнул и наверно бы за такие слова выпорол. Только мальчик — в обморок. Побрызгали его водой, нашатырю понюхать дали — очнулся. Оглядел всех, да вдруг как вскочит и давай буйствовать. Стул сломал, окно высадил, выброситься хотел — еле связали. А у него пена с губ, как у лошади. Одним словом, пришлось везти в больницу, а там так и сказали: «С ума сошел по всей форме, ну, вот совершенно как полагается, вполне точная картина болезни».

— Так и оставили его в больнице? — спросил с участием Кочетков.

— Так и оставили, что ж поделаешь. Странно это, а, Кочетков? Не понимаю я этого. Может, образование мое недостаточное, но... не понимаю. Отчего это люди сходят с ума? Ведь, кажется, все так ясно, живешь и живешь, и вдруг — сошел с ума. Непонятно.

— То-то вы невеселый, задумчивый какой-то нынче, Петр Петрович,— ласково сказал Кочетков.

— Да нет, с чего ж мне огорчаться? Не мой сын. Жалко их, конечно, Маймистовых. Ну, только я не огорчаюсь. Да, вот что, Кочетков. Завтра день моего рождения и вместе с тем день ангела. Так ты зайди, слышишь?

— Как же, обязательно,— поклонился Кочетков.— Очень благодарны. Сколько ж стукнет вам, Петр Петрович?

— Пятьдесят пять, ровная цифра. Прямо даже — красивая цифра, две пятерки. Значит, заходи.

Судьбе было угодно, чтобы три сотрудника распределителя являлись обладателями фамилий с одинаким окончанием. Петракевич, высокий, чуть согнутый, в очках, похожий на учителя, Лисаневич, маленький, хрупкий, всему на свете предпочитавший приятный, вежливый разговор, и Язевич, толстый, любивший поесть и выпить и посмеяться над знакомыми,— эти трое в разбивку приходили, пока Петр Петрович разговаривал с Кочетковым, жали руку помощнику заведующего, расписывались и проходили наверх. Петракевич прошел угрюмо, не слушая болтовни Петра Петровича, Лисаневич послушал из вежливости, но заскучал и незаметно удалился, а Язевич, пришедший к концу беседы, хотел было вставить какое-то веселое замечание, но услыхал про день рождения, облизнулся и спросил:

— А меня-то позовете, дядя Петя?

Так звали Петра Петровича сотрудники — конечно, не в официальных разговорах.

— А то как же,— уже совсем весело ответил Петр Петрович.— Всех позову, как каждый год. Только я по порядку звать буду, по начальству, я ведь старых правил человек.

— Ну, я подожду, все равно до завтра ждать,— подмигнул Язевич и побежал наверх поделиться с сослуживцами известием о завтрашнем празднестве,

которого все ждали, но приглашение на которое принимали всегда как сюрприз.

Тем временем стрелка часов подошла совсем близко к девяти. К подъезду подкатила пролетка, Кочетков побежал рысцой открывать двери, и в переднюю вошел тов. Майкерский, заведующий распределителем. Он был блондин, среднего роста, с лицом усталым и словно заспанным, которое, однако, чаще всего принимало выражение подозрительности, даже опаски, будто бы тов. Майкерскому отовсюду могла грозить неожиданная неприятность и будто бы весь окружающий мир только и думал, как бы выкинуть заведующему этакую неприятность самого каверзного свойства, так что доверять этому миру никак не приходилось.

Тов. Майкерский пожал руку Петру Петровичу и поднес явочный лист к глазам — он был слегка близорук. Он улыбнулся, найдя знакомые фамилии на привычных местах. Потом он вздохнул и посмотрел на часы.

— Без одной минуты девять,— сказал он тихим, приятным голосом.— А Ендричковского еще нет. Конечно, он может и не являться раньше девяти, но я уже здесь, и все уже здесь. Ах, Ендричковский, Ендричковский! — вздохнул он еще раз.

— Придет,— сказал Петр Петрович.— Человек молодой, сон крепкий, вечером гулял, наверно. И притом на своем месте он ведь незаменимый человек.

— Я знаю, что придет,— ответил тов. Майкерский и устало закрыл глаза.— Но если у нас образцовый распределитель и если я не могу нахвалиться каждым из наших сотрудников, то мне, конечно, хочется, чтобы никто не выделялся в дурную сторону хотя бы на йоту. Гулял, сон крепкий — может быть, это и оправдание, но во всяком случае — не похвальное в сотруднике качество.

Кочетков и Петр Петрович перемигнулись за спиной начальника. Они разрешали себе иногда улыбнуться ретивости тов. Майкерского, и они знали, что это еще не гнев, а если не гнев, то и не страшно.

Часы пробили девять, и с последним ударом в прихожую вбежал Ендричковский, хорошо одетый, еще сравнительно молодой, лет тридцати пяти человек, с официальным званием агента связи. Тов. Майкерский протянул ему явочный лист.

— Минута в минуту,— сказал он.— Распишитесь, пожалуйста. Я уже распишусь после вас.

— Ах, нет, зачем же, Анатолий Палыч,— воскликнул Ендричковский,— уж давайте по порядку.

— Нет, пожалуйста,— настаивал тов. Майкерский.— Как-то удобнее, знаете, если заведующий распишется последним.

— Наоборот,— возразил Ендричковский,— как раз наоборот. Это только доказывает, что заведующий ревностнее сотрудников и подает им пример. Да это ведь так и есть, не правда ли, Петр Петрович?

Петр Петрович подтвердил. Тов. Майкерский все-таки отказывался расписаться первым. Тогда Ендричковский вдруг выхватил лист из его рук и быстро расписался, оставив предыдущую графу незаполненной.

— Вот,— сказал он самодовольно.— Теперь уж будьте любезны, Анатолий Палыч, займите ваше место по праву и по необходимости.

Тов. Майкерский покачал головой, заполнил пустую графу, сложил аккуратно лист и спрятал его в карман.

— А теперь разрешите вам сообщить, Анатолий Палыч, что я и не собирался опаздывать. Я, Анатолий Палыч, уже успел побывать в тресте, так что я нахожусь на службе, собственно говоря, около получаса.

Тов. Майкерский посмотрел на Ендричковского подозрительно и тихо спросил:

— Чего же вы добились в тресте?

Ендричковский опустил глаза.

— Вот добиться я ничего не добился. Там было заперто.

Тов. Майкерский вспыхнул и закусил губу. Но он тотчас овладел собою и сказал:

— Вы все шутите, Ендричковский, а я этих шуток не люблю. Все учреждения открываются в одно время, и вы это знали. Вы и не были в тресте.

— Честное слово, был,— воскликнул Ендричковский.— Да у меня из дому одна дорога — мимо треста!

— Ну, и что же, неужели там сейчас никого не было?

— Ни одной души, Анатолий Палыч! Даже курьера не было.

Тов. Майкерский с торжеством посмотрел на всех. Да, он знал, что только его учреждение поставлено образцово. За эту минуту торжества он простил Ендричковскому и его опоздание, и его попытку

разыграть начальника. Он улыбнулся и приготовился было проследовать наверх, но Петр Петрович остановил его.

— Анатолий Палыч,— сказал помощник заведующему,— я хотел, чтоб уж потом не нарушать занятий, просить вас. Завтра день моего рождения, будьте так любезны, не откажите вечерком посетить меня.

— С удовольствием,— ответил тов. Майкерский,— а кто еще будет у вас?

— Да как всегда, Анатолий Палыч, надеюсь, что все сотрудники не откажутся. Семья моя, конечно, жилец еще — по необходимости. Ну — и все.

— С удовольствием,— повторил тов. Майкерский.— Я всегда рад повидать вас. И особенно хорошо, что все свои будут. Это доказывает единение, а ведь у нас так и написано на тресте: «В единении сила». Так ведь, Ендричковский, вы прочли сегодня?

Провожаемый почтительным смехом сотрудников, тов. Майкерский поднялся наверх. Ендричковский хотел было что-то сказать ему вслед, но Петр Петрович тотчас понял, что это будет насмешкой над начальником, а таких насмешек он не любил и не считал для себя удобным выслушивать их. Поэтому он быстро сказал:

— И вас очень прошу, Ендричковский, милости просим вечером.

— Буду,— коротко ответил Ендричковский.— Сколько годочков-то вам исполнится, дядя Петя?

— Пятьдесят пять.

— Ого-го! — даже остановился Ендричковский. Они уже подымались по лестнице.— Пятьдесят пять? Ведь это уже, пожалуй, и лишнее.

— То есть как — лишнее? — заморгал глазами Петр Петрович и приложил руку к сердцу.— Я не понимаю.

— А так. В наше время до пятидесяти дожил, это полный срок, а остальное — сверх нормы. Как раньше говорили: у бога деньки заживаете.

— Но позвольте,— с совершенным недоумением пробормотал Петр Петрович,— я и здоров, кажется, и ни на что не жалуюсь, и у меня семья на плечах, и работаю я не хуже молодых...

— С этим я вас горячо поздравляю, дядя Петя! Живите еще пятьдесят пять. Но возраст тем не менее весьма почтенный.

— У меня отец восьмидесяти семи лет умер,— отчего-то жалобным голосом сказал Петр Петрович.— А было у него одиннадцать детей, я сам — девятый. Ну, из нас восемь, правда, умерло в раннем возрасте, а из остальных я один жив, но все-таки отец до восьмидесяти семи дожил...

— Время другое было,— с какой-то значительностью ответил Ендричковский.— Все долго жили. А теперь вы — уже редкость.

— Но как же, вот Маймистову, тому шестьдесят два уже... И мало ли?..

— Извините меня, дядя Петя, мне бежать надо, а то Анатолий Палыч новый разнос учинит. Вы не огорчайтесь. Вы тоже до восьмидесяти семи доживете. Пока.

Ендричковский убежал, прыгая через три ступеньки. Петр Петрович поплелся ему вслед, слегка задыхаясь от одышки и все бормоча:

— Нет, это странно. «Сколько лет? Пятьдесят пять. Ого-го!» Да что я, старик, что ли?.. «Ого-го»! Удивительно!

Кочетков внизу уже открывал дверь посетителям. Райкин и Геранин бегали из комнаты в комнату. Евин что-то писал в огромной книге. Из кабинета тов. Майкерского раздался звонок, Петр Петрович знал, что это зовут его. Он еще раз пробормотал «удивительно» и пошел на зов. Начинался обычный рабочий день, думать было некогда, заведенный порядок подтягивал уже сам по себе.

Все счастливые семьи похожи друг на друга...

Л. Толстой

2. СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Елена Матвевна ростом была невеличка, но для своего роста, пожалуй, чрезмерно раздалась в ширину. Этою природною склонностью она обладала и в молодости и, выходя за Петра Петровича замуж, заполнила венчальное платье телом так туго, что одна пуговка под самым венцом оторвалась и тем причинила Елене Матвевне немалую неприятность. Когда же стали подрастать дети, она и вовсе сменила платья на широкие балахоны. И частенько говорила ей дочь Елизавета:

— Что это такое на вас надето, мама? Простыня не простыня, платье не платье,— ничего не разобрать. Ну, прямо будто чехол от кресла.

Елена Матвевна застенчиво улыбалась и закрывала лицо короткою пухлою рукой. Почти что шепотом, извиняясь, она отвечала:

— Я под венцом, вся в белом, очень была хороша. Мы с мамашей тогда венчальное платье три недели шили и даже ночей не спали. Уж, кажется, я и не ела тогда ничего от страха, и вот ночей не спала, а все-таки пуговка под венцом отскочила. Как я тогда от стыда сгорела! Стою прямо, венец на голове, певчие поют, а у меня одна мысль: разошлась сзади прорешка или нет, заметили это шафера или не заметили? Прямо как в столбняке стояла, ничего не видела, не слышала. И что же ты думаешь,— за столом свадебным шафер мой, Мышаткин, Семен Иваныч, интересный был мужчина и очень остроумный, подает мне пуговицу и говорит: изволили обронить, говорит, а я, говорит, на счастье

поднял и требую выкупа. Да, так и сказал. Муж, говорит, разрешаешь на радостях облобызать молодую?

Но Елизавета Петровна не любила этих рассказов и, перебивая мать, заявляла:

— Это, мама, было до потопа. А с тех пор на вас всегда черт знает что надето.

Если при этом разговоре присутствовал брат Елизаветы, Константин, он вставлял ломающимся басом:

— Мама как дикарь. Обернулась в кусок полотна и думает — одета.

Но насмешки детей нисколько не смущали Елену Матвеевну. Она накидывала с утра балахон и ходила в нем по дому до поздней ночи, везде поспевая. Вставала она первая, всех по очереди будила и кормила, убирала комнаты, варила обед и снова всех кормила, и еще успевала шить на всех и всем чинить белье, а позднею ночью, когда все спали, забирала у дочери или у сына книжку и читала в постели зачастую до рассвета, не смущаясь храпом Петра Петровича, как и он не смущался тем, что горит свет. Когда-то были они с Петром Петровичем очень красивою парой, глазам на загляденье, как гордо заявляли друг другу матери молодоженов, и, откровенно говоря, Елена Матвеевна не заметила, что с тех пор утекло много воды.

Петр Петрович и в старое время служил по суконной части приказчиком в большом заведении купцов Прянишниковых. Дело свое он знал хорошо и ровному спокойному характеру был обязан тем, что сделал у Прянишниковых, можно сказать, большую карьеру, дослужившись в молодые сравнительно годы до должности заведующего оптовым складом. Он любил свою семью глубоко и ровно, хоть и относился к своим, как и ко всему в мире, спокойно. Он внимательно слушал все разговоры, своих мнений не навязывал, но и не отказывался от них, никогда не думал, что он, отец и работник, выше других, не томил скучными историями о сукне и сослуживцах, и когда дети чем-нибудь увлекались, выслушивал их терпеливо и терпеливо выжидал, пока увлечение пройдет. Он был твердо убежден, что жить надо так, как живется, и что выше себя не прыгнешь. В этом Елена Матвевна была с ним всецело согласна, и жили они душа в душу.

Так было заведено, что заработанные деньги Петр Петрович целиком отдавал супруге, а она уже знала, на что какой рубль истратить, какую дыру спешно

заткнуть, а с какою обождать, она помнила хорошо, чьи предстоят именины, когда будут гости и кто из детей износил уже свои ботинки, и она умела вести свою кассу так, что и дети и сам Петр Петрович в нужный час могли получить у нее безвозвратную ссуду. Об умерших детях она в свое время горько поплакала, но живые быстро ее утешили. Ведь обо всем надо было помнить: и о здоровье, и о занятиях, и об одежде детей, и об обеде, и о комнатах, и о жильце, и о набрюшнике для Петра Петровича. А кроме того, все было так интересно, каждый день готовил сюрпризы, дети спорили и увлекались, и с ними увлекалась Елена Матвевна,— а Костя рос совсем непохожим на Лизу, и это было так удивительно. И еще случались в мире захватывающие события, то рождались у знакомых дети, то издавал новое распоряжение домком, то вот у Маймистовых сын с ума сошел. И еще были на свете книжки, где рассказывалась совсем другая, увлекательная жизнь, и уж никак нельзя было от этих книг оторваться, а было их столько, что ночных часов совсем не хватало на чтение. Елене Матвевне всегда было некогда, но она никогда не торопилась и всюду поспевала. А память, одинаково на крупные события и на самые пустяшные мелочи, никогда ей не изменяла и была так же точна, как отчетность распределителя.

А дети росли, и хоть росли они вовсе не так, как, может быть, мечталось, потому что Елена Матвевна любила помечтать, но жаловаться на них не приходилось, и если подумать, так дети были лучше всех детей, и умнее, и интереснее, а если такая высокая оценка тоже была мечтою, так разве не были они — свои, и разве не это делало их лучше всех, и разве не это было главное? И ведь, правда, выросли они на редкость удачные, не отрывались от семьи, хоть и была им предоставлена полная свобода, а может быть, и сами они ее отвоевали,— этого Елена Матвевна не то что не помнила, а не хотела помнить. Если и возвращались под утро, то все-таки приходили не куда-нибудь, а к себе в дом. И если говорили: вы этого, мама, не понимаете, так, во-первых, еще таких детей свет не видал, которые бы этого не говорили, а во-вторых, это вовсе не значило, чтобы сама Елена Матвевна думала, что она чего-то не понимает. Конечно, не все книги и не все разговоры были ей доступны, это она признавала. Но опять-таки, разве было это так важно, когда она серд-

цем своим чувствовала, что детей своих она понимает, может быть, лучше, чем они сами. А что Елена Матвевна свои мысли и чувства высказать не могла, не умела, так в этом она сама была виновата, да и дело-то было вовсе не в словах. А в конце концов, к кому шли дети с каждою нуждой и с каждым вопросом, хотя бы и знали, что где ей, малообразованной, отвечать на умные их вопросы? К ней же.

Дети были больше похожи на мать, чем на отца, вот только ростом они мать перещеголяли. Елизавета ходила уже на службу, и кажется, были ею на службе очень довольны. Была она хорошенькая, даже красивая девушка. Она отходила положенное ей время в среднюю школу, на службу устроилась легко, по рекомендации тов. Майкерского, который с удовольствием оказал эту услугу своему помощнику. Денег она зарабатывала как раз достаточно, чтобы на них одеваться, тем более что одежду шили они вместе с матерью у себя на дому по вечерам, и мать при этом, конечно, работала больше дочери и, пожалуй, больше дочери заботилась, чтобы шло той платье к лицу.

Константин, в противоположность родителям и сестре, был очень худ и был шатен с темными глазами. У остальных всех глаза были такой голубизны и ясности, что хоть полоскайся в них, как в реке. А у Константина глаза были темно-карие, замкнутые и всегда безулыбочные, даже когда он смеялся. Смеялся он нередко, ел хорошо и вообще здоровьем мать не пугал, разве когда уж очень засиживался за книгами. Он учился в институте, работал очень много, так что и отец глядел на него с уважением. Мать вздыхала, она чутьем догадывалась, что талантов больших у Кости нет, да и неоткуда им взяться, в кого бы? — и что берет он усидчивостью. И хотя был он, как сказано, вполне здоров, однако Елена Матвевна с возрастающим беспокойством считала папиросные окурки, вынося их утром из комнаты, где ночью занимался Константин. Все казалось ей, что уж слишком он узкогруд, что растут под глазами у него синяки и западают глаза, и все прислушивалась она, не кашляет ли он за стенкой. Зато он не беспокоил родителей никакими грубыми выходками, как отец — все выслушивал, как мать — все старался запомнить, и как оба родителя — медленно уложив все в мозгу, со своей дороги никуда не уходил в сторону, так же твердо, как они, и так же

верно, чутьем, никуда не торопясь, жил, глядя прямо перед собой, и жизнь не открывала ему ни блестящих обманных перспектив, ни неожиданных пропастей.

И еще жил в квартире один чужой человек, неопределенный какой-то молодой человек, балетный танцор по профессии, Черкас, Аполлон Кузьмич.

Он служил в местном театре, в оперетке, но голосом не обладал, а только проворными ногами. Вряд ли он был многим старше Константина, но Константин перед ним казался совершенным щенком. Черкас глаза имел довольно пронзительные, лицо от густой растительности — синеватое. В общем, напоминал он кавказского человека, но по-русски говорил правильно и почти изысканно. Поселился он у Обыденных недавно, человек был, очевидно, перелетный, как все актеры, неприятностей с ним никаких пока не случалось, вежливостью своей он даже смущал хозяев. Он никогда не забывал при встречах осведомиться о здоровье, у Петра Петровича неизменно спрашивал что-нибудь про сукно, чтобы показать свое уважение к опыту и высокому званию помощника заведующего, Елене Матвевне он так долго расхваливал ее пироги, пока она не посылала ему в комнату огромный кусок, и тогда он осторожно стучал в дверь столовой и, войдя, рассыпался в благодарностях; только Елена Матвевна отчего-то его побаивалась и к столу приглашать не любила; Елизавете он всегда отпускал комплименты, и хотя были его комплименты неизменно приличны и почти что старинны, Елизавета отчего-то всегда краснела; Константину он сам вызвался помогать в занятиях, и хотя в книгах он разбирался плохо, но делал изумительные чертежи, а на вопрос, где это он научился, он только вежливо усмехался в ответ. Но в общем, все были жильцом довольны, и Петр Петрович часто даже с гордостью заявлял знакомым: «А у нас артист живет, в театре играет»,— на что знакомые почему-то с удивлением отвечали: «Скажите пожалуйста!»

К тому времени, когда Петр Петрович возвращался пешком со службы, вся семья бывала обычно уже в сборе и рассаживалась за столом. Очень часто Константин приходил к столу с книгой, и это означало только то, что у него экзамены на носу. Елизавета тоже норовила положить рядом с прибором какой-нибудь иностранный роман и за супом то и дело пыталась украдкою вычитать несколько строк. Петр Петро-

вич этого очень не любил, он считал, что обед есть настоящее дело и что только за обедом все и встречаются. Константину он прощал все, во внимание к усиленным занятиям, но, заметив книгу у Елизаветы, хмурился. А когда его нахмуренные брови замечала Елена Матвевна, она часто, без дальних слов, отбирала у Елизаветы книжку и прятала ее под скатерть. Елизавета обижалась главным образом на то, что с нею поступают как с маленькою, Елена Матвевна отводила от дочери глаза, краснела и старалась удержать улыбку, но книги не возвращала до конца обеда.

Петр Петрович за столом говорил мало, но очень любил слушать споры детей. Когда обращались к нему с вопросом, не имевшим прямого отношения к тому, в чем он был тверд или что знал вполне достоверно, он обычно принимал рассеянный вид и говорил будто в сторону: «Да, да...», или: «Это надо подумать...», или: «А вот поживем, увидим». Очень может быть, что при этом в мозгу его шла упорная работа, медленно подымались и опускались чашки каких-то весов, на которых колебались чужие мнения и собственный опыт. Иногда, вечером, раздеваясь, он спрашивал у Елены Матвевны ее мнение о вопросах, которые бывали затронуты сегодня, накануне, а то и за много дней и о которых она уже давно забыла. Она честно излагала ему все, что она по этому поводу думала, он внимательно ее выслушивал и, возобновляя прерванный туалет, говорил, как и за столом: «Да, да»,— но своего мнения опять-таки не сообщал.

Характер у Петра Петровича был до того ровный и спокойный, что и другим людям в его присутствии становилось как-то спокойнее. Однако нельзя сказать, чтоб был он невозмутим или безгранично весел. Нет, он умел и поахать, повздыхать с собеседником от глубины души, выслушав какой-нибудь печальный рассказ, и покачать головой при мрачной оценке современности и ее суетливых непрочных людей, он умел и посмеяться от души густым смехом, заражая других, так что они тоже принимались хохотать, часто даже не слышав шутки, не зная повода, а невольно присоединяясь к искреннему веселью Петра Петровича. Вообще все, что он делал, он делал искренне, от всей души, и это-то и подкупало всех. Зато о том, чего он не знал, он никогда не позволял себе высказываться и всегда остерегался, не из страха или расчета, а просто

боясь непроверенного неверного суждения, дать кому-нибудь или чему-нибудь отрицательную оценку. И когда при нем, например, ругали молодежь, он любовно глядел на своих детей и тихо вставлял:

— Да, да... Ну, что ж, у них — свое. Вот поживем, увидим.

О чем он никогда, вероятно, не думал, с чем сросся накрепко и неразрывно, к чему привык, как можно привыкнуть только к собственному телу,— это была его судьба, его собственная жизнь. Тут, казалось, все было совершенно понятно и просто, тут никогда не рождался вопрос: зачем или почему? Было давно всеми позабыто, как это случилось, что Петр Петрович пошел по суконной части, но зато было непререкаемо ясно, что теперь ему негде и служить, кроме как в распределителе. Ни сам он, ни Елена Матвевна не рассказывали о том, по любви ли они женились и как это вышло. Но все окружающие были согласны, что лучшей пары этого возраста, привычного, так сказать, к прочным супружествам, во всем городе не найти. Было бы совершенно неестественно, если б ни с того ни с сего мирная жизнь Петра Петровича вдруг изменилась, когда даже в самые трудные годы голода и разрухи, при отсутствии службы и малолетстве теперь уже полусамостоятельных детей, жизнь эта все-таки текла мирно, настолько мирно, что, порою неохотно вспоминая общее бедствие, свое стремительное похудение и голодные, холодные ночи, Петр Петрович говорил:

— Да, да... Ну, что же, все-таки было ничего. Жили. Даже есть что вспомнить. Правда, другие-то в это время такое испытали, чего даже в книжках не прочтешь. Ну, и тем более, значит, нам жаловаться не приходится.

Когда, накануне дня своего рождения, Петр Петрович пришел домой, он уже совсем забыл про странные, почти что дерзкие и обидные слова Ендричковского. Ведь о Ендричковском все знали, что для красного словца он не то что отца, а и начальника не пожалеет, а главное — не пожалеет и себя самого, потому что красные словца неминуемо доходят до начальства, и надо сказать, начальство их очень не любит. И дерзостью своей Ендричковский был известен, и готовностью сморозить что-нибудь неожиданное возбуждал настоящую зависть в присяжном остроумце распределителя Язевиче. Зато, конечно, словам его не надо было

придавать ровно никакого значения, хотя отчего-то Петра Петровича очень неприятно задело его «ого-го!». Как будто даже в сердце что-то заскреблось, хотя и было совершенно непонятно, отчего это восклицание имело такое действие. Ведь смешно же, в самом деле, в пятьдесят пять лет задумываться над возрастом. Просто Ендричковский сдерзил, ну и бог с ним.

Вечер прошел, как всегда, тихо, после обеда Петр Петрович заснул по привычке, выпил чаю и потом, на сон грядущий, вышел погулять. Проходя мимо дома Маймистовых, у которых сын вчера с ума сошел, он поглядел на окна. Но окна были закрыты, и даже занавески опущены. По главной улице гуляла молодежь, веселилась, Петр Петрович встречал сослуживцев, и все они, еще днем приглашенные на именины, приветствовали его особенно сердечно. Он вернулся домой в очень хорошем настроении. Дома тоже все было спокойно, Константин усердно учился, Елена Матвевна шепнула мужу, что мальчик нарочно ночью сидит за книгами, чтобы завтра подольше побыть с отцом. Петр Петрович был очень тронут и прошел мимо комнаты сына на цыпочках. Елизаветы дома не было, она загулялась. Петр Петрович взял газету, прочитал, потом принялся за книжку. Елена Матвевна шила и время от времени сообщала ему свои хозяйственные заботы, а он кивал ей головою. Тем временем вернулась Елизавета, веселая, свежая с воздуху, и крикнула на весь дом:

— Ну, как, папочка, завтра кутим?

Елена Матвевна зашикала на нее, опасаясь за занятия Константина. Елизавета весело, на цыпочках, подбежала к родителям и, беззвучно смеясь, поцеловала своих стариков. Потом она убежала, повозилась еще за стеной, попробовала что-то спеть, но, должно быть, тотчас вспомнила, как мать на нее зашикала, и оборвала пение. А еще через минуту в доме наступила полная тишина.

Петр Петрович отложил книжку и начал раздеваться. Елена Матвевна еще раз перечислила, как бы напоминая самой себе, имена завтрашних гостей и прибавила:

— Черкаса тоже позвала, очень благодарил, сказал, обязательно приду из театра. Ох, не люблю я что-то его, не звала бы, да как-то неловко, чтоб он за стеной все слышал. А уж он-то рассыпается...

Петр Петрович широко зевнул и пробормотал:

— Да, да... Ну, что ж, он ничего, он человек хороший.

Он скинул уже сапоги и приготовился было усесться на кровати, когда Елена Матвевна взглянула на часы и всплеснула руками.

— Батюшки, первый час уже! Ну, Петр Петрович, настал уж день твоего ангела, дай-ка я тебя поздравлю первая, как всегда.

Она подошла к нему и крепко его поцеловала под пушистые седые усы, чуть-чуть прослезилась и тотчас же рассмеялась. Петр Петрович похлопал ее по плечу, сказал: «Ну, ладно уж, старуха, ладно»,— и в прекрасном настроении лег и сейчас же уснул.

Проснувшись поутру и услышав запах кренделя из кухни, он улыбнулся. Так полагалось, чтобы в каждый семейный праздник чай утром пили не с покупным хлебом, а с домашним кренделем. Петр Петрович встал, выслушал от всех поздравления и напился чаю. Потом в дверь постучал Черкас и тоже поздравил и Петра Петровича, и Елену Матвевну, и всех, кто сидел за столом. Его пригласили выпить чаю, он приглашение принял, а уходя по делам, поздравил всех еще раз и поблагодарил, что позвали его на вечер. День был праздничный, и все как-то было празднично. И Петр Петрович, хоть и чувствовал себя виновником общего торжества, однако ни разу не вспомнил, что все дело — в дне его рождения, что годы идут не назад, а вперед и что совсем недавно было ему пятьдесят четыре, а вот уже к этим пятидесяти четырем прибавилась еще одна единица. Может быть, не предался он этой грустной философии оттого, что день его рождения совпадал с именинами, с днем ангела, а ангелы, как известно, земному исчислению не подвержены. В старое время, собственно, и праздновались именины, а это уж уступка была новизне, что звали всех на день рождения, а насчет ангела вообще старались не упоминать.

День и дальше проходил спокойно, приятно, вовремя погуляли, вовремя и вкусно пообедали, за обедом никто из детей книжки не принес, разговоры велись тихие и неспешные, Петру Петровичу пододвигали его любимые куски. После обеда он прилег, а Елена Матвевна отправилась на кухню готовить ужин на двадцать почти что персон. Прислуги Обыденные не держали, а для торжественного случая на подмогу мастерице Елене Матвевне приглашалась соседка из ниж-

него этажа, вдова слесаря, скромная и тихая женщина, которую все звали Дашенькой, несмотря на ее возраст. И вот, проснувшись, Петр Петрович отправился на кухню спросить насчет чаю, но по дороге услыхал через открытую дверь такой разговор.

— Так ты говоришь, Дашенька,— сказала Елена Матвевна, и по голосу ее было слышно, что она раскатывает скалкою тесто и потому говорит отрывисто,— так ты говоришь, Дашенька, что он очень буйствовал?

— Ах, Елена Матвевна,— певучим голосом, весело отвечала Дашенька,— да ведь стекло он разбил прямо на кусочки, ну прямо — вдребезги разбил. И мебель поломал, только не говорят они, сколько. И посуду, наверно, тоже не пожалел.

— Отчего же это случилось с ним, Дашенька, как ты думаешь? — спросила снова Елена Матвевна, и слышно было, что она еще усерднее раскатывает тесто.

— А кто ж его знает, отчего,— задумчиво ответила Дашенька.— Может, обидели чем или сам он не ужился. Все-таки он вроде дурачка был. А то еще бывает, что это от мыслей случается, у кого ума-то не хватает, а все хочется понять.

— Дашенька,— прервала ее Елена Матвевна,— посмотри-ка, пирог не подгорел ли.

— Нет,— после паузы ответила Дашенька,— подрумянивается еще.

— Ну, смотри. А что он кричал, Дашенька, когда это с ним случилось, ты не знаешь? Я слыхала, что он крикнул, будто все падаль едят.

— И это кричал,— еще певучее и веселее прежнего ответила Дашенька.— Это он, когда его отец со стола погнал. А потом он еще другое говорил. Еще он говорил, что все умрут, вон, закричал, она с косой стоит — про смерть это.

— Такой молодой, а какие мысли,— вздохнула Елена Матвевна.

— Ну, и еще он кричал всякое,— продолжала Дашенька,— да они не хотят говорить. А это вот по всему дому и даже на улице слышно было.

— А знаешь, Дашенька,— сказала Елена Матвевна и даже, судя по голосу ее, на время прекратила работу,— ведь вот, что ты рассказываешь, я еще в этих словах сумасшествия не вижу. Это ведь мог и здоровый сказать.

— Ну, что вы, Елена Матвевна,— ответила Да-

шенька,— где же молодому человеку, если он здоровый, таких слов набраться? Здоровый выругается как-нибудь, а не то чтобы кричать, как все равно кликуша.

Больше Петр Петрович не слушал. Ему вдруг расхотелось чаю, а когда он провел рукою по волосам, он почувствовал, что лоб у него мокрый. Отчего-то стало ему очень тоскливо, и вот тут он в первый раз вспомнил, как сказал ему вчера Ендричковский «ого-го». Петру Петровичу стало чуть-чуть страшно. Как будто никакой видимой связи между рассказом Дашеньки о сумасшедшем и словами Ендричковского не было, а Петр Петрович все-таки чувствовал, только никому и даже самому себе не мог объяснить, что какая-то таинственная связь здесь все-таки была.

Он ушел обратно в спальню. Дети разошлись, Елена Матвевна в хлопотах о нем забыла и чаю не принесла. Так Петр Петрович и просидел в спальной до вечера, когда уже смерклось, и вернулись дети, и стали накрывать в столовой стол для гостей. Тогда в спальню вбежала Елизавета и изумленно спросила:

— Ты что это, папа, один сидишь?

Петр Петрович помолчал, потом поднялся со стула и ответил, стараясь придать веселость своим словам, но голос его все-таки чуть дрогнул:

— Да нет, ничего, задумался.

И будто извиняясь, и вместе с тем спрашивая, и, может быть, волнуясь за ответ, он прибавил:

— Стар, должно быть, стал...

— Ну, что ты,— уверенно воскликнула Елизавета,— да ты у нас всех молодых за пояс заткнешь!

Она подхватила его под руку и вывела в столовую. Там он уже совсем отошел и улыбался даже шире обыкновенного.

Граф. Так это я вам дал пощечину?

Керубино. Мне?

Фигаро. Ваше сиятельство, он получил ее на моей щеке.

Бомарше

3. ЧЕРКАС ЗАКАНЧИВАЕТ ПРАЗДНИК ПЛЯСКОЙ

День был жаркий, воскресный, двенадцатое июля по новому стилю, охотничий праздник. К вечеру, однако, жара настолько спала, что ни в какой мере не могла помешать аппетиту гостей. А гости прибывали с такою же точностью во времени и в том же порядке, в каком они являлись на службу. Так, первым был введен в столовую бухгалтер Евин. Едва подойдя к ручке хозяйки, на минуту показавшейся из кухни, и поздравив ее, он схватил руку Петра Петровича и сказал:

— Петр Петрович, желаю здравствовать и процветать, как в семье, так и на службе — до любой сверхурочной нормы. А Кочеткова нет?

Петр Петрович с Евиным расцеловался и широко улыбнулся.

— Нет,— ответил он,— Кочетков тут. На кухне сидит.

Евин ударил себя руками по бедрам.

— И тут опередил! Ведь хотел я на четверть часика раньше прийти, да неудобно, думаю, к семи звали. А он уже тут. Разрешите мне, Петр Петрович, на кухню пройти.

Петр Петрович разрешил и сам повел гостя на кухню. Там, действительно, на табурете восседал Кочетков, перед ним стоял графинчик. Уминая нарочно для него приготовленный пирог, он вежливо разговаривал с Дашенькой и приподнимался, если Елена Матвевна вставляла словечко в их беседу. Когда Петр Петро-

вич и Евин вошли в кухню, он встал, а Елена Матвевна всплеснула руками.

— Петр Петрович, куда же ты гостя привел? Кто это гостей на кухню водит?

Но Евин, мимоходом вежливо улыбнувшись хозяйке, подошел прямо к Кочеткову и сказал:

— Знаешь, Кочетков, ты уж, пожалуйста, и умереть раньше меня не забудь. Хоть за полчасика до меня умри и пошли гонца ко мне, чтобы предупредили. А я уж буду знать: вот теперь и мне самая пора на тот свет.

Кочетков прыснул, и притом так громко, что Дашенька даже вскрикнула, а он сам закрыл лицо рукою. Евин, довольный произведенным впечатлением и общим смехом, не стал дожидаться ответа от курьера и вышел из кухни вместе с Петром Петровичем.

В дом сейчас же ввалились Райкин и Геранин и, прежде чем войти, долго возились в передней. Они пришли с целою поклажей. Мандолину и гармонию они скромно оставили в прихожей до послеобеденного музыкального выступления. И все-таки в столовую они явились с полными руками. Они считали Петра Петровича своим покровителем и потому натащили подарков, завернутых в таинственные бумажки, каждому члену семьи.

Не успели присутствовавшие рассмотреть подарки и надивиться вдосталь изобретательности молодых людей, и только-только скупой Евин успел заметить, что он тоже хотел явиться не с пустыми руками, однако день праздничный и он ничего не мог приобрести,— как звонок затрещал беспрерывно, и один за другим появились Петракевич, Лисаневич и Язевич.

Петракевич поздоровался мрачно, отрывисто и сел в угол. Лисаневич поздравил всех по очереди и у каждого осведомился, как они себя чувствуют и какое мнение составили о сегодняшней погоде. Язевич, увидав накрытый уже стол, плотоядно улыбнулся и, вспомнив, что ему полагается быть язвительным, стал давать комментарии к подаркам.

— Палка, Петр Петрович,— это вам не иначе, как на нас. Теперь чуть что, сейчас берите палку в руки и ею же лупите Райкина и Геранина за несознательность. А уж портфель этот имеет цель такую ясную, что всякий может догадаться: это вам, Петр Петрович, чтоб любовные письма собирать.

— А вы, Язевич, имеете цель столь же определенную: поскорее дорваться до пирога,— сказал Ендричковский, как-то неожиданно выросший в дверях.— Петр Петрович, поздравляю вас и желаю вам на общую непритворную радость по крайней мере прожить еще пятьдесят пять.

Петр Петрович испытывал искреннее удовольствие от подарков и поздравлений и одобрительно смеялся каждой шутке. Только когда вошел Ендричковский, ему на секунду стало как-то не по себе. Но это ощущение мгновенно прошло, и он даже не подумал о причине его.

Графинчики выстроились на столе в таком скромном и лукавом порядке, что, казалось, поддразнивали и подзадоривали. Огромный пирог с поджаристою коркой благоухал и лоснился. Селедка простая и селедка маринованная пыжились друг перед другом, одна — естественною красотой и блеском, другая — искусною маскировкою под деликатес. Пышною цветочною клумбой возвышался посередине винегрет,— по части винегретов была Елена Матвевна такая мастерица, каких и не видано. Смешать всю эту зелень, низменную порой, как картофель и свекла, и прибавить соли, перцу, уксусу и масла так, чтобы не пропал вкус маленькой горошины и чтобы ни одна составная часть не заглушила не только вкуса, но и аромата другой, было искусством, граничащим прямо с гениальностью. Чистенькие, блестящие, будто лакированные, будто луч солнца упал на них, красовались, купаясь в соусе и ныряя под лавровый лист, как болотные кувшинки под свои листья, грибки. И, конечно, не были забыты стройные, крепкие огурцы в рассоле с укропом. Студень блистал матово и скользко, а запах хрена раздувал ноздри. И розовела нежностью девичьего румянца домашняя солонина. А на кухне что-то еще шипело, варилось, струило свои ароматы в воздухе, а жарившийся лук трещал от восторга, как зимою — дрова.

От нетерпения у гостей руки сами терлись друг о друга, а у Язевича даже пот выступил на лбу. Но все понимали, что необходимо ждать тов. Майкерского, и только украдкою поглядывали на часы. И когда раздался звонок, все кинулись к двери, но разочарование было так велико, что с вошедшею подругой Елизаветы, Маймистовою, почти не поздоровались. Только Петр Петрович снова испытал отчего-то такое же ощущение,

как при входе Ендричковского, и так же быстро об этом позабыл.

И, наконец, тов. Майкерский явился. К ручке он, правда, не подходил, потому что ручку считал буржуазным предрассудком, но приветствовал всех с необыкновенною любезностью и извинился, что пришел без супруги (а сотрудники знали, что он всегда является без супруги, и ходил слух, что он не считает для себя удобным вывозить супругу в свет, потому что она — женщина очень простая и могла бы оконфузить супруга разговором, а кроме того, оказавшись женою столь значительного лица, она полюбила пестро одеваться и несколько задирать нос, что опять-таки тов. Майкерскому было неудобно,— как бы то ни было, однако, женатые сотрудники и своих жен не брали туда, где могли встретить начальника). Тов. Майкерский торжественно вручил Петру Петровичу подарок — огромный красный карандаш и при этом сказал:

— Я заметил, что вы, Петр Петрович, каким-то огрызком расписываетесь на накладных. Это как-то напоминает купеческий лабаз. А в государственном учреждении все должно быть доброкачественное. А карандаш, обратите внимание, товарищи, советского производства. Что ни говори, подымается производительность у нас.

С этим все согласились. Тов. Майкерский увидал Ендричковского и не преминул сказать ему, усаживаясь за стол:

— Что, Ендричковский, сюда-то вы раньше меня пришли, поторопились, не то что на службу?

На что Ендричковский немедленно возразил:

— Так ведь сюда-то трест не по дороге, тов. Майкерский. И опять-таки праздник, не к чему и заходить.

Тов. Майкерский окинул стол взглядом и слегка нахмурился. Ему показалось, что слишком много наставлено на столе, если принять во внимание скромный бюджет сотрудников распределителя. Такое изобилие рождало легкую тревогу в его подозрительном сердце. Но разглядев, что все блюда приготовлены дома, и вспомнив, что Петр Петрович получает оклад по высшей ставке тарифной сетки, как незаменимый специалист, тов. Майкерский успокоился и разрешил налить себе рюмку водки, убедясь, что водка — государственной монополии. Он выпил и обвел глазами стол.

— Отчего же я не вижу Кочеткова? — спросил он, закусив грибком.

— Кочетков на кухне,— ответил Петр Петрович.

Тов. Майкерский покачал головою.

— Ай-ай-ай,— сказал он,— как сильны еще у нас предрассудки! Тов. Кочетков такой же сотрудник распределителя, как и все мы.

— Можно позвать его,— сказал Петр Петрович и даже отложил салфетку.— Только он уж закусил, он рано пришел.

— Конечно, позовите,— сказал тов. Майкерский,— пусть будет вместе с нами. Или, впрочем,— Ендричковский наливал уже вторую рюмку начальнику, а Елена Матвевна отрезала ему лучший кусок пирога,— или, впрочем, не стоит. Раз он уже закусил... Удивительно вкусно вы готовите, тов. Обыденная, удивительно!

Тов. Майкерский закрыл глаза и вздохнул. Может быть, он подумал о том, что в его доме готовят не так, и, может быть, когда он открыл глаза, ему стало несколько неловко, что он уделил столько внимания еде.

Между тем большой нож Елены Матвевны трудолюбиво и аккуратно взрезал пирог, отдельные куски тотчас переправлялись на тарелки и уничтожались, хотя и быстро, но со вкусом. От пышной клумбы винегрета осталась еле заметная развороченная грядка. Тарелки с огурцами и грибами несколько раз наполнялись снова и снова опустошались. И несколько раз Елена Матвевна нарезала солонины, но куски не залеживались. И скоро уже надо было комунибудь отправиться на кухню и вновь наполнить графинчики. Но разговор как-то не клеился, все ждали, что скажет тов. Майкерский, а тов. Майкерский никогда особенным многословием не отличался.

Занеся вилку с куском пирога ко рту, он сделал вдруг строгое лицо и спросил:

— А что, Петр Петрович, накладные вчера были отправлены?

— Были отправлены, Анатолий Палыч.

— А вы проверили, все сходится?

— Проверил, Анатолий Палыч. Все сходится.

— А вы, Евин, проверили?

— Проверил, Анатолий Палыч.

— Ну, вот и хорошо. А то я вспомнил вчера и опасался, все ли в точности. Да, что я хотел сказать? Петр Петрович, как вы находите ту партию товара, что вчера нам была доставлена?

— Качество высокое,— ответил Петр Петрович.— Несколько легок материал, не по сезону. Но качество высокое.

— А в дороге утечки не произошло?

— Кажется, нет, Анатолий Палыч.

— Вы знаете, это так неприятно: на железной дороге утечка, а нам отвечать,— сказал со вздохом тов. Майкерский и отправил кусок в рот.

После этого делового, служебного разговора все окончательно примолкли. Заговорить о службе полагалось только самому тов. Майкерскому, а заговорить о постороннем — могло показаться легкомыслием, тем более что тов. Майкерский, очевидно, неусыпно думал только о службе и неосторожное слово могло этим думам помешать. Сотрудники склонились над тарелками и неутомимо жевали, а Райкин и Геранин и жевали медленно и с осторожностью.

— Ну,— сказал наконец тов. Майкерский,— что же все примолкли? Сегодня у нас праздник, рождение незаменимого работника, надо веселиться. Ну-ка, Язевич, расскажите что-нибудь, вы ведь у нас самый веселый человек.

Язевич проглотил кусок и закатил глаза кверху, будто ища на потолке темы. Все посмотрели на него. Воспользовавшись паузой, Елена Матвевна с помощью Дашеньки быстро собрала холодное со стола и отправилась за горячим, а Петр Петрович, наклонясь к девице Маймистовой, вполголоса спросил о здоровье ее брата, которого третьего дня увезли в сумасшедший дом. Почему-то судьба этого мальчика его очень волновала, и, услыхав, что перемен никаких нет и что врачебный персонал единогласно установил сумасшествие, Петр Петрович вздохнул и покачал головою.

— Ну, что же, Язевич,— спросил тов. Майкерский,— придумали?

— Думайте скорей,— вставил Ендричковскии,— а то хозяйка лавры у вас отобьет. Такое подаст, что и слушать вас никто не станет.

— Вспомнил! — закричал вдруг Язевич.— Это я вспоминал, тов. Майкерский, чтобы точно слова передать. Это такой рассказ, вроде анекдота, и вместе с

тем почти шарада. Когда я в реальном училище учился, был у нас один преподаватель, француз, страшно смешно по-русски говорил. А мы, мальчишки, над ним всегда издевались. Булавки, там, в сидение накалывали или мелу в чернильницу подсыпали. А один раз мы вход в класс воском натерли, он вошел и растянулся. Так знаете, что он тогда в журнал записал? Вот я вам сейчас точно процитирую. Так он написал: по натрении пола класса чем-то до невозможности скользким, я был принужден войти в предыдущий (в класс то есть) лежа (вы заметьте: войти лежа!), да,— в предыдущий, лежа, с громкими криками (как будто он кричал, а это мы кричали), с громкими криками: «Браво, браво, еще раз!»

Главным недостатком острот Язевича было то, что автор сам же первый и смеялся над ними — и ударный, так сказать, конец анекдота топил в неистовом смехе. Однако все посмеялись в меру над его рассказом и затем общим восторженным вздохом приветствовали горячее блюдо. Нельзя утверждать, чтобы опустошенные графинчики не повысили настроения. Но это повышение температуры больше чувствовалось в воздухе обилием винных паров, больше было заметно на раскрасневшихся лицах, чем в поведении и разговоре. Даже Ендричковский воздерживался от обычных резкостей и молчал,— он-то, конечно, не из страха перед тов. Майкерским, а от угрызений совести: он заметил, какое впечатление произвело его «ого-го!» на Петра Петровича, и теперь раскаивался, что обидел хорошего человека, а зная невоздержность своего языка, остерегался, выпивши, обидеть еще кого-нибудь в этой милой семье.

Молчали и остальные, одни — налегая усиленно на еду, другие, наоборот,— как бы конфузясь и уменьшая свои порции. И не то чтобы одно присутствие начальника так парализующе действовало на всех. Нет, помимо этого, каждый, кроме, может быть, только Райкина и Геранина, полувысказанно чувствовал, что, в сущности говоря, общество сослуживцев ему несколько приелось, что он с удовольствием провел бы вечер где-нибудь в другом месте, что анекдот Язевича он слышит в сотый раз, а деловые замечания тов. Майкерского — в тысячный и что в конце концов ему просто скучно. Не скучал, должно быть, один тов. Майкерский — он и питался как-то по-деловому.

Петр Петрович первый почувствовал неловкость от

все удлинявшихся пауз. Он, как и Елена Матвевна, пытался налечь на угощение, вопросительно поглядывал на каждого, надеясь вызвать хоть какое-нибудь оживление, и даже сам то и дело обращался ко всем с разными замечаниями. Однако он тоже не имел успеха, и главное — это общее изнеможение коснулось и его. И ему отчего-то стало неопределенно тоскливо, не хотелось общаться с гостями, и ни одна тема не казалась заслуживающею внимания и обсуждения.

Кто знает, чем бы закончилось ставшее столь томительным молчание, которого не замечал один тов. Майкерский, но от которого даже полные графинчики на столе осиротели и уныло плескались, не возбуждая ни в ком жажды,— но на пороге внезапно вырос жилец Обыденных и, дождавшись, когда все взоры обратились на него, воскликнул:

— Какое прекрасное общество! Я очень извиняюсь, что опоздал, но задержала меня служба. Петр Петрович, Елена Матвевна, Елизавета Петровна, Константин Петрович и все присутствующие, прошу вас еще раз принять мои горячие поздравления! Петр Петрович, в знак моего глубокого уважения примите от меня эти мягкие ночные туфли. Насколько я мог заметить, ботинки часто натирают вам ноги, но тем не менее вы носите их и в часы отдыха. Конечно, эти туфли — не сапоги-скороходы, но они, я надеюсь, будут вам удобны и теплы после трудового дня. Граждане, разрешите ограничиться общим поклоном и представиться тем из вас, кто меня не знает: артист местной оперетты, Черкас, Аполлон Кузьмич. Прошу обратить внимание: Черкас, а не Черкасов.

От звука голоса Черкаса все встрепенулись. Посторонний незнакомый человек, так весело, одним духом проговоривший длинное приветствие, сразу всех заинтересовал. Язевич испытал тотчас же глубокую зависть к дару слова Черкаса, Лисаневич — к его любезности, Райкин и Геранин — к его умению держаться и пестрому галстуку. Один тов. Майкерский поглядывал на нового человека с недоумением. Черкаса усадили за стол. Петр Петрович, в тайниках души недолюбливавший жильца, как и Елена Матвевна, обрадовался, почувствовав, что тот внесет необходимое оживление, и налил ему рюмку. Елена Матвевна обнаружила необыкновенную заботливость: оказалось, что на отдельной тарелочке она оставила последнему гостю и

пирога, и всех закусок. Черкас рассыпался в благодарностях. Лисаневич, горя желанием показать артисту, что и он умеет быть любезным, первый обратился к нему:

— Черкасовы — ведь это, кажется, князья были?

— Вот именно,— с полным ртом ответил Черкас.— Но то — Черкасовы, а я — Черкас. На князя я, правда, похож, но только на такого, что по дворам старье ходит продавать-покупать. Однако я — чистокровный великоросс.

Все рассмеялись, и Петр Петрович, почувствовав облегчение, воскликнул:

— Что же вы все разговариваете, Аполлон Кузьмич? Вы нагоняйте нас, мы ведь уже пятую осилили.

Геранин, глядевший Черкасу в рот, тотчас налил ему. Черкас опрокинул рюмку и закусил. Все, что он делал, он делал легко и изящно, по-балетному. Он вообще казался слишком воздушным, непоседливым каким-то, вроде бабочки: вот-вот вспорхнет и улетит. Белокурый Геранин смотрел на него с восторженною улыбкой и думал: «Вот что значит — артист». И все как-то подтянулись, оживились, всем хотелось быть похожими на этого человека, соединяющего такую легкость с такою приятностью. Только тов. Майкерскому Черкас показался слишком легкомысленным. Тов. Майкерский жил мыслями о службе; бабочка на сукне — это казалось ему опасностью, чьим-то упущением. Он спросил, откашлявшись, строгим голосом:

— Вы, гражданин, в театре служите?

Черкас быстро проглотил кусок и повернулся к нему, сделав почтительное лицо. Он, очевидно, откуда-то знал всех, кто сидел за столом.

— Совершенно верно, тов. Майкерский, в театре.

— Я не был еще в местном театре,— сказал тов. Майкерский, и сказал неправду, потому что ему и его супруге оперетта очень нравилась, но он считал для себя неудобным такое признание и, кроме того, хотел показать Черкасу его настоящее место.

— Там ведь оперетка, кажется? Вы что же, поете?

Черкас потупил глаза и вздохнул.

— Нет, не обладаю достаточным голосом. Я — танцор и балетмейстер. Я танцы ставлю.

У Геранина ноги сами дернулись под столом, когда он с тоскою подумал, каким изысканным танцам и манерам мог бы обучить его Черкас.

— Ногами дрыгаете,— мрачно заметил Петракевич, весь вечер не проронивший ни слова, сидевший одиноко в углу и выпивший больше всех.

— Ногами дрыгают паяцы, которых детям на ярмарке покупают,— вежливо, но твердо ответил Черкас,— я танцую.

— Разница невелика,— еще мрачнее возразил Петракевич, не обращая внимания на знаки, которые ему делали, и на то, что Евин толкал его под столом.

Черкас откинулся на стуле, пристально посмотрел на Петракевича и потом обвел взглядом всех. Под этим довольно пронзительным взглядом кое-кто опустил глаза. Геранин готов был убить Петракевича, но тот, ни на кого не глядя, опустил голову и с вызовом, боком, повернулся к Черкасу.

— Как вам сказать,— медленно процедил Черкас.— По-моему, разница есть.

— Не вижу ее,— упрямо заявил Петракевич и отмахнулся от Евина.— Что ты лезешь? Отстань! (Евин покраснел и надулся.) Да, не вижу разницы. Танцуете ли, дрыгаете ли,— все голова не участвует.

— Голова — не главное в человеке,— загадочно ответил Черкас.

Этого никто не понял, и все, недоумевая, переглянулись.

— А что же, по-вашему, главное? — ехидно спросил Петракевич.— Может быть, ноги?

— Это странно,— вставил тов. Майкерский.— По бесспорной теории Маркса, главное — ум.

— Вы совершенно правы,— все вежливее и вежливее — особенно тов. Майкерскому — отвечал Черкас.— Ум — для человека, как члена общества. Но для счастья, для полноты жизни важно другое.

— Ноги! — выпалил Петракевич в упор.

— Да,— спокойно ответил Черкас.— Иногда ноги выразительнее головы.

— Это смотря по тому, какая голова и какие ноги,— вставил Ендричковский.— У Райкина ноги выразительнее.

Все расхохотались. Райкин был косолап и на свои огромные ноги никогда не мог получить в магазинах готовые ботинки, голова же его, несоразмерно с телом, была очень мала. Но тов. Майкерский посмотрел на Ендричковского неодобрительно. Он не оценил, что Ендричковский хотел разрядить сгустившуюся атмо-

сферу, и ему вовсе не нравилось, чтобы сотрудников распределителя высмеивали перед чужим человеком. Он обратился снова к Черкасу и сказал довольно холодно:

— Это очень странно, что вы говорите. Не можете ли вы объясниться яснее?

— Граждане,— сказал Петр Петрович,— а выпить?

— С удовольствием,— ответил Черкас.— То есть я и объяснюсь с удовольствием, и выпью, если компания не отстанет.

Для виду поспорили было, заявляя, что отстал, собственно, Черкас, но выпили. Большинство было пока на стороне Черкаса, и Черкас нравился им все больше и больше.

— Видите ли, дорогие товарищи,— сказал Черкас, закусив грибком и не забыв поблагодарить хозяйку,— моя теория (то есть, может быть, и даже наверное, она вовсе не моя, у меня ведь тоже ноги выразительнее головы, такая уж специальность, ничего не поделаешь, и образование не бог весть какое), моя теория такая: с одной стороны, конечно, человек должен заботиться об общественном благе, об интересах класса, пролетариата, о мировой революции. Это все так, и спорить с этим не приходится. Но ведь вышеуказанным интересам можно служить по-разному. Вы рабочих одеваете, я для них танцую. Кто что может, и нельзя сказать, кто делает больше, хотя, конечно, быть одетым важнее, чем глядеть на чужие ноги, в этом я с вами совершенно согласен. Но кроме этого... впрочем, может быть, вам неинтересно меня слушать?

Поднялся шум, все уверяли, что, наоборот, интерес у них исключительный, и просили продолжать. Черкас улыбнулся очень тонко, как бы благодаря своих слушателей, и сказал:

— Ну, если так, то, может быть, сперва, с разрешения хозяев, опрокинем еще по одной?

В ответ на это предложение последовало общее согласие. Когда выпили с приличествующими случаю возгласами, Черкас продолжал:

— Так вот, кроме службы, государственной ли, или какой еще, остается сам человек. И вот моя теория, что человек тогда живет не напрасно, когда он как-нибудь себя выражает. То есть служба может человека не удовлетворять и, во всяком случае, очень редко охватывает его, так сказать, целиком. Я таких людей знал, у

которых главное удовольствие в жизни было — штопать носки, а были они при этом в остальном — граждане примерной сознательности. А выразить себя — это значит, чтобы после тебя что-нибудь осталось, но, конечно, не штопаные носки. От великих людей их имена остаются, от писателей — книги, от художников — картины. Я — человек маленький, ногами дрыгаю, как выразился обо мне угрюмый товарищ в углу, но я убежден, что некоторые зрители, даже не зная моей фамилии, но увидав вольные прыжки моих ног, уносят в сердце маленькую радость. А чтобы себя выразить, надо кое-что увидеть и суметь потом это виденное показать другим. Ну, вот возьмем вас. Тов. Майкерского я не коснусь, он — видный государственный работник, а этим все сказано. Но пойдем по старшинству. Вот дорогой наш хозяин, Петр Петрович Обыденный. Что он видел, что знает, что выражает? Вы, Петр Петрович, из нашего города выезжали когда-нибудь? Нет. Вы, Петр Петрович, большой кусок жизни видели. А можете вы этот кусок так показать нам, чтоб он и для нас стал как живой? Нет. Вы, Петр Петрович, прекрасный работник и добрый человек. Однако есть ли у вас такой интерес к работе или к людям, который бы захватил вас целиком и на других влиял? Нет.

Все посмотрели на Петра Петровича, недоумевая и моргая глазами. Разговор принимал какой-то странный оборот. Черкас явно увлекся собственным красноречием и, пожалуй, несколько зарвался. Петра Петровича он чем-то обидел, но никто не мог понять — чем. Вместе с тем все почувствовали, что помощник заведующего, действительно, очень обыкновенный, серый человек и, конечно, не чета тому же хотя бы Черкасу. Это особенно обидно показалось Елене Матвевне, и она с негодованием воскликнула:

— Да что он вам дался! Что вы пристали к нему?

— Погоди, Елена Матвевна,— отодвинул ее дрожащею рукой Петр Петрович и вытер мокрый лоб. Он ни на кого не глядел, а сидел как на иголках, и вместе с тем слушал Черкаса с жадностью, боясь проронить хоть одно слово, и каждое слово все больше его пришибало, мутило сознание и гвоздем вбивалось в мозгу. Он хрипло сказал, не подымая глаз: — Говорите, Аполлон Кузьмич.

Всем было как-то неловко, все смущенно переглядывались и опускали глаза в тарелку. Черкас, кажется,

и выпил немного, да и не похож был на пьяного. Однако слова его звучали необыкновенно.

— Я никого не хочу обижать,— продолжал он, вдохновенно улыбаясь.— Наоборот. Я Петра Петровича искренне уважаю и считаю одним из прекраснейших людей, каких я в жизни встречал. Я — для примера. (Он хотя и обращался к Петру Петровичу, но говорил явно для других, и все чувствовали себя неловко, как будто он издевался над ними.) Вот, Петр Петрович, вам нынче стукнуло пятьдесят пять лет. Я бы хотел, чтобы вы еще столько же прожили на радость всем, здесь собравшимся. Выпьем за это предложение, дорогие товарищи! Вот так. Но все-таки пятьдесят пять — цифра внушительная. Ну, и если рассказать вашу жизнь на каком-нибудь фантастическом суде, вроде Страшного суда? Вот если принять на минуту возможность, что этот религиозный предрассудок — правда? Что бы сказал небесный прокурор? Одним Обыденным больше, одним Обыденным меньше, человеческая чепуха,— вот что бы сказал небесный прокурор. Пятьдесят пять прожил, сырость развел, а что толку? Мог бы и не существовать с таким же успехом. Как говорится в одной пьесе,— взять его и сунуть снова в печку, растопить и отлить в новую формочку, пусть еще раз попробует прожить пятьдесят пять лет, а то эти-то он не прожил, а только мимо себя пропустил. Вот моя теория, товарищи, извините, если изложил ее неясно.

Черкас удовлетворенно улыбнулся и одиноко принялся за еду. У остальных аппетит пропал, они исподлобья поглядывали на Петра Петровича и не знали, что предпринять, отчего и воцарилось подавленное молчание. Черкас ничего не доказал, никто и не понял, кажется, что он хотел сказать, но одно было ясно: он обидел всех и, главное,— хозяина. Хозяину, следовательно, и принадлежало первое слово. Петр Петрович почувствовал на себе взгляды окружающих и робко посмотрел на них. В его глазах мелькнули не то жалоба, не то просьба, но все избегали его взгляда. Он тяжело вздохнул, сгорбился и дрожащим голосом сказал:

— Да, да... конечно, что ж...

— Черт знает что,— сказал вдруг громко пьяным голосом Петракевич.— Бить надо смертным боем этих танцоров.

Петр Петрович тяжело встал и мгновенно покраснел

так, что даже седые усы его отразили игру краски на лице. Он топнул ногой и крикнул:

— Нет, это еще подумать надо!.. Нет, это еще, может быть, вы врете!.. Я...

Взгляд его упал на Маймистову, сидевшую рядом с Елизаветой и со страхом глядевшую на него. Он осекся и даже открыл рот. Ведь он хотел сказать: «Я не падалью питался за пятьдесят пять-то лет»,— и он вдруг понял, что эти слова подсказывал ему сумасшедший брат Маймистовой, что это были слова того безумца и что, значит, и он сам, Петр Петрович Обыденный, сейчас не в себе. Он рухнул на стул и закрыл лицо руками.

Петракевич встал и поднял над головою стул. Он, может быть, размозжил бы сейчас голову Черкасу, неприятно и натянуто, словно с удивлением или даже с презрением улыбавшемуся, но Евин и Райкин схватили его за руки. Елена Матвевна и дети подбежали к отцу, совали ему стакан с водою и бестолково гладили по голове и по плечам. Тов. Майкерский вскочил (повскакали, впрочем, все, кроме Черкаса) и, ничего не понимая, выпуча глаза, глядел на Лисаневича. Лисаневич, однако, ничего не мог сказать и только разводил руками с обычной вежливостью. Геранин со страхом отскочил от Черкаса и во все глаза глядел на него, ожидая, может быть, увидеть какие-то невероятные вещи. Ендричковский заложил руки в карманы и тоже глядел на Черкаса, но испытующе и саркастически. Впрочем, под этим взглядом он тоже скрывал растерянность. Язевич со страхом отбежал в сторону. Хуже всего было то, что все выпили и соображали медленно и туго. Собственно, никто не понимал даже толком, что произошло. Этим, вероятно, и объяснялось долгое и напряженное молчание. Впрочем, еще минута, и, наверно, нашлась бы Елена Матвевна и указала бы Черкасу на дверь. Но Черкас не стал дожидаться этой минуты. Он вдруг вскочил с места, подбежал к Петру Петровичу, растолкал всех и воскликнул:

— Петр Петрович, голубчик мой, да что это вы! Да вы всерьез! Бросьте, бросьте, как не стыдно! День рождения, гости, а он такое! И мы тоже хороши, словно на похоронах. (Он с укором посмотрел на всех, и всем стало неловко, как будто они в самом деле в чем-то провинились, но себя он не упрекнул.) Эй, молодые товарищи, я там в передней видел инструменты, а ну, тащите их сюда! Бегом! А вы, граждане, посторонитесь,

дайте место, ну-ка, стол отодвиньте-ка! Вот так. Петр Петрович, глядите сюда! Ну, молодые товарищи, играйте что умеете. Веселей, живей, надбавь, надбавь еще! Гоп-ля-ля! Петр Петрович, для вас!

И он пустился вьюном по комнате, часто-часто перебирая ногами, ударяя в ладоши, притоптывая каблуками, вскидывая ноги выше головы, шлепая руками по полу, понесся в бешеной пляске,— Райкин с Гераниным, закусив губы, со строгими лицами, следили за ним и еле поспевали играть, а он прикрикивал только: «Их, их, их,— веселей, Петр Петрович, гляди!» — и была его пляска так буйна и заразительна, такой вихрь пошел по комнате, что не очнувшиеся еще гости невольно захлопали в ладоши, стали тоже притоптывать ногами и прикрикивать:

— Их-их-их!..

4. ГРАЖДАНОЧКА, РАЗРЕШИТЕ ВАМ ПОНРАВИТЬСЯ

Началось это, на взгляд других, может быть, очень обыкновенно, но Елизавета думала иначе. Даже теперь, когда она вспомнила свою первую встречу с Камышовым, вся кровь кидалась ей в лицо и сердце начинало ускоренно биться. Было что-то неистребимо романтическое если не в самом событии, то в ее желании видеть это событие именно таким. А началось это так.

Однажды Елизавета возвращалась со службы домой одна. И у самых ворот дома она увидала, что стоит какой-то молодой человек с папироской во рту и кого-то поджидает. Она скользнула по нему взглядом, и, как уверяла потом себя, но никогда не признавалась Камышову, сердце подало ей знак еще до того, как он заговорил. Молодой человек стоял без фуражки, волосы у него на голове росли обильно и вольно, и даже постороннему взгляду становилось немедленно ясно, что волосы эти куда мягче шелка и всех других материй. Кроме того, Елизавете будто бы сразу запомнились его глаза, светлые и веселые, умные и живые. И еще, кроме глаз, Елизавета уверяла себя, что сразу оценила и лицо незнакомца, и рост его, и все прочее. Как бы то ни было, вполне достоверно лишь следующее.

Когда Елизавета проходила мимо молодого человека, он поспешно отбросил свою папироску, пригладил волосы пятернею (волосы, конечно, пятерни не послушались,— для того ли росли они так буйно, чтоб можно было смирить их одним взмахом?) и сказал ей, пожа-

луй, чересчур развязно и даже шутовски, и уж во всяком случае явно нарочитым тоном:

— Гражданочка, разрешите вам понравиться.

В чем бы ни уверяла себя Елизавета потом, но в ту минуту она только рассердилась. Правда, следовало, может быть, оставить обращение нахала без ответа и гордо последовать своим путем,— ну, может быть, только вздернуть голову или уж в крайнем случае повести плечом, и то только одним. И многие люди, наверно, не одобрили бы Елизаветы, узнав, что она ответила нахалу не одним молчанием. Многие люди осудили бы ее и даже отнеслись бы к ней подозрительно, узнав, что она остановилась и сказала несколько слов молодому, столь нахальному человеку. Но это только спустя долгое время Елизавета придумала, что будто какая-то непостижимая сила заставила ее остановиться,— разве ж существуют непостижимые силы в наше разоблаченное время,— на самом деле, Елизавета только рассердилась. За кого он ее принял в конце концов, этот чужой светлоглазый мальчишка, что обратился к ней так развязно, и притом еще шутовским тоном. И она гордо сказала ему, и при этом проделала также и все дозволенные жесты, то есть вскинула голову и пожала плечом:

— Вы с ума сошли, гражданин!

И вот тут-то случилось самое странное. Этот страшный нахал выронил фуражку из рук,— а перед тем он теребил ее так, будто во что бы то ни стало решил ее изорвать,— и покраснел таким пламенем, что настойчивая муха, которую он никак не мог отогнать, сама испуганно унеслась прочь. И впоследствии Елизавета даже уверяла его, хоть он и отрицал это весьма упорно, что его большие, светлые, нахальные за минуту до того глаза заволоклись слезами, отчего всякое нахальство немедленно исчезло и заменилось трогательною мольбой. Как бы то ни было, он пролепетал очень смущенным и на этот раз вполне естественным, даже милым голосом:

— Простите меня, пожалуйста, я, конечно, ужасно ошибся, но мне так хотелось заговорить с вами. А тон я, конечно, выбрал совсем неудачный.

Вот тут Елизавете стало смешно. Смешно потому, что романтизм ведь был осознан потом, а в эту минуту она только почувствовала облегчение оттого, что милый юноша оказался не таким вовсе безобразным нахалом,

которого она сперва испугалась. Впрочем, она уверяла потом, что ни на одну, самую коротенькую секундочку, она его ни капельки не боялась. Но она, конечно, виду не показала, что ей смешно, и ответила ему еще неприступнее:

— Вы что же... думаете, что я с вами на улице разговаривать стану?

Конечно, фраза эта была не из умных. Не хочешь разговаривать, так чего же говоришь? И при чем тут — на улице? А в другом месте можно? Но как же было не пожалеть такого милого нахала? А нахал стоял беспомощный, опустив голову, не поднимая фуражки, и не находил слов от окончательного смущения. Тут Елизавета не выдержала, рассмеялась и сказала уже совсем по-другому:

— Да фуражку-то подымите.

А ведь известно: протяни нахалу палец, он всю руку схватит. Молодой человек фуражку подобрал, но сейчас же кинулся к Елизавете и радостно воскликнул:

— Вы не сердитесь на меня?

Некоторые строгие люди нашли бы, наверно, что тут наступило самое время, и, пожалуй, даже — последнее время, Елизавете повернуться и молча уйти. Но она осталась, только согнала улыбку и сказала с глубоким убеждением:

— Очень сержусь!

И тут обнаружилось, что молодой человек был все-таки из нахальной породы. Он посмотрел на Елизавету пристально, рассмеялся вдруг так радостно, будто увидал старого друга, и безапелляционно заявил:

— А я не верю.

После этого совсем невозможно стало уйти. Надо же было доказать ему, что она шутить не любит и говорит всегда только правду. И она сдвинула брови и сказала ему, как она была уверена, очень грозно:

— Как же вы смеете мне не верить?

Если молодой человек и был из нахальной породы, то, должно быть, принадлежал к боковой, очень дальней линии, потому что он снова покраснел и снова поглядел на Елизавету умоляюще.

— Ах, нет,— сказал он,— я вам вполне верю. Я вам верю больше, чем даже себе самому. Но только я вас убедительно прошу: вы на меня не сердитесь.

Надо сознаться, и день тоже был какой-то странный: солнце то выглядывало, то скрывалось, будто

играло с кем-то в прятки, а когда выглядывало, то осматривалось кругом очень весело и кому-то подмигивало. Должно быть, поэтому Елизавета спросила вдруг самым мирным и спокойным тоном:

— А вы, собственно говоря, что тут делаете?

— А можно вам правду сказать? — тоже вопросом быстро ответил молодой человек.

Может быть, следовало бы сказать ему, что Елизавета лжи вообще не переносит, сама никогда не лжет, и прочесть ему по этому поводу целую лекцию. Но вместо этого она коротко кивнула головою и милостиво разрешила:

— Можно.

Тогда он подошел к ней совсем близко и заговорил так убедительно, что она сразу поверила каждому слову.

— Я давно знаю, что вы здесь живете. Я, знаете, за вами следил, потому что вы мне с первого взгляда понравились. Вот только я не знал, как с вами заговорить. Я вас еще раз прошу: не сердитесь на меня за те глупые слова. Это я со страху, знаете, когда боишься, так обязательно делаешься развязным и говоришь черт знает что. Но сегодня, по правде сказать, я за другим делом сюда пришел. Вы представьте себе, какое совпадение. Вчера мне один товарищ дал свой адрес, чтоб я к нему пришел заниматься. И оказывается, он живет с вами в одном доме. Шел-то я к нему, а у ворот подумал: «Подожду-ка я немножко, может быть, вы как раз пройдете». И дождался.

В общем, Елизавете все это очень понравилось. Тут-то, собственно, и начинался романтизм. Но она еще раз попыталась стать суровою. Она сказала:

— Как же вы смели следить за мной?

Он опустил глаза, потом поднял их на нее, потом снова опустил. В его взгляде она успела прочесть такое, от чего она и сама покраснела. И она спросила уже почти ласково, с искренним недоумением:

— И, главное, как же я не заметила?

— А я издалека очень следил, я боялся подойти к вам,— горячо, словно в чем-то оправдывая ее, объяснил он.

— Чего же вы боялись? — неожиданно для себя спросила Елизавета.

Теперь он окинул ее взглядом, а она потупилась. Действительно, ее вопрос был, пожалуй, слишком волен и подавал ему уже какие-то надежды. «Ну, с на-

еждами он подождет,— хвастливо подумала она про себя,— какие еще надежды!» А он, как будто торопясь, ответил:

— Так это я только сегодня решился подойти к вам. Я же говорил вам: я от смущения те глупые слова сказал. И сегодня меня прямо кинуло к вам. Раньше — разве б я решился? А вдруг бы вы и не посмотрели на меня? Ведь это я вас с первого взгляда полюбил, а вы бы, может быть, и знать меня не захотели.

Елизавета смущенно кашлянула и, не глядя на него — уж очень откровенно он заговорил,— спросила, чтобы переменить тему, хотя, признаться, прежняя тема интересовала ее больше всего:

— А как фамилия вашего товарища? Я у нас в доме всех знаю.

Молодой человек, как будто его и не прерывали, с прежнею готовностью ответил:

— У него очень смешная фамилия. Обыденный — его фамилия.

Елизавета нахмурилась. Она еще не сообразила, хорошо это или нет, что товарищем молодого человека оказывался ее брат. Но замечание о фамилии ее обидело. Она надула губы и протянула:

— Почему же смешная? Обыкновенная фамилия.

— Вот в том-то и дело,— подхватил он.— Уж очень обыкновенная. Даже как будто ее нарочно выдумали, чтоб подчеркнуть, что носит ее самый обыкновенный человек.

Все это Елизавете не понравилось. Она решила прекратить этот разговор (солнце тоже как раз спряталось) и сказала холодно:

— Это моя фамилия. А ваш товарищ — мой брат.

Молодой человек даже руками всплеснул и закричал:

— Не может быть!

— Почему не может быть?

Он замахал руками и с непререкаемым убеждением воскликнул:

— Да ведь вы — необыкновенная!

Это сразу смягчило Елизавету, и она даже улыбнулась. А молодой человек только тут сообразил, чего он наговорил раньше, смутился и прошептал:

— Простите меня, пожалуйста, это я чистую глупость сказал про фамилию. Мне все хочется в ваших глазах поумнее казаться, я и выдумал про вашу фамилию. А как выдумаешь нарочно, так всегда плохо. А фа-

милия обыкновенная, ничего в ней нет, очень хорошая фамилия.

Елизавета рассмеялась — она уже все простила ему за его искренность — и спросила:

— Ну, а вас как зовут?

— Камышов. Александр Васильич Камышов.

— Ну, Александр Васильич, я с вами тут долго стоять не могу. (У Камышова лицо вытянулось — по крайней мере вдвое.) Раз вы к нам шли, так идемте вместе.

И она повернулась и пошла в дом, а он пошел за нею, не в силах вздохнуть от неожиданного поворота судьбы и волнения. А войдя в дом, Елизавета крикнула:

— Костя, я тебе твоего товарища привела!

И у Камышова обмерло сердце от радости, от того, что, оказывается, не сам он пришел, а привела его Елизавета.

А при ближайшем рассмотрении оказалось, что ужасный нахал всем пришелся по сердцу. Правда, Елена Матвевна, как увидала первый же взгляд, брошенный им на Елизавету, нахмурилась и покáчала головою, и через какие-нибудь пять минут начала строгий допрос: и откуда Камышов явился, и на какие средства живет, и кто его родители, и где он познакомился с Елизаветой? На последний вопрос оказалось труднее всего ответить, и Камышов было смешался, но выручила его Елизавета, которая уже с нетерпением дожидалась конца допроса. Она сказала:

— Это я, мама, вижу — он ищет кого-то на лестнице, я и спросила — кого. Оказалось — Костю. Вот мы и познакомились.

Неизвестно, поверила ли Елена Матвевна такому объяснению. Ей почему-то знакомство ее дочери с товарищем сына казалось более коротким. Но ведь матери не всегда имеют право голоса, да и как было начать выяснять это, не обидев Елизавету. Елена Матвевна промолчала и допрос прекратила, решив возобновить его при первой возможности. Но надо сказать, что, за иключением этого пункта, все ответы Камышова были вполне удовлетворительны.

Все это, конечно, происходило за чайным столом. А по окончании чаепития Константин увел товарища к себе заниматься. И ведь пришлось пойти, потому что иначе — зачем же появился здесь Камышов? Елена Матвевна спросила у дочери:

— Ты, кажется, Лиза, уходить хотела?

Но Елизавета беспечно, а может быть, и с деланною беспечностью ответила:

— Я раздумала.

Совместные занятия продолжались в первый раз недолго. Очень скоро товарищи вернулись в столовую, и Константин недовольно заметил:

— Ты нынче рассеянный какой-то, Камышов, все отвлекаешься. Лиза еще тут поет, а он все прислушивается.

Хорошо, что день уже клонился к вечеру и в сумерках никто не заметил, как покраснела Елизавета,— она ведь не без умысла напевала,— и как вспыхнул Камышов. Оставаться ему дальше было неудобно — Елена Матвевна готовила уже к столу. Он попрощался, и как-то вышло так, что проводить его пошла Елизавета. Открывая ему дверь, она лукаво спросила:

— Что же вы дальше думаете делать?

Он было не понял и задержался с ответом. Она быстро сунула ему руку и поднесла ее к его губам.

— Ну, уж целуйте, что ли, так и быть! Только ничего не воображайте. Это за то, что я вам заниматься мешала.

Молодой человек из породы нахалов растерялся так, что и тут не нашел слов. Уж очень колотилось сердце, а губы и не почувствовали, что прикасаются к женской коже, и даже ноги подгибались. А Елизавета руку отдернула, дверь почти прикрыла и в щелку шепнула:

— Приходите все-таки.

После чего замок щелкнул, и Камышов остался наедине с чем-то, весьма подозрительно похожим на счастье. Он и впоследствии никак не мог установить, добрался ли он к себе домой пешком, или каким-нибудь иным совершенно непостижимым и человечеству неизвестным способом.

Как бы то ни было, Камышов стал наведываться к Обыденным чаще, чем это находила нужным Елена Матвевна. Она, правда, не возражала, потому что скоро привыкла к нему и стал он ей даже нравиться. И Константин уж больше на него не жаловался — наоборот, было ясно, что Камышов способнее своего товарища, легче все усваивает и ничего не забывает, но при этом терпеливо помогает и даже просто тащит Константина за собою. А когда начинались у молодежи споры, то, хотя Камышов защищал всегда такие мнения, с которыми Елена Матвевна никак согласиться не могла,

но развивал он их так мягко, так нестрашно и убедительно, что возражать ему было выше ее сил. Да и не только ее сил,— Елизавета, например, как нарочно, никогда с ним не соглашалась, всегда противоречила, и Елена Матвевна только посмеивалась, слыша, как дочь ее сегодня пытается опровергнуть то, что вчера защищала, можно сказать, с пеною у рта, однако и Елизавета в конце концов оказывалась побежденною, а Елена Матвевна даже не удивлялась, что ее гордая дочка как будто радуется своему поражению.

Петр Петрович познакомился с Камышовым, когда тот стал уже в доме своим человеком. Он понравился и Петру Петровичу. По вечерам, когда старики оставались одни, у них прибавлялась тема для разговора. Елена Матвевна спрашивала:

— Как ты думаешь, Петр Петрович, выйдет что-нибудь из этого?

И Петр Петрович знал уже, из чего и что должно выйти, и отвечал:

— Все может быть — поживем, увидим.

— С одной стороны, я думаю,— озабоченно, как бы у самой себя спрашивая, говорила Елена Матвевна,— уж очень она ему противоречит: на что он скажет «да», она сейчас — «нет». И уж очень холодная она к нему, никогда и не взглянет, не улыбнется. А он, прямо как листок к солнцу, к ней тянется. А с другой стороны, в наше время никому не доверишься. Хорош, хорош, а вдруг тоже окажется хулиган. Почитай-ка вот газеты или книжку.

Но Петр Петрович к этому времени уже начинал засыпать и бормотал сквозь сон:

— Сами разберутся, теперь все сами.

А Елизавета, действительно, упорно гнула свою придуманную линию и порядком мучила Камышова. Больше она не удостоила его не только поцелуя руки, но и с глазу на глаз никогда с ним не оставалась и очень часто равнодушно уходила из дому, как только он появлялся. Ей казалось, что она слишком легкомысленно с ним познакомилась и слишком многое разрешила в первый же вечер. Да ей и нравилось дразнить его. Она думала так: «Любит, так подождет, не любит, так и не надо». И ловя в его глазах то умоляющее выражение, которое она заметила при первой же встрече, когда обратилась к нему сурово, она едва сдерживала улыбку радости. Впрочем, она уже не сомневалась в его любви.

Да и в самом деле, к чему ж тогда было все? Но вот если б ей сказали, что она сама любит Камышова, она бы, наверно, воскликнула: «Что? Какой вздор!»

Петр Петрович, как мужчина и как занятой человек, был в стороне от этих дел. Кокетство дочери, если этим словом назвать ее поведение, не касалось его. Он усмехался иногда в свои пушистые усы, когда видел, как искусно, по его мнению, как жестоко, по мнению Камышова, и как неискусно, на чужой взгляд, Елизавета скрывала свои истинные чувства под придирками, спорами, игрою. Но Петра Петровича это не трогало. Он был действительно убежден, что молодежь сама разберется в таких вещах. Вот к спорам он прислушивался внимательнее, и один из них он часто вспоминал потом, когда одолело его тяжелое раздумье.

Это было так. Однажды за вечерним чаем все сумерничали, и, как это часто бывает в сумерки, никому не хотелось зажигать огонь. А над городом ползла большая туча, чаевники ее не заметили, только, может быть, чувствовали, потому что воздух стал густ, и тишина такая, что слышно было бы, если б с дерева упал лист. И вдруг подул сильный ветер и первым же порывом ворвался в открытое окно, пронесся по комнате, задребезжал чашками, заколебал скатерть. И было это так неожиданно, что все вздрогнули, и всем показалось, будто даже на секунду закачался весь дом. И тогда-то Камышов сказал тихо и очень значительно:

— Вот так бывает и с человеком...

Звук его голоса словно разбудил всех от дремоты. Елизавета тотчас кинула ему:

— Что вы хотите сказать?

Он помолчал, будто не находя слов, а потом выговорил очень осторожно, точно каждое слово выпускал с сожалением и облегчением, как птицу из клетки, и долго еще смотрел ему вслед:

— Вот живет человек и живет, и привыкает к духоте, и кажется ему, что без духоты этой даже дышать было бы нечем. И даже весело ему в этой духоте. А вдруг — ветер. Сразу от свежести и вздохнуть трудно. Но как-то сразу вся жизнь проветривается...

Петр Петрович понимал, что Камышов говорит о себе, о своей любви к Елизавете. И в словах его, в конце концов, ничего необыкновенного не было, значительность им придавала опять-таки только любовь. Любящие ведь всегда чувствуют глубже, потому и обыкновен-

ные вещи говорят как-то искреннее, задушевнее. Но Петра Петровича и тогда поразила эта простая мысль о неожиданном, хотя и естественном событии, которое вдруг может проветрить всю жизнь человека. Он тогда же еще попробовал пошутить:

— Вот проветришь вас, а ветер-то все и унесет, ничего не останется.

Эти собственные слова впоследствии почти пугали его. Но тогда он только шутил, и Камышов ответил ему просто:

— Это смотря по человеку. У кого ничего не останется, тот несчастный. А у другого может пыль за несколько лет сдуть, и все даже заблестит.

Тут в разговор снова вступила Елизавета. Как всегда, она стала перечить Камышову и смеяться над его словами. Но Петр Петрович больше не слушал.

Тогда он не обратил внимания на этот разговор. Он ведь понимал, что любовь всегда умеет говорить красиво и грустно. Но потом он часто вспоминал этот вечер и с удивлением думал, что Камышов, наверно, сам не понимал, как глубоки были его слова.

Жаль, что в день рождения Петра Петровича Камышов не пришел. Елизавета настрого запретила ему, она вовсе не хотела, чтобы сослуживцы отца вывели свои заключения из присутствия постороннего молодого человека. Камышов, может быть, не позволил бы Черкасу зайти так далеко в изложении своих мыслей, он ведь любил и умел поспорить. Во всяком случае, Петр Петрович ночью снова вспомнил тот вечерний разговор, и ему показалось, что Черкас действительно каким-то ветром пронесся вдруг по его долгой и мирной жизни. И пожалуй, трудно было решить, осталось ли что-нибудь после этого вихря, или он все унес.

5. БАЛАГАН — И ЕЩЕ БАЛАГАН

Наутро после дня рождения Петра Петровича порядок расписывавшихся на явочном листе сотрудников распределителя несколько изменился, а Петракевич умудрился даже опоздать на целых пять минут, и тов. Майкерский с большою тревогой в сердце и с явочным листом в руках поджидал его у входа. Петракевич все же явился, мрачно выслушал нотацию и молча проследовал наверх. А тов. Майкерский сказал Петру Петровичу, стоявшему рядом с ним:

— Я уже вчера подумал, тов. Обыденный, что, пожалуй, вы слишком много графинчиков выставили на стол. Это и работе может повредить, и указывает на некоторое излишество.

Петр Петрович знал: когда начальник обращается к нему не по имени-отчеству, а по фамилии с прибавлением слова товарищ, это — дурной признак. Он промолчал и почувствовал какое-то стеснение в груди и неожиданный приступ зевоты. Глухая, нудная тоска, как невозможный зверь, которого Петр Петрович проглотил целиком, шевельнулась в нем и, как зверь, расправила члены, так что все внутри у него заныло.

Вообще в это утро работа не ладилась у всех. Евин — и тот обнаружил в книгах какой-то ехидный, не замеченный им просчет и, с выступившим на лбу холодным потом, сообразил, что ему придется переписать целую книгу у себя на дому по ночам, чтобы этот просчет скрыть. Язевич расплачивался за вчерашнее свое обжорство несварением желудка и то и дело переносил

руки от деловых папок к собственному животу, чтобы растереть его, что, впрочем, не прекращало болей. Райкин и Геранин суетились больше обычного, но и больше обычного, казалось, совершенно не желали понимать, что им говорят. Петракевич молчал по обыкновению, но вместо того, чтобы с сердцем швыряться папками и скрести пером так, будто необходимо было испытать прочность не сукна, а казенной бумаги, он сегодня сидел тихо, ни к чему не прикасался, подпер руками голову и глядел в угол невидящим взглядом. Ендричковский, как бы подчеркивая, что он ничего и не желает делать, слонялся из угла в угол, заложив руки в карманы, насвистывал тот мотив, который вчера играли Райкин и Геранин и под который так залихватски плясал Черкас, и, встречаясь глазами с сослуживцами, как-то вызывающе усмехался. А Лисаневич из природной вежливости со страхом разглядывал всех и несравненно больше интересовался самочувствием сослуживцев, нежели делами. Только Кочетков бойко покрикивал внизу на посетителей да тов. Майкерский засел у себя в кабинете и был недоступен обзору.

Конечно, в это утро на сотрудниках сказывалось похмелье. Но в конце концов опытным людям не привыкать стать к понедельничному похмелью. Дело было не в том, или, вернее,— не только в том. Всех смущала одна мысль, а именно, что вчера что-то произошло. А вот что — хоть убей, память никому не подсказывала. Помнили, что угощение было роскошное, что сначала разговор не клеился, а потом явился не то очаровательный, не то жуликоватый артист. Помнили, что артист сразу оживил общество и что с ним было немало выпито. Смутно, но все-таки вспомнили, что потом артист что-то очень длинно говорил и, кажется, обидел Петра Петровича. А вот чем обидел — оставалось неясно. Вчера как будто это знали и понимали, а сегодня никто вспомнить не мог. Дальше, кажется, намечался скандал. Но почему скандал, было непонятно. А потом все завертелось, закружилось и даже заклубилось. Бешеной пляскою Черкаса, захватившей сердца, все кончалось. Никто не помнил, что было дальше, когда — раньше всех — ушел тов. Майкерский, не случилось ли затем еще чего и как он сам добрался домой. А вместе с тем все ясно чувствовали, что нечто в их мире безусловно изменилось и нельзя так просто вернуться к обычному распорядку жизни. И опять-таки

никто не знал, что же, собственно, изменилось, а только все были убеждены, что перемена связана с Петром Петровичем, и потому предпочитали отводить от него глаза. А когда заговаривали с ним, то сами слышали, как фальшив звук их голоса, сами себе удивлялись и все-таки ничего с собой поделать не могли. И ведь не то чтобы Петр Петрович потерял в их глазах присущий ему вес и уважение,— наоборот, к этому прибавилось еще что-то, нечто вроде жалости, сострадания, но это-то и смущало, и главное — было совершенно непонятно, откуда взялось такое чувство.

А сам Петр Петрович, может быть, невольно, но только усугублял это чувство. Он нынче отвечал невпопад, ни на кого не глядел прежним, открытым, веселым взором, а наоборот — кое-кто заметил на себе его неожиданно подозрительный взгляд, который он тотчас отводил. Это еще больше смущало. Петр Петрович как будто с усилием заставлял себя принимать участие в налаженной жизни распределителя. Мысли его были, очевидно, где-то далеко, и когда они наталкивались на сослуживцев, возбуждали в нем тревогу и недоумение такие же, как у других — к нему. Но если сослуживцы были заняты им, то и он больше был занят собою. Он все время куда-то уходил, подолгу стоял в коридоре, словно забыв, куда ему нужно идти, а иногда, даже под чужими взглядами, вдруг забывался, ронял бумаги, глядел в сторону, не слышал обращений и думал явно о постороннем. И сослуживцы боялись догадаться, что думал он о том же, о чем думали и они.

Конечно, такое состояние умов и такой затор в работе даже в понедельник не могли продолжаться весь день. И действительно, из кабинета тов. Майкерского задребезжали звонки, за которыми последовали вызовы сотрудников и разносы. Первому, как всегда, влетело Евину. Тов. Майкерский, как будто назло, потребовал именно ту книгу, в которой Евин только что обнаружил просчет, тов. Майкерский этот просчет заметил, да и трудно было не заметить, потому что Евин зачем-то, как он потом признавался — сдуру, отметил преступное место в книге красным карандашом. Тов. Майкерский забегал по комнате и произнес путаную, но суровую отповедь.

— Это что ж такое,— закричал он.— Это для того я ночей не сплю, чтобы бухгалтер спал за работой? Это что же такое, я вас спрашиваю: вчера кутеж, а

сегодня просчет? Вы хотите всунуть полено в бесперебойную машину и остановить весь ее ход, и все сломать к черту! Что? Я надеюсь на вас, как на каменную гору, я хвастаюсь самому себе, что вы образец аккуратности и точности, что вы-то сознаете вашу ответственность перед теми, кто послал вас сюда, а вы хлещете водку на именинах и отчеркиваете просчет красным карандашом! Вы, может быть, тоже вчера плясали? Вы, может быть, в оперетку поступить собираетесь? Вам, может быть, надоело за столом сидеть и выполнять государственную работу, вы хотите безответственно дрыгать ногами? Или вы принудительных работ захотели?

Тов. Майкерский кричал еще долго. Но уже из приведенных выше слов его было ясно, что и для него вчерашний день не прошел даром. Он тоже кое-что заметил и, конечно, не зря упомянул про пляску и оперетку. Евин молчал и ежился, и мысленно дал обет отговариваться болезнью всякий раз, когда его позовут на вечер, где будет присутствовать начальник. Он дождался той минуты, когда красноречие тов. Майкерского стало иссякать, и робко, почти шепотом, сказал:

— Я, тов. Майкерский, для того отчеркнул, чтоб исправить. Я, тов. Майкерский, в три ночи всю книгу перепишу, честное слово. Спать не лягу, раздеваться не буду, а перепишу. И на службу ни разу не опоздаю, вот увидите. Это ведь не корыстный какой-нибудь просчет, а случайный, вы сами видите, тов. Майкерский. Я в три дня все исправлю.

Это заявление смягчило сердце начальника. Он еще погорячился для виду, а потом неожиданно сказал:

— Впрочем, вы-то, кажется, вчера как раз немного пили и вели себя незаметно. Ступайте.

Но когда Евин оказался уже в коридоре и собирался вздохнуть с облегчением, дверь кабинета стремительно раскрылась и голос, желавший быть громовым, но сбивающийся на неприятный крик, произнес:

— Но помните: тут вам не оперетка!

Этот голос слышно было по всему зданию. Сотрудники вздрогнули и значительно переглянулись. Понедельник начинался для них особенно тяжело. Они лихорадочно взялись за работу, но было уже поздно, или, вернее, сегодня ничто не могло помочь. Разнос следовал за разносом. Крик послышался уже из коридора. Теперь тов. Майкерский отчитывал Райкина и Геранина.

— Вы что мечетесь тут как угорелые? Вы, может быть, действительно, угорели после вчерашнего? Вы понимаете, что вам говорят, или у вас мысли направлены только на мандолину? Я вас научу о службе думать! Музыканты какие нашлись! Здесь вам не оркестр! И не урок танцев, понимаете?

И не успели сотрудники опомниться, как тов. Майкерский лично появился в зале, где они работали, и окинул всех подозрительным взглядом.

— Сколько времени мне еще ждать накладных? — крикнул он.— Надо на вокзал ехать, а вы, тов. Ендричковский, разгуливаете, заложив руки в карманы! Вы, может быть, думаете, как бы вам сравняться остроумием с опереточными танцорами? Вы, может быть, тоже полагаете, что ноги у человека важнее головы?

— Если мне сейчас на вокзал бежать, так ясно, что ноги важнее,— злобно огрызнулся Ендричковский.

Остальные опустили головы, и в наступившей тишине было отчетливо слышно, как где-то очень далеко метла шаркала по тротуару. Тов. Майкерский заморгал глазами, помолчал, будто собираясь с духом после проглоченного горького лекарства, потом смерил Ендричковского глазами и сказал мирно и тихо:

— Если вам угодно откомандироваться в балаган, я могу вам доставить это удовольствие.

— Мне и в этом балагане хорошо,— не смущаясь, отрезал Ендричковский.

Тут тов. Майкерский просто не нашелся. Он был так ошарашен, что не мог произнести ни одного слова. Он посмотрел по очереди на Петракевича, Лисаневича и Язевича, но те избегали растерянного взора начальника. Он резко повернулся на каблуках и увидал Петра Петровича, безучастно стоявшего в стороне. Казалось, что Петр Петрович даже не слыхал происшедшего. Тов. Майкерский вздернул голову, повернулся к двери и на ходу уже крикнул:

— Тов. Обыденный, прошу в кабинет!

Петр Петрович вздрогнул и с недоумением оглянулся. Сослуживцы на него не смотрели. Он вздохнул и поплелся за начальником.

— Что же это такое, тов. Обыденный,— полужалобно, полуяростно сказал тов. Майкерский, войдя в кабинет.— Этому же названия нету! При всех сказать мне в лицо, что у нас тут балаган!

— Кто это вам сказал, Анатолий Палыч? — спо-

койно, нелюбопытно, словно скучая, спросил Петр Петрович.

Тов. Майкерский опешил. Он бегал по кабинету, но тут он даже остановился.

— Вы не слыхали? — раздельно, почти с ужасом спросил он.

— Не слыхал,— спокойно ответил Петр Петрович.— Вы что-то горячились там, Анатолий Палыч, но я, должно быть, о другом думал, хотя не помню, о чем.

Тов. Майкерский беспомощно опустился в кресло. Он довольно долго молчал. Петр Петрович глядел на него так, как будто вдруг обнаружил какой-то новый, неожиданный, хотя и очень маленький интерес к его особе. Наконец тов. Майкерский вздохнул, оперся локтем о стол, покачал головою и сказал:

— Этого я даже не ожидал, тов. Обыденный. Чтобы вы не слыхали служебного разговора, и такого разговора,— непостижимо! Я вам должен сказать, тов. Обыденный, вы меня очень удивляете. И вообще у меня вчера на многое глаза открылись.

Петр Петрович так быстро поднял голову, что тов. Майкерский осекся. Взгляд Петра Петровича, до сих пор туманный и далекий, вдруг просветлился. Он сказал медленно:

— Может быть, не у вас одного, Анатолий Палыч.

— Я вас окончательно не понимаю, тов. Обыденный,— вскричал тов. Майкерский и даже отшвырнул карандаш.— И я вам должен вот что сказать. Вы — ответственный работник, специалист, знаток сукна, и я был вами очень доволен. Но зачем вы вчера пригласили этого танцора, я не понимаю.

— Он живет в моей квартире,— ответил Петр Петрович.

— Очень жаль,— вскричал тов. Майкерский.— Нигде не сказано, что с жильцами обязательно надо дружить. А если ваш жилец — вредный элемент?

— Чем же он вредный? — еще спокойнее и еще тише спросил Петр Петрович.

— Чем? — немного озадаченно переспросил тов. Майкерский, но тотчас махнул рукою и крикнул: — Всем! Он вчера всех споил! Положим, и вы хороши — сколько водки выставили! А если бы кому-нибудь в голову пришла мысль: на какие же это средства такой кутеж? Я не говорю, что кто-нибудь мог вас заподо-

зрить, но если бы?.. Да вы помните, что он вчера говорил? Или вы не поняли?

— А что он говорил, Анатолий Палыч? — с любопытством спросил Петр Петрович.

Тов. Майкерский остолбенело взглянул на него и снова вскочил и забегал по комнате.

— А, вы не помните! Так достаточно того, что я вам говорю: он произнес неслыханные вещи. Я не могу их повторить, я уже не помню, и не желаю помнить, да, не желаю, но это была чистая контрреволюция, мистика, полное безобразие. Да вы хоть помните, что он вас оскорбил? Или вы все забыли?

— Он не хотел меня обидеть,— опустив голову, с трудом выговорил Петр Петрович.

— Вот как! А вы помните, например, когда я ушел от вас?

— Раньше других, Анатолий Палыч, как вы всегда делаете.

— Раньше других! А когда именно?

— Я на часы не глядел, Анатолий Палыч.

— Не глядели! А вы помните, как он пошел танцевать? А вы помните, что все стали подпевать этим мальчишкам, Райкину и Геранину? А вы помните, что все, все, даже Евин и Язевич, тоже пошли в пляс?

— Ну, что ж, Анатолий Палыч, значит, им весело было.

— Нет, вы меня с ума сведете, тов. Обыденный! А если б кто-нибудь в окно заглянул и увидал, что весь распределитель пляшет? Наш распределитель! И всем коноводит какой-то подозрительный актер? А может быть, он и не актер? А может быть, он это нарочно? Что?

— Ну, что вы, Анатолий Палыч! Ну, что такого было? Повеселились немного, и все.

— Хорошенькое «повеселились»! Вот сегодня это веселье сказывается! У Евина — просчет, никто ничего не делает, а Ендричковский такие дерзости говорит, за которые сотрудников надо гнать вон, как заразу.

Тов. Майкерский схватил графин со стола, налил себе воды и выпил. Потом он отдышался и сказал несколько тише:

— Ендричковскому я объявлю строжайший выговор с последним предупреждением. Евин обещал исправить все в три дня и не спать ночей. Буду ли я спать эти ночи, другое дело, но давайте надеяться, что он обеща-

ние сдержит. А вас, Петр Петрович (тов. Майкерский в первый раз за этот день назвал Петра Петровича по имени-отчеству), я прошу быть внимательней. Я не имею права вмешиваться в вашу частную жизнь, но, конечно, ноги моей больше не будет там, где я могу встретить этого танцора.

На этом закончился служебный разговор. На этом закончились для сотрудников тревоги понедельничного дня. Тов. Майкерский больше из кабинета не выходил, а испуганные сотрудники истово взялись за работу, стараясь не думать о вчерашнем. Кое-как служебный день дотащился до конца. Но не все еще было закончено для Петра Петровича.

Он вышел из распределителя последним и медленно пошел домой пешком. Проходя пустынным переулком, он вдруг почувствовал такое головокружение, что вынужден был схватиться рукою за выступ стены. Все качнулось не столько в глазах, сколько в голове, и потом, как под ударами какого-то молоточка, пошло кружиться с возрастающею скоростью. Пришлось несколько раз закрыть и открыть глаза и глубоко вздохнуть, чтобы прогнать это ощущение. Тут же зашалило слегка сердце — дало несколько чувствительных перебоев. Петр Петрович подумал, что, может быть, он, в самом деле, вчера выпил лишнее. Что ни говори, а возраст уже не тот, чтобы угнаться за молодыми. Эта мысль была почему-то очень обидна. Петр Петрович стал вспоминать прошлое и убедился внезапно, что вообще в своей жизни он ни разу не выпил так, чтобы можно было помянуть этот случай с восторгом. В сущности говоря, это было просто смешно, и скорее следовало радоваться тому, что почтенный человек вел себя всю жизнь примерно. Но и эта мысль глубоко обидела Петра Петровича. «Что же,— подумал он,— все было прилично, и все было скучно, а хоть бы раз...» Что — раз, он не знал и не мог найти этому определения. Он остановился на улице и потер лоб. «В самом деле, что — раз?.. Из себя выпрыгнуть, что ли?» Нет, это Петра Петровича не соблазняло. «А вот как это сказал вчера Черкас? Выразить себя, так, кажется?» Петр Петрович усмехнулся. «Где уж тут выразить себя! Да и что выразишь?»

Потом мысли сделали новый скачок. Черкас говорил, что надо что-то видеть, и при этом еще — уметь видеть. Ну, предположим, что Петр Петрович видеть не умеет. Но на что он мог бы смотреть? Снова прожитая

жизнь мелькнула перед ним. Казалось бы, все сложилось очень хорошо, даже удачно. Никаких особенных несчастий, более или менее хорошая служба, жена, дети... Но Петру Петровичу опять стало скучно, и скука эта была какая-то особенная. Скучать он, вообще говоря, привык. Например, по праздникам, после обеда и сна, в сумерках, когда никого рядом не было, всегда становилось скучно. Но та скука, во-первых, была привычная, а во-вторых, быстро проходила. Отогнать ее помогали мысли о службе, о семье, чей-нибудь приход, даже раскладывание пасьянса. А эта незнакомая скука была тем и страшна, что никаких средств для борьбы с ней не подворачивалось. Наоборот, все мысли цеплялись одна за другую, не перебивались ни веселыми, ни интересными, и скука только росла.

Нашлось еще несколько пустяковых, прямо ерундовских, но обидных мелочей. Вот, например, не слишком ли много молчал Петр Петрович в своей жизни? Сколько раз можно было ввернуть в разговор меткое словцо, и уже оно, казалось, висело на кончике языка, а говорили его другие. Какие убедительные возражения можно было бы найти при спорах молодежи! Петр Петрович мог бы сказать им... Но тут скука снова давила на сердце, и Петру Петровичу лень было подумать, что же, собственно, он бы им сказал. Одно было ясно: сказать он мог, а вместо того всегда молчал. И молчал вообще всю жизнь. А это было обидно почти до боли.

Или, например, прошлым летом, когда сотрудники распределителя выиграли на конкурсе местной газеты первую премию за образцово поставленное учреждение и получили пять мест в крымской санатории, почему Петр Петрович не поехал в Крым? Правда, тов. Майкерский просил его остаться для пользы службы. Правда, ему не хотелось уезжать одному так далеко, оставив семью в городе. Ему лень было собираться в путь, и ему казалось, что он будет скучать в одиночестве. Но ведь все единогласно признавали тогда, что первое право на место в санатории имеет именно он, Петр Петрович. Тов. Майкерский обошелся бы и без него, семья и так осталась в городе, а Петр Петрович, может быть, вовсе бы не скучал. Может быть, он и увидал бы то, о чем говорил Черкас. Разве же пыльный распределитель и семья, в которой он и так проводит все дни, важнее этого? И опять обида колотила сердце.

В таком настроении и с некоторым опозданием Петр Петрович пришел домой. Дома никто не спросил его о причине опоздания, и это его тоже задело. Он торопился взобраться по лестнице и слегка задохнулся, и он совсем забыл, что, делая неспешные прогулки при каждой возможности, он приучил домашних к своим опозданиям. К столу он сел мрачный, аппетит отсутствовал. Как нарочно, и Константин и Елизавета читали за столом. Петр Петрович долго на них косился, но Елена Матвевна сегодня была чем-то озабочена и не заметила взглядов мужа. Тогда он не выдержал и, должно быть, в первый раз в жизни сделал детям замечание. Для них это было так неожиданно, что они оба отложили книги и с удивлением взглянули на отца. Петр Петрович смутился, но вместе с тем почувствовал на минуту некоторое облегчение. Но потом ему снова стало обидно: ведь он, кажется, за всю жизнь ни разу и голоса-то не возвышал.

Елена Матвевна была занята своими мыслями. Только в конце обеда она хмуро сказала:

— Утром Черкас заходил, просил прощения. Главное, просил перед тобой извиниться, он, мол, не хотел тебя обижать, а раззадорили его гости. Я ему сказала: «Не понимаю, кто вас раззадорил. Люди как люди, и даже очень хорошие люди».

Петр Петрович промолчал. Но про себя он несколько раз повторил: «Люди как люди». Сотрудники распределителя, действительно, ничем не отличались от всех прочих людей. Но Петру Петровичу показалось вдруг, что все они испытывают такую же скуку, как и он сам. И тогда он подумал о том, что эти люди как люди ему смертельно надоели и что сегодня он сам себе тоже надоел.

Попозднее пришел Камышов. Он ласково поздоровался с Петром Петровичем и спросил:

— Что это вы какой скучный сегодня, Петр Петрович?

Петр Петрович нахмурился еще недовольнее, он и не предполагал, что выдает внешним видом свое настроение. А Елизавета еще подхватила:

— Папа сегодня сердитый после вчерашнего.

Раздражение опять накопилось в груди Петра Петровича. Он пробурчал:

— Вовсе я не мрачный и не сердитый. И что такое вчера было, что я должен быть мрачным?

— Выпили, Петр Петрович,— смеясь и кокетничая, сказала Елизавета,— выпили лишнее!

Петр Петрович даже встал. Только этого не хватало: девчонка будет делать ему замечания! Он хотел было сказать Елизавете что-нибудь резкое, оборвать ее, но и слов не нашел, и снова стало ему скучно и безразлично, что говорят, хотя бы и о нем. Он отошел в угол и сел там.

Камышов, Елизавета и Константин начали какой-то веселый разговор и громко смеялись, забыв о Петре Петровиче. Даже Елена Матвевна, рассеявшись на время, вторила им. А Петр Петрович сидел в своем углу и искренне удивлялся, что смешного было в их разговоре, чему они радуются и отчего так высоки и громки их голоса. И хотя их разговор и все поведение казались ему глупыми, он подумал о том, что он в своей жизни никогда так не смеялся. Это уже было неправдою, в молодости Петр Петрович смеялся беспрестанно, но почему-то сейчас хотелось думать именно так, растравляя прежнюю обиду.

Время шло, наступил вечер, Петр Петрович все сидел в своем углу, а остальные все веселились на свой лад, когда в дверь постучали и вошел Черкас. Он казался слегка смущенным, да и взгляды, которыми встретили его все, кроме хозяина, не очень-то льстили ему. Он подошел к Петру Петровичу и сказал, слегка запинаясь:

— Я, Петр Петрович, на минутку. Я, знаете, не выдержал и забежал в перерыве домой, чтобы вас повидать. Мне весь день хотелось вас увидеть и сказать вам, что я очень извиняюсь, если вчера вас чем-нибудь обидел. Я сейчас уйду, Петр Петрович, мне и спешить надо, только скажите уж мне, что вы на меня не сердитесь.

Петр Петрович заметил взгляды, которыми встретили Черкаса. Может быть, поэтому, наперекор остальным, Черкас показался ему сейчас симпатичнее всех. Он протянул актеру обе руки и сказал:

— Что вы, что вы, Аполлон Кузьмич! Мало ли что случается под пьяную лавочку. Да я что-то не помню, разве вы меня обидели? Садитесь-ка вот, чайку выпьем. Елена Матвевна, налей нам по стаканчику.

Последние слова его прозвучали совсем фальшиво, он сам услыхал это и даже покраснел. Но Черкас, рассыпаясь в благодарностях и в уверениях, от чаю отказался, ссылаясь на то, что в театре его ждут, несколько

раз пожал руку Петру Петровичу, поклялся, что не видал еще такого чудного человека, и убежал. С его уходом Петру Петровичу снова стало тоскливо, и вдруг опять закружилась голова, как на улице, хотя и не так сильно.

— Вот ломака! — с искренним возмущением воскликнула Елизавета, как только Черкас ушел.

— Не пойму я, чего ему нужно от нас,— озабоченно сказала Елена Матвевна.

— И ведь он врал, что весь день думал, что из театра прибежал,— с прежним возмущением сказала Елизавета.

— Просто актер,— пренебрежительно уронил Константин.

— В театр он побежал, еще бы,— почти со злостью продолжала Елизавета.— Все придумал, врун такой!

— Неприятный тип,— согласился и Камышов.

Почему-то этот разговор взорвал Петра Петровича. Не то чтобы он когда-нибудь хорошо относился к Черкасу. Нет, прежде он бы, наверно, согласился со всем, что было только что сказано. Но сейчас ему показалось, что эти возгласы направлены не против актера, а против него, против Петра Петровича. Черкас не стал ему близок, но он почувствовал необходимость взять актера под свою защиту, чтобы защитить самого себя. Иначе преувеличенные нападки на жильца становились обидны для него самого. Родные никак не могли понять, что единственное средство не огорчиться вчерашними словами актера было не обижаться на них. Впрочем, и Петру Петровичу оставалось неясным, от кого ему следовало сейчас защититься. Может быть, тоже от себя самого. Эта путаница, скука и головокружение вызвали в нем злобу, почти граничащую с яростью. Ему показалось, что Черкас, несомненно, выше всех, что родные напали на жильца чуть ли не из зависти. Он резко встал и почти крикнул:

— Ну! Что налетели на человека? А я вам скажу, он хороший человек, вот что! Прекрасный человек! Умный! А вы тут...

Он не находил слова, и хотя чувствовал, что говорит грубо, хотя видел, как все отшатнулись, но остановиться не мог и искал слова еще похлестче, чтобы выбросить его из груди вместе с тоскою. И он вспомнил утреннюю сцену между тов. Майкерским и Ендричков-

ским и выкрикнул так грубо, как никогда в другое время он бы себе не позволил:

— ...балаган устроили!

Но и это слово было не то, а грубость его он услышал, когда оно прозвучало, и, совсем растерявшись от неожиданной своей вспышки, случившейся с ним чуть ли не в первый раз в жизни, он вышел из столовой.

— Что это с ним, мама? — тревожно вскрикнула Елизавета, когда Петр Петрович ушел.

Елена Матвевна поднесла дрожащую руку к глазам и вытерла углы их концом платка. Для нее выкрик Петра Петровича был и неожиданнее и тяжелее, чем для остальных. Но она знала своего мужа лучше, чем знали его дети. Она покачала головою и тяжело вздохнула.

— Стар становится,— каким-то особенно значительным и глубоким шепотом ответила она.

6. НАКРАХМАЛЕННЫЕ БУМАЖКИ

Так как товар приходил и уходил по ордерам и денежные расчеты велись не распределителем, а трестом, то денег в кассе всегда бывало немного, только на жалованье сотрудникам да на служебные расходы. Поэтому в распределителе не держали специального кассира, и обязанности такового исполнял заодно бухгалтер Евин, что умиляло не раз комиссии по разгрузке штатов. А так как в честности сотрудников не было никаких сомнений и так как деньги, как сказано, бывали небольшие, то Евин держал их просто в ящике стола и частенько забывал этот ящик запереть. А тов. Майкерский и Петр Петрович, кроме того, всегда имели открытый доступ к ящику, так как всеми расходами ведали они.

Через несколько дней после именин Петра Петровича случилось так, что в кассу поступили как раз деньги, а в распределитель прибыла новая партия товара. Все сотрудники с накладными принимали товар во дворе, и большая комната была пуста, когда в нее вошел Петр Петрович. Он, очевидно, очень устал, потому что, войдя, он сел на первый же стул у входа, глубоко вздохнул и закрыл глаза, приложив руку к сердцу. Тоска не оставляла его все эти дни, а головокружение и перебои в сердце повторялись все чаще и чаще. Он никому не говорил о своих ощущениях, не желая никого пугать, и все надеялся, что они скоро пройдут, вот только надо встряхнуться. Он уже не понимал, тоска ли вызывает эти ощущения, или они

вызывают тоску. Но если б не тоска, он не обращал бы внимания на голову и сердце,— по крайней мере, так ему казалось. Он всячески стремился уходить от людей, оттого что они ему стали скучны и он боялся расспросов, разговоров, сожалений. И в семье и на службе заметили, что Петр Петрович стал неразговорчив, несообщителен, скучен. Дома это приписывали временной усталости, сослуживцы же таинственно переглядывались друг с другом, как будто они что-то знали и на что-то могли намекнуть. Но в том-то и дело, что и они ничего не знали и ничего не могли назвать.

Отдышавшись, Петр Петрович стал вспоминать, зачем он, собственно, пришел сюда со двора. Мысли его в последние дни были так рассеяны, что он стал забывать сплошь и рядом самые обыкновенные вещи. Он отчасти потому и не хотел говорить с людьми, что боялся и разговор повести так же путанно и с такими же провалами, как путались и рвались его мысли. Он понимал, что его могут принять если не за сумасшедшего, то за нервнобольного, а он сам себя больным не считал и вовсе этого не хотел. Сосредоточившись наконец, он вспомнил, что пришел за накладной, понадобившейся сейчас во дворе для проверки принимавшегося товара. Так как все сотрудники были заняты непосредственным делом, а тов. Майкерский и Петр Петрович только наблюдали, то начальник и попросил помощника поискать накладную.

Вспомнив это, Петр Петрович, однако, позабыл другое. Он никак не мог припомнить, где бы могла лежать нужная бумажка. То ли он забыл, то ли просто не знал, куда прятали сотрудники эти накладные, в чьем столе, в чьих бумагах надо было ее искать. Бежать вниз и потом снова подняться наверх Петру Петровичу не хотелось. Он не желал обнаружить свою рассеянность, да и просто это было ему сейчас не по силам. Стараться припомнить, где могла лежать эта бумажка, значило понапрасну терять время. Так как всех столов, папок и бумаг было в конце концов не так уж много, то и проще всего казалось — спешно перерыть всю комнату. Так Петр Петрович и сделал. Он переходил от стола к столу, ворошил папки и наметанным глазом быстро определял, что в этой папке накладной нет.

Накладная, однако, куда-то запропастилась. Время шло, да и немало его потерял Петр Петрович, отдыхая

на стуле. Внизу, наверно, уже ждали его, минут через пять еще, вероятно, прислали бы кого-нибудь посмотреть в чем дело. Петру Петровичу совсем не хотелось, чтобы вбежал, запыхавшись, кто-нибудь из молодых, изумленно поглядел бы на него, вмиг нашел бы бумажку и, отнеся ее вниз, шепотом рассказал бы другим, как бился Петр Петрович у столов и ничего не мог найти, и чтобы потом сослуживцы переглянулись с тою жалостью, которую он уже замечал в их прячущихся взорах. Он ускорил свои поиски, лихорадочно перелистывал бумаги, швырял папки, выдвигал ящики. Накладная не находилась.

Сердце Петра Петровича опять забилось ускоренно. Усилием воли сдержав начавшееся было головокружение, он кинулся к столу бухгалтера Евина. У того все лежало в образцовом порядке, и Петр Петрович убедился, что и на этом столе накладной не было. Он с силою дернул за ручку ящика, и нужная бумажка взлетела слегка на воздух и опустилась в ящике же, но сбоку, приоткрыв пачку денег, поверх которой она мирно лежала.

На лбу Петра Петровича выступил пот. Сердце замедленными, но сильными толчками стало отходить, но побежденное было головокружение возобновилось — должно быть, от наступившей слабости. Держа в руке накладную, Петр Петрович принужден был опуститься на евинский стул, чтобы отдышаться снова и переждать новый припадок.

Еще не совсем придя в себя, обводя блуждающим взором комнату, он случайно посмотрел в ящик. Там лежала пачка новеньких червонцев, открытая теперь, как бы обнаженная и перепоясанная только резинкой. Петр Петрович машинально опустил руку и коснулся пачки. Бумажки, прохладные и твердые, чуть-чуть затрещали, как накрахмаленные.

Петр Петрович ни о чем не думал. Найденная бумажка и сердце, медленно сокращавшее свой слишком сильный стук, вместе с успокоением принесли и какое-то отупение. Петр Петрович тяжело сидел на стуле, но казался самому себе легким, чуть ли не воздушным. Таким же легким, таким же воздушным и прозрачным казалось все вокруг. В голове стоял бездумный туман, такой, который нежно кутает все близкое в сумерки, но от которого яснее и тоньше становится даль. Рука Петра Петровича рассеянно перебирала червонцы. Выры-

ваясь из-под пальца, они укладывались в прежнем порядке, словно успокаиваясь после легкого волнения и слегка шурша. И так же рассеянно и неторопливо рука выдернула из пачки несколько бумажек, соединенных скрепкою, и сунула их в карман.

Петр Петрович совсем не думал о том, зачем он взял деньги. Он не сознавал, казалось, даже того, что он их взял. Еще меньше приходило ему в голову, что деньги эти казенные и что он попросту вор. Вот лежали новенькие накрахмаленные бумажки, и он их взял. Зачем? Так. Ведь деньги всегда прячут в карман.

А деньги были Петру Петровичу вовсе не нужны. Ни экстренных расходов, ни специальных желаний у него не было. Он даже ни на одну секунду не представил себе, что он сделает с этими деньгами. Он сунул их в карман небрежно и рассеянно, как курильщики прячут обычно чужие спички, даже не замечая, что они, собственно, прячут,— естественным и привычным жестом, чисто механическим, без всякой мысли. Если курильщикам указать на их поступок, они поглядят удивленно и в первую минуту даже не поймут, о чем идет речь, а потом спохватятся и скажут: «Ах, да»,— и вернут спички, не чувствуя за собою никакой вины. И Петр Петрович тоже сейчас же забыл о том, что он взял деньги,— может быть, он даже не заметил этого, как и те курильщики.

Головокружение прошло, туман исчез. Вместо них Петр Петрович ощутил тяжесть в голове и во всем теле. Он встал, закрыл ящик, взглянул на другую руку, которая все еще держала накладную, вспомнил, зачем он пришел сюда, и пошел вниз, во двор. Тов. Майкерский, увидав Петра Петровича, сердито сказал:

— Где вы так долго пропадали, тов. Обыденный?

И Петру Петровичу снова стало нестерпимо скучно, и он молча протянул начальнику накладную.

День был суетливый, Кочетков вывесил на двери объявление, что сегодня приема нет, и запер дверь, сотрудники не уходили со двора, принимая, разгружая и пересчитывая товар. Было много возни и крику с возчиками, на некоторых штуках сукна не оказалось пломб, на нескольких возах не сходился счет, не все сукно подходило под описание, присланное из треста. Ендричковский ездил в трест и обратно, тов. Майкерский ругал всех, а Евин ругал возчиков, а возчики ругали Евина, трест, железную дорогу. Раскладывать

товар нужно было в порядке, а прислали его в беспорядке, пришлось сперва все разложить во дворе, а уж потом относить в склад. Мог пойти дождик, товар бы подмок, поэтому все торопились. Возчики не желали помогать, уверяя, что это не их дело и что они даже не обязаны разгружать воза, а только привезти товар в целости и сохранности. Но еще не было установлено, привезли ли они товар, действительно, в целости и сохранности, так как не все сходилось и с железнодорожною накладной. Возчики обижались, ругались и клялись, но для выяснения дела пришлось послать Ендричковского на вокзал. А Райкин и Геранин, относя уже кипы на склад, умудрились их перепутать, пришлось старшим бежать туда и восстанавливать нарушенный порядок. Словом, дела было столько, что все глядели друг на друга волками, на службе остались лишний час, и когда, наконец, работа была закончена, товар уложен и возчики уехали, все оказались измученными и, не заглянув даже наверх, быстро разобрали шапки и разбежались по домам.

Не торопился только Петр Петрович. Он и прежде был человек неторопливый, а теперь ему стало просто некуда спешить. Ведь дома ждала его та же скука, что и на службе. С тех пор как он так резко и грубо накричал на всех, домашние стали относиться к нему с осторожностью и особою предупредительностью. Если б они обиделись, если б сделали вид, что ничего не произошло, или хотя бы заговорили с Петром Петровичем о том вечере, может быть, он легко бы вернулся к прежней и такой недавней своей жизни. Но домашние как раз тщательно избегали всего, что могло бы ему напомнить о его грубой выходке и тем не давали ему ни на миг забыть о ней, забыть о том, что произошло нечто, разделившее его и семью. Подчеркнутая внимательность домашних, их фальшиво веселые глаза, невысказанное сожаление и молчаливый упрек раздражали Петра Петровича, и часто он с трудом сдерживался, чтобы не повторить снова той выходки. Он знал, что это еще больше отделило бы его от семьи, что это было бы совсем несправедливо, но и их обращение с ним доводило его порою до тихой ярости.

Он пришел домой, пообедал и сел в своем углу вдали от всех. Он молчал, и молчали все, видя, что их обращения и шутки не находят в нем ответа. Дети быстро ушли к себе, а Елена Матвевна сидела с шитьем.

Шитье шло плохо, она то и дело опускала руки и взглядывала на Петра Петровича. Она, может быть, многое могла бы сказать ему, а может быть, и без слов сумела бы его успокоить, но и она не решалась подойти к нему, потому что в его поведении было что-то отстраняющее, враждебное, а главное — незнакомое ей. Она не понимала, что творится с ним, и не подходила к нему, опасаясь неподходящим жестом или неподходящим словом оскорбить его. А враждебность и отчуждение его еще не выросли до такой степени, чтобы можно было ей без всяких уже мыслей кинуться к мужу, тормошить его, ухаживать и неотступно требовать, чтобы он стал снова прежним.

Петр Петрович не подозревал, что делалось за его спиной. Он с тоскою глядел в окно и видел там все то же: пыльные, серые стены дома, в котором жили Маймистовы, кусочек темнеющего уже неба. Звуков никаких не доносилось, воздух был по-летнему душен и тяжел. Он хотел было взяться за газету, собирался уже сказать, чтобы зажгли свет, но затерял очки. Шаря их по всем карманам, он наткнулся на какой-то сверток и в первую минуту никак не мог догадаться, что это такое попало к нему в карман. Он вынул сверток и поднес к глазам. Это были деньги.

Он начал вспоминать, откуда они взялись и как попали к нему. Это он вспомнил быстро. Первою мыслью его было — как мог он так небрежно сунуть казенные деньги в карман и забыть о них? Эта забывчивость его очень огорчила. Потом он подумал, что завтра надо будет прийти в распределитель пораньше и только не забыть тотчас же положить деньги обратно в ящик. И тут он задумался над тем, зачем он, собственно, эти деньги взял. Раздумье длилось несколько минут. Какие-то обрывки мыслей о краже, о растрате пронеслись в его мозгу, не выступая ясно. Все это было не то. Он с усилием напряг свой ум, и вдруг его словно осенило, и он даже улыбнулся. Как будто кто-то другой сказал ему в этот миг, что деньги попали к нему незаконным путем, а он усмехнулся, потому что вообще не понимал, что это значит — незаконным путем, но зато сейчас понял что-то другое, гораздо более важное, тайное и невысказываемое, рядом с чем происхождение денег казалось вопросом, не заслуживающим никакого внимания. И при этом сверток в кармане тотчас потерял всякую ценность. Можно было бы выбросить его

за окно, и, конечно, первый же извозчик переехал бы его колесом, как всякий другой отброс. И это было совсем неудивительно. Ведь существовало зато что-то другое, что обесценивало деньги, лишало всякой силы и позволило легко присвоить их, и если б захотелось, позволило бы так же легко отдать, вернуть или подарить. Вот только, к сожалению, это иное никак не давалось в руки, не постигалось умом, а томило жестокою безвыходною тоской.

Червонцы лежали в руке. Они не успели смяться в кармане и все еще потрескивали, как накрахмаленные. На такие же деньги люди покупали все то, что мешало им тосковать. Петру Петровичу деньги сами по себе давно уже не приносили радости; они радовали, только обращаясь в подарки или в какое-нибудь необычное, не ежедневное развлечение. Мало надежды было на то, чтобы они помогли сейчас. Но если все люди радовались им и покупали на них радость, значит, они для того и существовали. И раз они находились у Петра Петровича, он, очевидно, должен был поступить с ними так же, как поступают другие люди.

Петр Петрович встал, надел шляпу и сказал Елене Матвевне:

— Я выйду, прогуляюсь немного. Может быть, посижу где-нибудь. Вы меня не ждите.

Он ничего не собирался скрывать. Он просто не знал, куда пойдет. И он действительно не хотел, чтобы дома волновались, если он задержится.

Петр Петрович вышел из дому и пошел в привычном направлении: по главной улице к городскому саду. Он никого из знакомых не встретил, посидел в саду на скамейке, подышал воздухом. Ночь была тепла, где-то весело смеялись, смех казался очень звонким, но не оскорбляющим тишины. За спиною Петра Петровича сидела парочка, эти говорили шепотом, иногда только смех вырывался и у них, но они его сейчас же подавляли. Проходило много всяких людей, лущили семечки, разговаривали, кто — чинно, кто — кривляясь. Все это было очень обыкновенно и очень скучно.

Петр Петрович снова забыл про то, что у него в кармане лежали какие-то деньги, что он собирался променять их на какую-нибудь радость. Радостей что-то не подвертывалось. Женщины, проходившие слишком близко и слишком настойчиво глядевшие в глаза мужчин, давно уже не могли рассчитывать на его вни-

мание, да он и до женитьбы их избегал. Театр его не интересовал, да и было уже слишком поздно, пьеса уже, верно, кончилась. В рестораны Петр Петрович не ходил, а сейчас он вообще был сыт. Словом, идти было некуда, а про деньги, как сказано, он совсем забыл. Не они ведь были главным. Главное же было не так просто найти.

Петр Петрович совсем собрался было домой и лениво подумал, что хорошо было бы, если бы домашние уже спали и не потребовалось бы таким образом ни разговоров, ни выжидательно-опасливых взглядов с их стороны. Но все-таки он встал и твердо решил идти домой, когда знакомый вкрадчивый голос окликнул его:

— Гуляете, Петр Петрович? Вышли пройтись после трудового дня?

И тотчас, перейдя с шутливого на участливый тон, голос озабоченно прибавил:

— Как вы себя чувствуете, Петр Петрович?

Петр Петрович обернулся. Перед ним, сняв шляпу и слегка согнувшись в полупоклоне, стоял Черкас.

— Спасибо,— ответил Петр Петрович.— Я себя хорошо чувствую.

Он усмехнулся вдруг и, неожиданно даже для себя самого, с некоторым раздражением прибавил:

— Это дома из меня больного делают, а я здоров.

— Как больного? — почти с испугом вскричал Черкас.— Разве вы жалуетесь на что-нибудь?

— Я же вам говорю, что здоров,— с досадой ответил Петр Петрович.— Просто скучно что-то, тоска. А им уж кажется бог знает что.

— А вы к доктору не обращались? — спросил Черкас.

— Обращался. Я недавно у доктора был. Он мне вот гулянье прописал. Я и гуляю, видите.

Черкас очень пытливо посмотрел на Петра Петровича,— впрочем, может быть, это только показалось в темноте.

— Вы домой направляетесь? — снова меняя тон на равнодушный спросил он, словно между прочим.

— Домой,— устало ответил Петр Петрович.— Куда ж и идти-то?

— Можно зайти куда-нибудь,— так же равнодушно, между прочим, сказал Черкас.— Я часто после театра куда-нибудь захожу.

— А разве открыто что-нибудь? — с любопытством спросил Петр Петрович.

— Конечно. Да вот как раз пивная. Тут можно пива выпить и закусить. Музыка играет, и даже, кажется, программа какая-то есть. Тут иногда бывает довольно весело. То есть не то чтобы весело, а смешно. Народу много всякого. Да, впрочем, хотите — зайдем на минутку, посмотрим и уйдем. Мне завтра тоже рано вставать.

Петр Петрович был, пожалуй, рад Черкасу. Жилец как-то отвлекал его мысли и казался интереснее других. А больше всего Петр Петрович обрадовался возможности не возвращаться тотчас домой, где так сильна становилась его тоска. Спать ему не хотелось, он даже побаивался бессонной ночи. И он с удовольствием принял приглашение.

Они вошли в пивную. Это была длинная и узкая комната с эстрадою посередине. Между эстрадой и противоположною стеною помещался только один ряд столиков и узкий проход. Пел жиденький хор в русских костюмах под аккомпанемент трех балалаечников. Как во всех этих заведениях, было накурено до того, что дым резал глаза и казался тучей в густом тяжелом воздухе. Петру Петровичу показалось странным, что под этой тучей кто-то мог веселиться.

Они нашли свободный столик, Черкас заказал пива и какой-то закуски. Петру Петровичу пить не хотелось, он вяло проглотил горошину, она остановилась в горле и только увеличила собою тот ком тоски, который и так подымался из груди. Люди кругом сидели унылые, хора никто не слушал, да и пел-то этот жалкий хор под сурдинку. Петр Петрович недоумевающе поглядел на Черкаса, будто спрашивая, зачем актер привел его сюда.

Черкас вначале избегал встречаться глазами с Петром Петровичем. Он быстро выпил пива, долго и тщательно выбирая, закусил и при этом жмурился и потирал руки. Все люди кругом, и Петр Петрович в том числе, казались усталыми и бледными. Один Черкас порозовел от выпитого, глаза его блестели, жесты стали еще свободнее и шире. Как все актеры, он, казалось, только ночью и вел настоящую жизнь,— днем он никогда не бывал так оживлен. После долгого молчания, насытившись, очевидно, он наклонился к Петру Петровичу и дружеским тоном сказал ему:

— А ваши-то на меня очень обиделись. Они, кажется, решили, что я вас обидел и что я еще в чем-то виноват, уж не знаю перед кем.

Петр Петрович забыл, что и сам Черкас как будто чувствовал прежде свою вину, иначе зачем бы он пришел на другое утро извиняться? Но Петру Петровичу показалось вдруг, что не Черкас обидел его, а, наоборот, домашние обидели Черкаса своим отношением. А так как домашние и его самого раздражали в последнее время, то он почувствовал к Черкасу особую симпатию и сказал, почти извиняясь:

— Да, знаете, вот и сослуживцы мои тоже... тоже вроде как обиделись на вас.

Черкас быстро взглянул на него и воскликнул:

— Что же вы не пьете, Петр Петрович? Нет, так не годится! Здесь надо пить, и пиво здесь прекрасное. У себя-то вы как угощали, а тут не хотите и пригубить.

Петр Петрович совершенно не хотел пить, но ему показалось, что отказ обидит Черкаса. Он выпил свой бокал и поморщился: он никогда не любил пива, а сегодня оно показалось ему особенно невкусно. Но Черкас, должно быть, не заметил этого. Он налил второй бокал и сказал, снова наклоняясь к собеседнику:

— Я это знаю, Петр Петрович. Я хоть и не видал ваших сослуживцев, но, конечно, догадался. Могу себе представить, что они теперь обо мне говорят. А знаете, почему это? Знаете, отчего им кажется, что я их обидел или вас обидел, когда я на самом деле никого и не думал и не хотел обижать? Очень просто. Потому что они ничего не поняли из того, что я говорил. Они решили, что это было направлено против них, а так как я обращался к вам, то они и придумали обидеться за вас. Кажется, вы одни меня поняли. Ведь вы не обиделись, правда?

Петр Петрович кивнул. Он действительно не обиделся, он уже забыл даже, что произошло на его именинах, так далек был теперь этот день. Черкас торжествующе откинулся на стуле и, не сводя глаз с собеседника, сказал:

— Вот это и значит, что вы — выше их. И я вам скажу, что, конечно, все, что я тогда говорил, было направлено против них. О, не против вашей милой семьи, конечно, и не персонально против кого-нибудь из ваших гостей. Я говорил против косности нашей жизни, против неуважения к искусству, против убеждения, что мелкие служебные дрязги — это все в жизни человека. Они обиделись, они живут этим. Это так понятно. Но вот вы, Петр Петрович, вот скажите сами,

разве вы не чувствуете, что есть в нашей жизни нечто иное, чем то, что мы видим кругом, в чем живем, в чем погрязаем? Я тогда говорил общими местами. Но правда же, разве все это так просто? Человек изменил жене, скажем. Все кричат, шепчутся. А вот у него просто любовь прошла, разве не бывает так? Или человек взял деньги из кассы. Сейчас крик, шум — вор. А втихомолку каждый думает: «Мне бы!» А может быть, человек этот деньги просто так взял, вот лежали, а он их взял. Ведь вы заметьте: такие люди деньги кидают на пустяки. Не то чтоб они там в семью принесли или даже на себя истратили,— нет, такие люди как будто хотят отделаться от этих денег. Они их и швыряют с тоскою и вслед им смотрят с самою робкою надеждой: «Может быть, взойдет что-нибудь там, где их кинули, хотя самое нестоящее, пустоцвет какой-нибудь, да взойдет». Отчего это? Что же, вы скажете, эти люди — воры, совесть мучает и тому подобное? Бросьте! Если их мучает что-нибудь, так это скука. Жить скучно, вот что. И что же, вы осудите его за то, что поиски чего-то иного он ставит выше казенных денег? Поиски — потому что никогда из этих поисков ничего не выходит!..

Черкас снова удовлетворенно откинулся на стуле и даже закрыл глаза от удовольствия. Странно, он попал как раз в точку, ведь и у Петра Петровича лежали казенные деньги в боковом кармане, но Петр Петрович не принял его слов за намек, не опустил глаз, не почувствовал ни укора, ни оправдания. Голос Черкаса порою доносился откуда-то издалека. В нем тоже не было ни радости, ни утешения. Актер, может быть, говорил порою верные вещи, каких не говорил и не понимал никто другой, но и он ничем не мог помочь. Петр Петрович тихо сказал ему:

— Ну, хорошо, Аполлон Кузьмич, может быть, все это верно, что вы говорите. Вы от всего этого уходите в театр. Ну, а нам что делать? Я, например, танцевать уже стар, если и пойду, так все засмеют.

Он улыбнулся в первый раз за день. Собственно говоря, это уже было большим успехом. Но улыбка его была усталая, невеселая. Черкас широко раскинул руки в стороны.

— А вот,— воскликнул он,— каждому свое. Вот и здесь ищут развлечения. И еще есть всякие места. Были б деньги...

— Предположим, что даже деньги есть,— спокойно перебил его Петр Петрович.— Кто поручится, что в таких местах веселее?

Черкас заерзал на стуле и все быстренько поглядывал на Петра Петровича.

— Посмотреть надо,— ответил он.— Самому посмотреть. Не понравится — дальше искать.

— Сами ж вы говорите, что из поисков никогда ничего не выходит.

— Смотря кто ищет,— уклончиво ответил Черкас.— И... что искать. И... как искать.

— А вот предположим, что ищу я,— становясь спокойнее с каждою минутой, сказал Петр Петрович.— А что искать и как искать — не знаю.

Черкас некоторое время молча смотрел на собеседника, словно изучая его лицо, как художник, перед тем как начать портрет. Потом он сказал деловито:

— Судя по времени, вы ищете развлечения. Судя по возрасту, не все развлечения для вас доступны. Надо подумать.

— Думать мне, может быть, некогда. Завтра я, может быть, вообще раздумаю.

— Здесь вас не устраивает? — быстро спросил Черкас.— Можно познакомиться кое с кем. Тут всякие люди есть. Можно хору заказать что-нибудь. Можно хористов пригласить к столику. Выпить можно, если захотите, я знаю, где достать.

— А дальше? — спросил Петр Петрович.

— Что дальше?

— Ну, вот именно — что дальше? По пивным ходили и в мое время, а толку было мало. Один из братьев Прянишниковых, у которых я служил, с таким вот хором все деньги пропил, хотел жениться на цыганке, что ли, только братья его в желтый дом упрятали. Не знаю уж, действительно он с ума сошел или они капитал спасали. Они его на поруки взяли потом, только он скоро умер.

— От одного раза в желтый дом не попадете,— усмехнулся Черкас.

— Да ведь и в рай не попаду,— усмехнулся в свою очередь Петр Петрович.

— Ну, уж я, право, не знаю, что и придумать для вас,— с легкою досадой сказал актер.

— Кабаки я видал, Аполлон Кузьмич,— задумчиво

проговорил Петр Петрович,— и разврат тоже видал. Меня Прянишниковы часто с собою возили. Еще смеялись тогда надо мною, что я очень воздержный был. Не могу сказать, чтобы это было интересно. В питье для меня вкусу нету. Ну, что еще? Вот природу я действительно мало видал. Но где ж ее ночью искать, природу?

Черкас неприятно осклабился.

— Может быть, вы уже к тому свету готовитесь,— поджимая губы, сказал он,— вы про рай, может быть, не шутили, потому и ведете душеспасительные разговоры.

Петр Петрович глубоко вздохнул и нахмурился. Замечание Черкаса было ему очень неприятно.

— Нет,— ответил он.— Я и в этой жизни вперед никогда не загадывал.

Интерес Петра Петровича к Черкасу пропадал. Время было очень позднее, воздух в пивной стал тяжел невыносимо. За столиками кое-где качались пьяные, подпирали головы руками, бессмысленно глядели вдаль, распустив губы.

— Для высоких духовных наслаждений люди обыкновенно объединяются днем,— прежним неприятным тоном сказал Черкас.— Впрочем, я не знаю, где вы их получите в нашем городе. Разве в читальню зайдете или в шахматный клуб.

Петр Петрович встал и застегнул пуговицы пиджака. Он уже понял, что от Черкаса ждать ему нечего, хотя актер все-таки оставался ему симпатичным.

— Вероятно, вы правы, Аполлон Кузьмич,— сказал он.— Мне оттого так приятно с вами поговорить, что вы все хорошо понимаете, куда лучше меня. Только ведь предложить мне и вы ничего не можете.

Черкас тоже вскочил с места и с жалостью, немного досадливою, спросил:

— Вы уже уходите, Петр Петрович? А то, может быть, все-таки поедем куда-нибудь?

— Нет уж, спасибо,— ответил Петр Петрович.— Мне домой пора.

— Петр Петрович!..

Черкас взял собеседника за пуговицу, перегнулся через стол, наклонился так, что голова его пришлась в уровень с плечом Петра Петровича, и небрежно-вкрадчиво сказал:

— Не могли бы вы мне одолжить пару червонцев? На короткое время — до жалованья.

— Сколько вам нужно? — спокойно спросил Петр Петрович.

Черкас откинулся, подумал, посмотрел на собеседника и ответил:

— Да... червонцев пять, я думаю.

Петр Петрович спокойно вынул казенные деньги, аккуратно выбрал бумажку в пять червонцев и подал Черкасу. Тот посмотрел на пачку горящими глазами и, должно быть, пожалел, что мало попросил. Но считая Петра Петровича очень положительным человеком, он не надеялся на успех своей просьбы. Куча денег внушила ему сомнения. Он долго и горячо благодарил. Петр Петрович со скукою выслушал его и ушел. Петр Петрович почти не сомневался, что он уж больше не увидит этих пяти червонцев. Но деньги эти, не имевшие никакой цены в его глазах, казались ему совсем недорогой платой за разговоры Черкаса. О том, что эти деньги казенные, он снова совсем позабыл.

— Сэр, вы нездоровы.
— Но, сэр...
— Никаких но, сэр! Вы больны, вы несомненно больны, сэр!

Диккенс

7. ВОЗВРАЩЕННЫЕ ЧЕРВОНЦЫ, ВОЗВРАЩЕННЫЙ МИР

Казалось, что время полного, безмятежного спокойствия безвозвратно прошло для сотрудников распределителя. Не успели они опомниться от именин Петра Петровича, от последовавших затем разносов, как наступил день приемки товара с его суетою, перебранкой и беготней. И вот уже на следующее утро пришло новое потрясение, может быть наиболее сильное и горчайшее. Куда исчезли времена премий, похвальных отзывов, почти семейного счастья? Задули какие-то враждебные ветры, нагнали туч, тучи разражались грозами, и хорошо еще, что все кончалось сравнительно благополучно, что перед крепкою спайкой сотрудников и привычною налаженностью работы грозам приходилось отступать и довольствоваться сравнительно легкими разрушениями. Но вот на этот раз распределитель пострадал серьезнее.

Началось дело так. Не успели сотрудники сесть на свои места, не успели еще разобрать бумаги, морщась оттого, что бумаг накопилось за два дня (вчера ведь было не до бумаг), не успел тов. Майкерский пройти в свой кабинет, не успел Ендричковский отпустить первую колкость, и еще не выбежали в коридор Райкин и Геранин, чтобы начать свой беговой день,— как Евин, открыв свой стол, ахнул на всю комнату, побледнел и схватился руками за голову. Сотрудники кинулись было к нему, но он не отвечал на расспросы и, раскачиваясь, несколько секунд мычал совершенно нечеловеческим голосом. Хотели уже бежать за водою,

но Евин вскочил и, выражая неестественными жестами свое крайнее отчаяние, бросился к двери и исчез за нею. И снова не успели сотрудники переглянуться и обменяться впечатлениями, как из кабинета тов. Майкерского раздался троекратный звонок. Этим звонком обычно вызывали наверх курьера Кочеткова. В таком вызове не было бы ничего странного, если б звонок не пробил, как пожарный сигнал. Но и тут сотрудники не успели сделать ни одного предположения, как в дверях вырос уже Кочетков и не то с торжественностью необычайной, не то с истошным страхом завопил:

— Тов. Майкерский всех зовут в кабинет!

Тут уж окончательно не было времени для каких бы то ни было рассуждений. А само это событие могло быть названо только из ряду вон выходящим. Тут даже догадкам не было места. Или готовился общий генеральный разнос, в планетарном, так сказать, масштабе,— но за что? — или... Второе знал один тов. Майкерский. Сотрудники бегом бросились в коридор, в дверях встретились с Петром Петровичем, которого Кочетков вызвал из склада и который не присутствовал при сцене с Евиным, и на цыпочках вошли в кабинет. Кочетков закрыл за ними дверь и тоже робко встал за их спинами.

Тов. Майкерский стоял за столом. Его руки дрожали, его лицо дрожало, его глаза прыгали, его плечи подергивались, и подергивались его щеки. Сбоку от стола стоял Евин. Голова бухгалтера низко склонилась, даже упала на грудь. Он весь съежился, как будто его только что прекратили бить и он, может быть, ожидал после перерыва какой-то новой утонченной пытки или смертельного удара. Тишина воцарилась такая, что слышно было, как от ускоренного дыхания потрескивал чей-то воротничок. Кочетков не выдержал этой напряженной тишины и вздохнул, забыв часы антирелигиозных бесед:

— О господи!..

Тов. Майкерскому, очевидно, трудно было вымолвить хоть одно слово. Он находился в таком состоянии, что мог неистово закричать, но мог и тихо, по-детски отчаянно заплакать. Это зрелище было для сотрудников невыносимо, ожидание же казалось им пыткою. Они стояли опустив глаза и старались даже не дышать. Наконец тов. Майкерский схватился обеими руками за

голову, так же как это сделал прежде Евин, и простонал:

— В первый раз!.. в первый раз!..

Никто ничего не понял, только Евин вздрогнул и даже издал звук, очень похожий на всхлипывание.

— Товарищи! — сказал тов. Майкерский, чуть не плача, и протянул к сотрудникам обе руки.— Товарищи!..

«Разнос или не разнос?» — мелькнуло у всех в голове. Должно быть, нет. Но во всяком случае нечто страшное, необыкновенное и, как уже сказано, из ряду вон выходящее. Кочетков даже тихо простонал, и остальные, может быть, с удовольствием повторили бы его стон, если б не боялись каждого звука.

Тов. Майкерский проглотил нечто, подозрительно напоминавшее слезы, выпрямился, оперся дрожащими руками о стол и сказал, стараясь придать своему голосу столь необходимую в этом случае твердость:

— Вчера тов. Евин получил двести червонцев из кассы треста. Он положил эти деньги в ящик своего стола, и ящик, как всегда, оставил незапертым. Все мы вчера работали во дворе, и никто из нас не подымался наверх. Дверь была заперта. Сегодня утром половины этих денег не оказалось. Так уверяет тов. Евин.

Тело бухгалтера потрясли рыдания.

— Я не брал! — закричал он.— Я не брал!

— Я ничего не знаю,— резко ответил ему тов. Майкерский.— За деньги отвечаете вы. Кто мог их взять? Вы же говорите, что следов воровства нет, все в порядке. Кочетков тоже уверяет, что он ночью ничего не слыхал и что все двери утром были на запоре. Значит, взяли деньги или вы, или кто-нибудь из сотрудников. Я должен ехать и подать заявление в угрозыск.

Тут силы изменили тов. Майкерскому, он упал в кресло, закрыл лицо руками и простонал:

— Все пропало.

Сотрудники стояли как пришибленные. Они, правда, не так ретиво, как их начальник, относились к славе распределителя. Но ведь теперь — прощай премии, награды и места в крымской санатории! Теперь приедет новая строгая ревизия, приедет угрозыск, посыплются увольнения. И главное — никто не чувствовал себя виноватым, никто даже в мыслях не провинился. Все боялись поглядеть друг на друга и сочли свалившееся на их головы чистым несчастьем.

Петр Петрович один был спокоен. Он стоял в стороне и слушал все происходившее вполуха. Когда снова воцарилось молчание, он с любопытством оглядел всех, словно не понимая, отчего они так взволнованы, и удивляясь этому, как детскому, необоснованному настроению. И когда тов. Майкерский, собравшись с силами, встал, встал, как разбитый подагрою старик, Петр Петрович спокойно, чуть только что не весело, сказал в общей тишине:

— Я эти деньги взял, Анатолий Палыч.

Конечно, все взоры тотчас обратились на него. Конечно, вздох облегчения вырвался, так сказать, единогласно из всех грудей. И тов. Майкерский воскликнул с легким укором, который совершенно потонул в неистовой радости:

— Что же вы сразу не сказали, Петр Петрович?

Петр Петрович молчал и чуть-чуть, почти незаметно, улыбался. Он почувствовал свое превосходство, видя, как волновали всех деньги, безразличные для него. Общая радость сменилась легкою тревогой. Тов. Майкерский с некоторым недоумением поглядел на своего помощника. Только Евин, отойдя от приступа столбняка, который нашел на него, когда он услышал признание Петра Петровича, не обращая внимания ни на что более, радостно расхохотался почти истерическим хохотом. Тов. Майкерский вздрогнул и осторожно спросил:

— Вы эти деньги вчера взяли, Петр Петрович? То есть я хочу спросить, вы их, конечно, для дела взяли? Что ж вы не предупредили меня, что нам предстоят внеочередные расходы?

Петр Петрович молчал. Он как будто никак не мог взять в толк, о чем его спрашивают. Общее недоумение становилось все тягостнее. Даже Евин оборвал смех, но, не в силах еще удержать довольную улыбку, уставился на Петра Петровича — нельзя сказать, чтобы с очень умным видом. Тов. Майкерский беспомощно оглянулся и еще осторожнее, уже запинаясь слегка, спросил:

— Может быть, вы эти деньги просто спрятали, когда увидали, что ящик раскрыт?

Он повернулся к Евину и сказал бухгалтеру строго:

— Я вам сколько раз говорил, чтобы вы запирали ящик! Видите, что могло случиться!

Но всем, и тов. Майкерскому тоже, было сейчас не до Евина. Взоры снова направились на Петра Петровича, а Петр Петрович молчал.

— Петр Петрович! — вскричал тов. Майкерский.— Деньги-то при вас?

Ему даже стало страшно своего вопроса, и он откашлялся, потому что голос его внезапно сел. Невольно вслед за ним откашлялись и остальные. А Петр Петрович все еще молчал. Тогда тов. Майкерский закричал уже с отчаянием:

— Петр Петрович! Что же вы молчите?

Петр Петрович взглянул на него, как будто только сейчас расслышал, что к нему обращаются. Он сказал совершенно спокойно:

— Деньги при мне. Мне они не нужны. Только пяти червонцев не хватает. Я их дал взаймы. А остальные — вот.

Он вынул из кармана так и не смятые бумажки и положил на стол. Евин схватил пачку и быстро пересчитал.

— Девяносто пять,— сказал он и с возрастающим недоумением посмотрел на всех.

— То есть как дали взаймы? — растерянно спросил тов. Майкерский, беспрестанно моргая глазами.— Кому дали?

Собственно говоря, всем следовало обрадоваться, что девяносто пять червонцев целы и что все их страхи, значит, были напрасны. Стоило ли вообще упоминать о недостающих пяти червонцах? Такая мелочь была просто смешна в сравнении с тем, что только что пришлось пережить. Но поведение Петра Петровича было так загадочно, говорил он так просто и спокойно, а вся история была до того непонятна, что сотрудники не спускали с него глаз, как будто ждали теперь от него чего-то совершенно непостижимого и необычайного. Он же ни на секунду не заволновался, не изменил своей обычной позы, голоса, жестов и говорил спокойно, почти весело. Это-то спокойствие и легкость, эта словно подразумевавшаяся веселость не только изумляли, они прямо пугали сотрудников.

— Взаймы дали? — переспросил тов. Майкерский, словно не веря ушам своим.

— Я их Черкасу дал,— ответил Петр Петрович.— Вы, кажется, знаете его. Он очень просил. Я и подумал: отчего же не дать, раз просит? Человек он милый, разговорчивый, интересный. Я дал.

— Петр Петрович! — в исступлении крикнул

тов. Майкерский.— Что вы говорите? Да ведь деньги-то казенные!

Петр Петрович озадаченно посмотрел на него и нахмурился. Потом помощник заведующего растерянно обвел всех глазами.

— Казенные...— пробормотал он,— казенные... Ах, да,— словно вспомнив что-то и отмахиваясь от этого, как от назойливой мухи, сказал он,— я вам забыл сказать, Анатолий Палыч. Я вовсе не хочу скрывать от вас. Я эти деньги, то есть все сто червонцев, не для того взял, чтобы спрятать, или на расходы... Просто — лежали деньги, я и взял. Собственно, я не знаю, зачем я их взял.

Он остановился, подумал и вздохнул. Прежняя легкость сменилась у него тягостным недоумением. Он сразу стал хмур и угрюм.

— Да,— повторил он медленно, точно вдумываясь в свои слова.— Не знаю. Лежали — я и взял.

Если сослуживцы со страхом ждали от Петра Петровича чего-то необычайного, то вот это необычайное произошло. О нем рассказал сам Петр Петрович. Но он рассказал это так просто и естественно, что сослуживцы готовы были отказаться поверить ему. Ничья исповедь, никакое открытие не могли бы поразить их больше, чем признание Петра Петровича. Но простота и легкость, с которыми он преподнес всем свое признание, в соединении с каким-то совершенно искренним недоумением, звучавшим в его словах, никак не вязались с необычайностью события. А он сам, казалось, не понимал, чему удивляются сослуживцы. Он сам как будто ничего необыкновенного в своем поступке не видел. Он не понимал, казалось, даже такой простой вещи, что этого поступка никак не ожидали именно от него. Он говорил о казенных деньгах таким тоном, как будто подобрал на улице никому не нужную, брошенную вещь, принес домой и удивился, зачем он эту вещь поднял. Ему даже не приходило в голову, что за его поступок людей судят и осуждают. Но, с другой стороны, этот поступок, так, как он о нем рассказывал, был бессмыслен. Взять деньги для чего-нибудь — это все понимали. Но взять неизвестно зачем — это казалось выше человеческого понимания.

— Ну, погодите,— произнес вдруг обычно не открывающий рта Петракевич с дикою злобой.— Я и в театр могу прийти! Я ему покажу, мерзавцу!

— При чем тут Черкас? — высоко подняв брови и повернувшись к Петракевичу, спросил Петр Петрович.— Ведь это я деньги взял, а не он. И он не знал, из каких денег я ему даю. Он, наверно, думал, что из моих собственных.

При имени Черкаса сотрудники переглянулись, что снова очень удивило Петра Петровича. Казалось, многим из них стало что-то ясно, только они не могли это назвать. Но после слов Петра Петровича и эта блеснувшая догадка почти погасла. Все молчали. Наконец тов. Майкерский откашлялся и неуверенно сказал:

— Я не знаю, кому вы дали деньги, тов. Обыденный (это обращение по фамилии доказывало, что тов. Майкерский выходил уже понемногу из своей растерянности и начинал правильно оценивать события). Конечно, их можно взыскать с этого гражданина, который с первого взгляда внушил мне подозрение, если только они еще у него, ведь деньги, повторяю, казенные. Но это — скандал. Я бы не хотел доводить дело до скандала. При этом может пострадать репутация нашего распределителя. Я надеюсь, во-первых, что вы сами покроете недостающую сумму. Наконец, я просто задержу ее из вашего жалованья. Очевидно, у вас на руках ее нет, иначе вы бы вообще, вероятно, не начали всего этого разговора. Я полагаю, что пока мы все сложимся и временно восполним ваш долг. Как вы думаете, товарищи? Я вот даю червонец.

Тов. Майкерский порылся в бумажнике и протянул названную им бумажку. Петр Петрович глядел на него с серьезным любопытством и вслед за ним сам зашарил по карманам.

— Вот,— сказал он,— у меня тоже есть. Двенадцать, тринадцать, вот — четырнадцать рублей. Больше нет.

— Двадцать четыре рубля,— сказал тов. Майкерский.— Товарищи, кто может еще дать? Это ведь временно. Тов. Евин все запишет и выдаст вам при уплате жалованья за счет тов. Обыденного. Я бы не стал беспокоиться, но я люблю, когда в кассе все цело. Мало ли что может быть.

Все подошли к столу и положили на него разные суммы. Евин все записывал.

— А вы сами, тов. Евин? — спросил тов. Майкерский.

— А я сам ни гроша не дам! — закричал вдруг скупой Евин.— Мало я намучился, еще плати!

До этого крика было нечто как бы автоматическое в движениях и во всем поведении сотрудников. Резкий возглас Евина напомнил им, что каждый из них — человек сам по себе, не похожий на других, с собственным мнением и собственными словами. Им захотелось отмежеваться от Евина, и они отвернулись от него. Даже тов. Майкерский не удостоил его взглядом. А сотрудники загудели, хотя и приглушенно. Слышно было, как упрямо твердил Петракевич:

— А я говорю, во всем танцор виноват!

Остальные что-то говорили о старости, об усталости, о враче. Петр Петрович слушал это гудение равнодушно. Даже выкрик Евина на него не подействовал, он только внимательно взглянул на бухгалтера и усмехнулся, словно жалея Евина за то, что деньги имели для него такую ценность.

— Тов. Кочетков,— сказал тов. Майкерский уже прежним своим начальственным тоном,— ступайте к дверям, а то никого там нет. Тов. Обыденный, вы тоже, пожалуйста, пойдите... ну, все равно куда пойдите. А вас, товарищи, я попрошу еще остаться на минуту.

Кочетков вышел. Петр Петрович еще не понимал, почему его отсылают. Он спросил:

— А я вам не нужен, Анатолий Палыч?

Тов. Майкерский недовольно сморщился и опустил глаза.

— Я вас прошу выйти,— сказал он.— Мне нужно... нам нужно... Одним словом, пожалуйста, выходите.

Петр Петрович пожал плечами. Он и теперь еще не понял, чего хотят от него. Он обвел всех глазами — все отвели свои глаза в сторону. Сердце его вдруг бешено заколотилось, как будто без причины. Он не решился задать еще вопрос, боясь, что, если он откроет рот, все услышат стук его сердца. Он сгорбился, поник и медленно вышел из кабинета. Оставшиеся не без тревоги посмотрели на тов. Майкерского.

— Вот что, товарищи,— облегченно вздыхая, сказал он.— Нас не касается, что такое с гражданином Обыденным. Я за такие проступки признаю одно наказание: немедленное увольнение. Хорошо еще, если мы при этом не сообщим в угрозыск. Но ведь это не какой-

нибудь случайный у нас человек, а тов. Обыденный, он служит у нас со дня основания распределителя. Он — лучший и первый наш специалист. Конечно, со спецами надо быть всегда особенно осторожными, это ведь буржуазный элемент. Но с ним ни разу ничего не случалось. Я им нахвалиться не мог, да и вы, кажется, тоже. Мы его все даже любили. И поступок его в конце концов никому не повредил. Кроме того, мне лично, да и вам, кажется, этот поступок совершенно непонятен. Вот почему я решил посоветоваться с вами, прежде чем поступить с ним так, как я поступил бы в этом положении, не скрою, даже с любым из вас.

Момент был, с одной стороны, настолько торжественный, а с другой — настолько ответственный, что Райкин и Геранин чуть не расплакались. Они ведь не привыкли ни к таким сценам, ни к тому, чтобы с ними советовались. Они отводили глаза даже друг от друга. Они так любили Петра Петровича, что охотнее дали бы разрезать себя на кусочки, чем пережить все, что произошло и что еще продолжало происходить, и что так жестоко развенчивало их кумира. Но и остальные были настроены не многим веселее. Первым заговорил храбрейший из всех — Ендричковский.

— Что уж наше мнение спрашивать,— мрачно сказал он.— Тут, может быть, врач нужен, а не мы.

— Танцор виноват,— еще мрачнее с упорством повторил свое утверждение Петракевич.

— Нас бы погнали,— колко заявил Евин.— Так чего же?

— А у кого был ящик не заперт? — со злобою накинулся вдруг на него Ендричковский.— Других в соблазн вводишь! Еще, может быть, тебя-то и надо гнать, бухгалтер! У, подлая душонка!

Евин тотчас же замолк и съежился. Он думал, что о нем все успели позабыть, да и не рассчитывал на такое действие своих слов.

— У него семья на руках,— робко потирая руки и краснея, вежливо заметил Лисаневич.— Мне кажется... не надо с ним... очень строго...

Он смешался и еще пуще покраснел. Райкин и Геранин умоляюще взглянули на начальника, но сказать ничего не решились. Язевич попытался было сострить, но неудачно,— на него и не взглянули.

— Нельзя гнать старика,— решительно сказал Ендричковский. Он чувствовал какую-то свою вину перед

Петром Петровичем, хотя уже забыл, в чем она заключалась, и потому так решительно защищал его.

— Это мое дело: можно или нельзя,— сухо ответил тов. Майкерский.— Вы мне совет дайте, вот о чем я вас спрашиваю.

— И дам,— резко ответил Ендричковский.— Ему отдохнуть надо, он лучше прежнего будет. Отпуск дайте ему, в прошлом году он отпуском не пользовался.

— Ну и что же?

— А вот вернется из отпуска, тогда увидите. Просто он переработался, от усталости у каждого ум за разум может зайти. Вреда никому не было, ну и слава богу. Он отдохнет и сам поймет, что он сделал, и снова станет прежний.

Все посмотрели на начальника с надеждою и страхом. Но и он тоже, казалось, обрадовался найденному выходу. Он просветлел и сказал:

— Да, да. Это, пожалуй, неплохо вы придумали. У вас есть голова на плечах, тов. Ендричковский, только все-таки на службу надо приходить вовремя и дерзостей не говорить. Тов. Обыденный, правда, не пользовался отпуском и имеет на него полное право. А там уже увидим. Вы посещайте его и говорите мне, в каком он состоянии. Но, товарищи (тов. Майкерский согнал улыбку и посмотрел на сотрудников очень строго), прошу помнить: только во внимание к годам и к работе тов. Обыденного я соглашаюсь на ваше предложение. Мне его поступок непонятен. Если б я думал, что здесь имеет место обыкновенная растрата или покушение на нее, я был бы беспощаден. Я очень рад, что репутация распределителя остается непоколебимою, эта радость, конечно, действует на мое мягкое решение, но предупреждаю вас... А теперь за дело, товарищи, ступайте скорее, сколько времени потеряли. Да, об этом случае никому ничего не рассказывайте. О деньгах вообще — ни звука, а отпуск — просто очередной отпуск. И позовите Петра Петровича. А вы, тов. Лисаневич, пишите отпуск.

Райкин и Геранин выскочили в коридор, не чувствуя под собою ног. Они готовы были броситься на шею Ендричковскому. Да и остальные с большим облегчением вышли из кабинета. Недоволен был, может быть, один только Евин.

Петр Петрович ждал в коридоре. Он понял наконец, что разговор будет о нем, но он снова очень плохо

себя почувствовал, так что не мог поразмыслить об этом. Легкая обида оттого, что его попросили удалиться, отступила на второй план. Он сжимал рукою голову, чтобы прекратить головокружение. «Напрасно я эти деньги взял,— только твердил он себе,— зачем?» Он не чувствовал себя виноватым, но он уже понимал, что поступок его по меньшей мере странен. Он ведь и сам теперь не знал, как это все вышло. Наконец дверь раскрылась, сотрудники быстро прошмыгнули мимо него, и Ендричковский на ходу ласково сказал, что тов. Майкерский зовет его. Он вернулся в кабинет и подошел к столу. Тов. Майкерский, отводя глаза, сказал:

— Вот, Петр Петрович, я вам даю отпуск месячный для лечения. Отпуск вам давно полагается, и полечиться тоже следует, я вам очень советую обратить внимание на здоровье. Вы можете сейчас же идти домой. Если что нужно будет, я пришлю к вам Кочеткова. И жалованье вам пришлю, за вычетом тех пяти червонцев, конечно, то есть даже не пяти, а тридцати шести рублей, потому что вы своих четырнадцать дали.

Если сослуживцы думали, что Петр Петрович обрадуется отпуску и тотчас побежит домой, то они ошиблись. Петр Петрович смотрел на тов. Майкерского в упор остолбенелыми глазами. Он, казалось, никак не мог понять, что ему говорят.

— Какой отпуск? — пробормотал он.— Зачем? Я и не болен вовсе.

— Нет, нет,— необычно мягко возразил тов. Майкерский.— Вы нездоровы, Петр Петрович, и вид у вас усталый, правда, Лисаневич?

Лисаневич вежливо согласился и со своей стороны подтвердил мнение начальника.

— Ну, вот видите. А вы в прошлом году отпуска не брали. Отправляйтесь-ка прямо домой, это будет лучше всего. Правда, Лисаневич?

Лисаневич опять подтвердил слова начальника. Но Петр Петрович, растерянно глядя на обоих, пробормотал:

— А зачем же мне сейчас уходить? Я уж после службы пойду.

— Да нет же,— почти с досадою сказал ему тов. Майкерский.— Вот и отпуск сегодняшним числом помечен. Вам отдохнуть надо. И чем скорее, тем лучше.

Петр Петрович взял отпуск, который протягивал ему Лисаневич, повертел его в руках, поднес к глазам и снова уронил руки. Он не понимал, почему он должен немедленно уходить, так же как он многое перестал теперь понимать.

— Это за то, что я деньги взял, Анатолий Палыч? — спросил он.— Так ведь я же вернул их. Если хотите, я сегодня же достану где-нибудь тридцать шесть рублей и верну всем.

— Петр Петрович! — воскликнул, не выдержав, тов. Майкерский.— Вы понимаете, что вы не имели права взять эти деньги?

Петр Петрович посмотрел на начальника так, как смотрят люди, напряженно думающие о своем.

— Я, когда брал, об этом не подумал,— тихо ответил он.— Мне ведь деньги не нужны, я говорил вам. Не потратив ни копейки, я убедился, что они мне ничего не могут дать. В этом мне Черкас помог, невольно, может быть. За это я, должно быть, и дал ему пять червонцев. Я бы мог скрыть все это от вас, Анатолий Палыч, но я не хочу лгать. Я хотел положить деньги сегодня утром назад, но позабыл, да и все равно пяти червонцев не хватало. За это вы меня гоните?

Тов. Майкерский и Лисаневич беспомощно переглядывались.

— Не гоню! — вскричал тов. Майкерский.— Наоборот! Отпуск даю! Для здоровья. Вам необходимо отдохнуть.

— Но я-то не чувствую этого...

— Но мы вам говорим,— решительно заявил тов. Майкерский. Он, очевидно, решил покончить с этою сценой, она отнимала слишком много времени, и все равно он не мог понять своего помощника.— Отправляйтесь сейчас же домой.

Петр Петрович пожал плечами. Люди так настаивали на своем, что ему, очевидно, не оставалось ничего иного, как подчиниться. С чем он мог спорить, что мог доказать, главное, где мог взять энергию для борьбы, когда в голове все мутилось и он, может быть, сам себя не понимал. Он вздохнул снова и уже почти равнодушно спросил:

— Значит, мне уходить?

Тов. Майкерский развел руками и кивнул головою. Лисаневич избегал смотреть на помощника заведую-

щего. Петр Петрович тяжело и неуклюже поклонился, тов. Майкерский подал ему руку.

— Поправляйтесь, Петр Петрович,— сказал он так ласково, как только мог.

То же повторил и Лисаневич. Петр Петрович вышел из кабинета.

В коридоре к нему подлетели Райкин и Геранин. Шепотом — они ведь не знали, не влетит ли им еще за это,— наперерыв они сказали ему:

— Поправляйтесь, Петр Петрович, отдыхайте!

И Геранин, чуть не плача, прибавил:

— Разрешите навестить вас, Петр Петрович?

Потом они стремглав убежали. Петр Петрович хотел было зайти попрощаться с остальными, но у него отчего-то не хватило решимости или желания. Ему и неловко было перед сослуживцами: он понимал, что отпуск дал ему не один тов. Майкерский, а все, после общего совещания,— что же, может быть, их еще следовало поблагодарить? Это было выше его сил. Он подчинился, но вовсе не считал их правыми.

Он побрел вниз. Кочетков тоже пожелал ему здоровья. Петр Петрович остановился и хотел было что-то сказать курьеру. Но он тотчас забыл, что именно хотел сказать. Он постоял, подумал и сказал что подвернулось:

— Да, Кочетков, помнишь, я тебе про Маймистовых рассказывал, про сына, что с ума сошел. Сидит еще в желтом доме, да.

Кочетков не ответил. Чувствуя, что сказал не то, Петр Петрович вздохнул, помялся и прибавил:

— Ну, прощай, Кочетков!

И Кочетков, попрощавшись, закрыл за ним дверь.

На этот раз Петр Петрович не заметил, как он добрался. Всю дорогу его мучило тягостное недоумение: почему его, собственно, отпустили, почти прогнали со службы? Он вошел в столовую с отпуском в руках. Дома была только Елена Матвевна. Она увидала мужа и уронила шитье. Она еще не решалась спросить его, но предчувствие уже мелькнуло в ее глазах.

— Вот,— сказал Петр Петрович тихо,— отпуск вот. На месяц. Говорят — надо отдохнуть.

Он не сказал, что сослуживцы настаивали не только на отдыхе, но и на болезни. Он ничего не сказал и о червонцах. Елена Матвевна встала, руки ее задро-

жали, щеки затряслись, она всхлипнула и бросилась к мужу.

— Ничего, ничего, Петя,— назвав его так, как называла редко, жалобно прошептала она.— Конечно, отдохнуть надо. Садись, садись скорей!

Она ни о чем не спрашивала, она сразу поняла, что с ним что-то случилось. Она усадила его в кресло, бережно взяла отпуск из его рук, убежала на кухню и тотчас вернулась со стаканом молока.

— Вот выпей, выпей, Петя,— уже стараясь казаться бодрою, сказала она.— Мы тебя подправим.

Петр Петрович взял стакан, но и его руки дрожали, он расплескал молоко на пиджак. Елена Матвевна быстро вытерла пиджак концом фартука и, делая вид, что все это — пустое, сказала:

— Это ничего, Петя, ничего! Это пройдет. Выпей, выпей молока!

— Елена,— сказал Петр Петрович и вдруг всхлипнул так же, как перед тем всхлипнула его жена,— мы все как-то... эти дни...

Елена Матвевна не дала ему договорить. Она уже поняла, что он хотел сказать.

— Что ты, что ты,— вскричала она,— да будет тебе! Ну, пей же вот, пей молоко!..

Но Петр Петрович проглотил ком, торчавший в горле, и почти твердо выговорил:

— Я не хотел... Это вышло так... Я не обижался на вас... Я ведь по-старому... И вы уж не сердитесь на меня...

Этого Елена Матвевна не выдержала. Она кинулась к мужу и заплакала у него на плече. Он обнял ее одною рукой, в другой осторожно держа стакан с плещущимся молоком, и, придерживая локтем ее голову, ладонью гладил ее по волосам.

8. ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК

Примирение со всей семьей произошло так же легко и быстро, как и с Еленою Матвевной. Пришла Елизавета и, увидев отца, вскрикнула:

— Ты уже дома?

Мать сделала ей большие глаза за спиною Петра Петровича, и в этом взгляде Елизавета прочла все: и страх, и любовь, и предупреждение. Она подавила внезапный приступ слез, подошла к отцу, а подойдя, кинулась обнять его, приговаривая не то жалобно, не то утешающе:

— Милый, милый папочка...

Пришел Константин, и Елизавета, уже все узнавшая от матери, догадавшаяся по взглядам и намекам Елены Матвевны, выбежала брату навстречу и предупредила его. И Константин, войдя, сразу начал рассказывать что-то очень смешное из институтской жизни, хотя и не совсем уверенным голосом. А сам Петр Петрович, полуизвинившись перед женою, вернее, объяснившись одним намеком, снова почувствовал себя на прежнем месте. Он даже не замечал сперва, что за ним усиленно ухаживают. Ему велели отдыхать, и он подчинился отдыху как необходимости.

Вечером, как всегда, пришел Камышов. Елизавета и его предупредила, он даже в комнату вошел почти на цыпочках. В этот вечер не было споров, не было крику и шуму. Все говорили, не замечая этого, пониженным голосом, старались улыбаться, старались рассказать что-нибудь веселое, спокойное, избегать разговоров

о распределителе,— словом, всячески ограждать покой Петра Петровича и вместе с тем не дать ему заметить этого. И Петр Петрович не то чтобы не замечал, а не хотел этого замечать. После того, что́ он пережил в последние дни, он очень устал и теперь отдыхал в семье, в привычной обстановке. Тишина и уют, которыми старались его окружить, действительно успокаивали. Он не очень прислушивался к разговорам и сам тоже старался не замечать тревожных взглядов, которыми домашние обменивались за его спиною. Он еще не думал о том, что же такое с ним случилось, а столь недавнее прошлое отступило куда-то очень далеко. Ложась спать, он почувствовал, что от сегодняшнего утра его отделяло огромное расстояние, что день был очень длинен, пуст и спокоен. Но спал он почему-то плохо, часто просыпался и долго не мог заснуть, и даже засыпая, не целиком уходил в сон, а только полубодрствовал. Он встал поздно, с сознанием, что ему нечего делать, и с тяжелою головою.

Между тем вчера ночью, когда он уже ушел в спальню, домашние, переговариваясь опасливым шепотом, решили, что Елизавета еще до службы забежит к кому-нибудь из сотрудников распределителя и узнает у него точно и подробно, чем объясняется неожиданный отпуск отца. Долго думали, к кому обратиться, и остановились на Лисаневиче как на самом предупредительном. В восемь часов Елизавета уже была у него. Сперва он мямлил что-то неразборчивое в ответ на ее вопросы, но, волнуясь все больше и подозревая за его умалчиваниями и ускользающими глазами какие-то невероятные тайны, она так настойчиво допытывалась правды, что он не устоял и рассказал все: и про деньги, и про всю сцену в кабинете тов. Майкерского, и про военный совет, и про мотивы его решения. Елизавета кинулась домой — ведь после того, что она услышала, ей было не до службы. Лисаневич всячески пытался оправдать отца в ее глазах, но это удавалось ему, только когда он говорил о болезни. Болезнь и ей казалась единственным понятным объяснением. Болезнь страшила ее, но, по крайней мере, снимала с Петра Петровича тягчайшее обвинение. Дома она улучила минутку, кое-как оправдав свое появление, и вызвала перепуганную ее видом мать на кухню — на место всех женских исповедей в доме. Задыхающимся шепотом она передала матери слова Лисаневича. Елена Матвевна ничего

не сказала. Она только тихо заплакала и затрясла вдруг головою, как глубокая старуха. Поплакав, Елена Матвевна отерла слезы и дрожащим голосом прошептала, словно извиняясь:

— Лизанька, ты на отца не сердись. Ты этого никому не рассказывай. Это ведь понять надо, а кто захочет?..

— А вы это понимаете, мама? — в упор спросила Елизавета, не понимавшая еще, что происходит с матерью, и в душе еще не оправдавшая отца.

Елена Матвевна была уже в дверях. Она обернулась и, посмотрев на дочь большими ясными глазами, в которых еще стояли слезы, улыбнулась как-то так по-хорошему, что у Елизаветы сердце забилось до сих пор незнакомым ей чувством жертвы, безмолвного понимания и любви.

— Только объяснить не могу,— извиняющимся шепотом прибавила Елена Матвевна, уверенно кивнув головою.

А когда Елизавета, справившись со своим волнением и сделав, наконец, безразличное лицо, снова вышла в столовую, Елена Матвевна подавала Петру Петровичу чай, и никто не мог бы сказать по ее виду, что она только что выслушала невероятный и страшный рассказ о самом близком ей человеке и сколько она при этом пережила.

...Когда ребенок поступает впервые в школу, он первые дни и даже месяцы встает на час раньше, чем нужно, не доверяя ничьим часам, завтракает стоя, на ходу, бежит по улицам и приходит в школу первым, часто дожидаясь у ворот сторожа, еще не открывшего двери. Он и не представляет себе, что можно опоздать, он со страхом, как на преступников, глядит на старших товарищей, вваливающихся в класс, когда учитель уже сидит на кафедре. Пропустить же день занятий,— кажется ему, приведет к чему-то вроде землетрясения. А в праздники он не знает, куда деваться от скуки. Но вот он заболевает, или отец оставляет его дома по случаю семейного праздника. Он рвется в класс и с температурой. Но он остается дома, и — ничего не происходит. На следующее утро он встает уже на полчаса позднее и приходит в школу далеко не первым. И опять ничего не случается. Тогда в один прекрасный день он просыпает начало занятий. Легкое замечание учителя не вызывает землетрясения. Потом как-нибудь

он не успевает приготовить уроки и уже по своей воле остается дома. И вдруг школа начинает казаться ему скучной и ненужной. И так приятно, так заманчиво становится в часы занятий играть на заднем дворе в прятки.

Примерно такое ощущение испытывал Петр Петрович. Несколько лет подряд, день за днем, он с утра уходил в распределитель и возвращался только вечером. Он не пропустил ни одного дня и не знал отпуска. Праздники казались ему пустыми, он не знал, чем их заполнить. Весь день он жил заботами о службе, и вечером, усталому, ему некогда было подумать о другом. И вот оказалось, что в эту школу можно не пойти. Там все идет по-старому, бегают и пишут, принимают и отпускают товар, а Петр Петрович сидит у окна в кресле и может думать, о чем он хочет.

Он не прислушивается к тому, что говорили ему жена и дети. Он ведь хорошо знал их — что уж могли они придумать? И главное — он куда-то ушел от них, как от распределителя. Он и от семьи получил отпуск. Все, чем жили домашние, чем жили сослуживцы и знакомые, было ему прекрасно известно. И разговоры их казались ему бесконечным повторением одного и того же, даже в одинаковых словах. Это его совсем не раздражало, просто было несколько скучно и совершенно не нужно. Все они еще просто не поняли, что есть нечто другое, может быть вовсе не бóльшее в сравнении с их мыслями и разговорами, но — другое. Петр Петрович очень хотел бы постичь это другое. Но он не знал, ни где его искать, ни как о нем думать. Прежде мысли кружились вокруг того же, о чем говорили все, теперь эти мысли сократились, отступили назад, но на месте их образовались только провалы. Это было даже мучительно: чувствовать эти провалы и неумело пытаться заполнить пустоту. А заняться чем-нибудь не хотелось. Службою заниматься можно было только в распределителе, газеты были знакомы, как разговоры, книги не увлекали, иных занятий Петр Петрович вообще не знал. Он отдыхал, и отдых был ему, пожалуй, приятен. Но все-таки в груди лежала скука, если и не столь острая, как раньше. И хотя вдруг напала такая лень, что не хотелось пошевелиться, но все-таки долго так продолжаться не могло.

Родные заметили его состояние. Одно время им казалось, что он собирается уснуть, и они стали ходить

на цыпочках. Но он сидел с открытыми, хотя и неподвижными глазами, а застывшее лицо его выражало глубокую скуку. Тогда ему предложили отправиться погулять. Он согласился. Елизавета хотела пойти с ним, но ей неудобно было выйти на улицу, раз она не пошла на службу, да и Петр Петрович, кажется, предпочитал одиночество.

Родные проводили его и кинулись к окну. Они долго смотрели ему вслед, словно боясь, чтобы с ним чего не случилось на улице, или словно провожая его глазами в дальнее путешествие. Когда он наконец скрылся за углом, Елизавета первая отвернулась от окна и вскрикнула:

— Мама, что же это такое, мама?

За мать ответил Константин своим грубоватым, но мягким все же баском:

— Нехорошо, вот что! Может службу потерять. И нам тоже, если узнают, будет несладко. Были дети ответственного работника, стали дети растратчика.

— Костенька,— с тихим укором сказала мать,— ведь это ты про отца!

— Какая же растрата,— сказала Елизавета.— Другому дал, на себя ничего не потратил.

— Деньги казенные,— упрямо пробурчал Константин, хотя и смущенный до краски в лице укором матери.— Я ничего не говорю, но со стороны... Конечно, если не раззвонят...

— Детки, детки мои,— заплакала Елена Матвевна.— Вы о своем всё, вы бы отца пожалели...

Этот упрек был не совсем справедлив. Елизавета сейчас ни о чем другом думать не могла, кроме как об отце. Она не укоряла его, она только хотела понять, что с ним произошло, этого-то она и допытывалась с женскою и молодою настойчивостью, но никак не могла допытаться. А у Константина дрожал голос. Придавая ему некоторую нарочитую грубоватость, он на самом деле скрывал крайнее волнение. Елена Матвевна знала свое, она давно оправдала мужа, но она ничего не могла объяснить. И ей странно было, что дети не могут понять то, что понимает она, что они подходят к отцу не с одним только чувством, но и с рассудком, она не додумалась еще до того, что ей в жизни ничего уже не осталось, кроме любви к мужу и детям, а дети, при всей любви, просто по молодости не могут пройти мимо события, не дав ему якобы беспристрастной оценки.

— Это болезнь,— решительно заявила Елизавета, повторяя слова Лисаневича как единственное всепокрывающее объяснение тому, что она не могла понять.— Лечить надо. Все говорят.

Елена Матвевна покачала головою. Она хорошо знала, что если даже назвать вещь своим именем, то от этого еще ничего не меняется. Но Константин, словно обрадовавшись, подхватил:

— Конечно, болезнь. Это бывает, это нервное. Тут и лечение все в отдыхе. Я сам знаю — заработаешься и вдруг перестанешь простые вещи понимать. Голова перегружена. Ну, у него это сильнее еще.

— Врача надо,— сказала Елизавета.

— Да,— горячо подтвердил Константин.— И не оставлять одного. И подкормить. И чтоб гулял.

И, обрадовавшись какому-то выходу, дети наперерыв предложили целую систему лечения, так что уже и врач, пожалуй, становился не нужен. Елена Матвевна молчала. Она знала, что эту программу и гораздо большую еще программу выполнять будет она. Но она сомневалась, чтобы помогли не только успокаивающие слова, но и подлинное лечение. Она знала свое, она только не умела сказать, да и сумей она изложить свое знание словами, она бы никогда не решилась произнести эти слова даже наедине с собой.

...Петр Петрович знал одну дорогу: через главную улицу, в городской сад. Ею он и пошел. Знакомые попадались редко, час был служебный. Все-таки он встретил кого-то и охотно объяснил в ответ на изумленные вопросы, что находится в отпуску. Усмехаясь, он пожал плечами и прибавил:

— Говорят, надо отдохнуть.

Хотя это звучало просто и правдоподобно, однако знакомый все-таки посмотрел на Петра Петровича с легким недоверием. А может быть, это только так показалось.

Он пошел дальше и сел в саду. Сидел он долго, безо всяких мыслей. Знакомых среди проходивших не было, да он и не остановил бы, наверно, никого. Он не чувствовал потребности в разговоре. Потом появился Черкас. Его всегда можно было встретить в саду, потому что сад прилегал к театру. Он первый заметил Петра Петровича и подошел к нему с вопросом:

— Петр Петрович! Вы не на службе?

В глазах его мелькнуло какое-то опасение, и вопрос прозвучал несколько тревожно.

— Да,— лениво ответил Петр Петрович. Его сегодня не интересовал и Черкас.— В отпуску я. Из-за вас,— спокойно прибавил он, помолчав.

— Из-за меня? — вскинулся тот.— Из-за меня?

— Пожалуй, что так,— медленно ответил Петр Петрович, ему не хотелось разговаривать.— Из-за тех пяти червонцев.

— Я, как только жалованье...— начал было Черкас.

— Я вам не напоминаю вовсе,— прервал его Петр Петрович,— держите сколько хотите. Только деньги казенные. Когда пришлось отдавать, их не хватило.

— Вас уволили, Петр Петрович? — вскричал Черкас.

Петр Петрович посмотрел на него с полным недоумением.

— Меня? Уволили? С чего вы взяли? Я же сказал вам, я в отпуску. Мне отпуск дали. На месяц.

— А деньги как же? — нетерпеливо спросил Черкас.

— Деньги? Какие деньги? Ах, эти... Ваши пять червонцев? Ну, их покрыли. Это ведь мелочь. Я четырнадцать рублей дал, еще собрали. Это мелочь.

— Петр Петрович! — сказал Черкас и даже приложил руку к сердцу.— Мне так совестно, что из-за меня...

Но Петр Петрович снова его прервал:

— Пустяки. Да это и не из-за вас, а для здоровья. Мне надо отдохнуть. То есть это они так говорят, я что-то не замечал. Но почему ж и не отдохнуть?

Черкас был взволнован. Он поглядывал на Петра Петровича, на часы, переминался с ноги на ногу. Он явно чувствовал себя виноватым, а тон Петра Петровича еще больше смущал его. А Петр Петрович был совершенно спокоен, даже закрывал глаза — не то от солнца, не то от легкой скуки. Спокойствие его не было деланным. Он просто хорошо знал, что перед Черкасом вовсе не следует раскрывать душу. Он вообще не собирался делать это ни перед кем. Да он и сам еще не знал своих чувств. Он сознательно старался не думать о вчерашнем, на время вычеркнуть это из жизни. Он понимал, что ему, действительно, нужно спокойствие, как для того, чтобы понять, что произошло вчера, так и для того, чтобы попробовать осознать то большое, что вошло в его жизнь и перед чем все остальное могло навсегда отступить в тень.

— Разрешите, я посижу с вами,— сказал Черкас, решив, очевидно, пожертвовать тем делом, из-за которого он смотрел на часы.

— А, пожалуйста,— равнодушно ответил Петр Петрович и слегка отодвинулся, чтобы дать ему место.

— Скажите, Петр Петрович,— с искренним участием, и вовсе не подчеркивая этого участия, спросил Черкас,— вы давно себя плохо чувствуете?

— Я? — переспросил Петр Петрович.— Я себя хорошо чувствую.

— Но вот вы говорите, что вам надо отдохнуть. Значит, вы переутомились.

— Это не я говорю. Это они говорят. Сослуживцы.

— А вы сами ничего, ничего не чувствуете?

— Нет.

— А может быть, вам все-таки к доктору пойти, Петр Петрович? Так, для проверки.

— Я был у доктора,— терпеливо повторил Петр Петрович то, что уже один раз говорил Черкасу.— Он мне пешком велел ходить побольше и лекарство пить. Я со службы и на службу всегда пешком хожу и гуляю еще, и лекарство тоже пью. Зачем я еще к нему пойду?

— Ну, мало ли,— неопределенно, но настойчиво ответил Черкас.— Может быть, за последнее время в организме что-нибудь произошло.

— Чему там происходить,— скучая, возразил Петр Петрович.— Я бы почувствовал. Скучно это, Аполлон Кузьмич,— о здоровье разговор. Давайте о чем-нибудь другом.

— О чем прикажете,— быстро ответил Черкас.— Рассказать вам что-нибудь?

— Нет, зачем рассказывать. Все равно одно и то же. Лучше так поговорим.

— На отвлеченную тему,— подхватил Черкас, пытаясь быть веселым.— Можно и на отвлеченную. Что вас интересует?

Петр Петрович закрыл глаза, помолчал, будто обдумывая что-то, и, вдруг оживившись, спросил:

— Вот скажите, Аполлон Кузьмич, вы тогда в пивной очень верно мое состояние описали, когда вы говорили о человеке, который взял деньги просто так,— значит, вы многое можете понять,— вот скажите мне, отчего бывает человеку так скучно? Вы не шутите, мне все равно не смешно, я вас серьезно спрашиваю.

Скуку вы очень хорошо описали, а вот откуда она берется?

Черкас пожал плечами и сощурился.

— Как вам сказать,— медленно ответил он.— Это или очень просто, или очень сложно. Скучно, потому что скучно. Пожалуй, для скуки объяснения нет.

— Да,— вздохнул Петр Петрович и опять полузакрыл глаза,— не утешили.

— Конечно,— продолжал Черкас,— живем скучно. Но скука приходит и от веселой жизни. Может быть, дела настоящего нет.

— Как будто про меня этого сказать нельзя,— усмехнулся Петр Петрович.— Я всю жизнь работаю.

— Не скажите, Петр Петрович,— осторожно ответил Черкас,— тут не в работе дело, а в том — какая работа.

— Всю жизнь я одним делом занимался,— сказал Петр Петрович,— я и знаю его и люблю.

— И все-таки вы могли ошибиться. Человек выбирает свое дело случайно, иногда ему кажется, что оно даже вполне ему подходит. И все же мало кто не ошибается. Потом уж поздно, даже подумать бывает поздно, а в конце концов выходит, что всю жизнь занимался не тем, чем бы мог.

— Вот как вы рассуждаете,— протянул Петр Петрович.— А еще нет ли какой причины?

— Уж не знаю,— чуть-чуть раздражаясь, ответил Черкас.— Просто, может быть, звоночек услыхали?

— Какой звоночек? — открыл глаза Петр Петрович.

Черкас смешался, чего с ним никогда не случалось. Он встал и сказал фальшивым голосом:

— Мне надо бежать, Петр Петрович. Я и так опоздал.

— Какой звоночек? — строго переспросил Петр Петрович.

— Я вам потом как-нибудь расскажу,— нетерпеливо ответил Черкас.— Мне теперь некогда.

— Ну, одна минута — ничего,— настойчиво сказал Петр Петрович, задерживая его руку в своей.— Какой звоночек?

Черкас хотел даже вырвать свою руку, но Петр Петрович держал ее крепко и пытливо смотрел ему в глаза. Черкас отвел глаза и пробормотал:

— Да нет, что вы... Так говорится только... ну, знаете, у кого-нибудь сердце заколет, он схватился за

него, а ему и говорят: «Первый звоночек». В шутку, конечно.

— А-а...— протянул Петр Петрович и отпустил руку Черкаса.

— Но это я так, я пошутил,— сказал Черкас быстро.— Это, знаете, в старое время говорили тоже: «Время о душе подумать».

С Черкасом случилось что-то очень странное. Он во второй раз сегодня смешался, чувствуя, что после одной неловкости он сделал другую. Петр Петрович внимательно посмотрел на него и тихо сказал:

— Что же вы не уходите, Аполлон Кузьмич, вы ведь торопились.

— Я бы не хотел, чтобы вы меня плохо поняли,— запинаясь, ответил Черкас.

— А зачем я буду вас плохо понимать,— возразил Петр Петрович.— Как вы сказали, так я и пойму. До свиданья, Аполлон Кузьмич.

Черкас пожал плечами, помялся, но не нашел слов и удалился.

Петр Петрович посидел еще на скамейке один, закрыв глаза. Он не думал о словах Черкаса. Они прошли мимо него. Он сказал: «А-а!» — не потому, что испугался или согласился с Черкасом, а потому лишь, что своим звоночком актер переносил объяснения причин скуки в иную совсем область. Эта область Петра Петровича сейчас не волновала и даже не интересовала. Когда начали затекать ноги, он встал и пошел домой.

Дома ничего не изменилось, конечно, разве только в опасливых и до того взорах домашних замелькало теперь какое-то недоверие, испуг, вопрос. Петр Петрович не знал, что Елизавета утром была у Лисаневича и что родным теперь все известно, и слегка удивился новому выражению их глаз. Он все прекрасно видел, напрасно они надеялись скрыть что-нибудь от него. Но это его не трогало.

Он выпил чаю, походил по комнатам. Ему предложили снова прогуляться. Это показалось ему бессмысленным: все ходить по улице без цели да сидеть в саду. Он стал придумывать себе занятие. Собственно говоря, день его был не заполнен оттого, что он не был на службе. От этой мысли он перешел к мыслям о сослуживцах. Он вспомнил Райкина и Геранина, их отношение к нему, проводы в коридоре, которые они ему устроили, пожелания и взгляды. Другие отошли как-то в сторону.

Вместе с тем его заинтересовало вдруг, как прошел в распределителе день без него — первый день за несколько лет. Он решил пойти к мальчикам, как он всегда называл Райкина и Геранина, посмотреть на них, обрадовать их своим приходом и заодно узнать все о распределителе. Час был уже подходящий.

Мальчики жили вместе на окраине города в небольшом домишке. Петр Петрович с трудом разыскал их — адрес их был у него записан, как и все адреса сотрудников распределителя. Подходя к их дому, он еще издали услышал игру на мандолине. Очевидно, окно было раскрыто и грустный всегда Райкин упражнялся после службы.

Когда Петр Петрович вошел в их комнату, они оба вскочили и выпучили на него глаза. Они были так удивлены, что даже не поздоровались.

— Чего вы? — ласково спросил Петр Петрович.— Делать мне нечего, я и пришел к вам, принимайте гостя.

Но мальчики не двинулись с места и как будто чего-то не понимали.

— Ну,— нетерпеливо сказал Петр Петрович,— сесть-то хоть дайте. Живете ведь у черта на рогах.

Райкин пододвинул ему стул и растерянно взглянул на товарища. Тот погрозил ему незаметно кулаком, а сам постарался выдавить улыбку, что было ему нетрудно, так как он улыбался всегда, и сказал:

— Это мы от радости, Петр Петрович. Соскучились очень, а когда повидали бы, не знали. И не ждали мы, что сами придете к нам.

— Один день не видали, а уже соскучились? — усмехнулся Петр Петрович.

Мальчики снова смущенно переглянулись и промолчали.

— Ну, что на службе было? — усевшись, спросил Петр Петрович.

— Да, что ж,— тихо ответил Геранин.— Ничего не было особенного. Как всегда.

— Попало вам от Анатолия Палыча?

— За что? — удивился Геранин.

— Ну, как обычно. За суету вашу.

— Да нет, что же,— не понимая шутки и отчего-то поеживаясь, ответил Геранин.— Как всегда.

— Что вы скучные какие?

Мальчики промолчали. Петр Петрович вздохнул и уже равнодушно спросил:

— Ну, а остальные как?

Мальчики словно боялись чего-то, боялись, может быть, невпопад ответить, не понять вопроса или сказать не то, что нужно. На этот раз ответил Райкин:

— И все то же... ничего...

— Что вы на меня так смотрите, будто я вас съесть пришел? — недовольно спросил Петр Петрович.

Мальчики, так и не присевшие, испуганно посмотрели на него и опустили глаза. Потом Райкин робко выговорил, покраснев и запинаясь:

— Мы думали... вы уедете, Петр Петрович.

— Уеду? Зачем уеду?

— Отдохнуть,— упавшим голосом ответил Райкин, словно проговорился о том, что надо было скрывать.

— Я дома лучше отдохну,— сказал Петр Петрович.— Я думаю, весь этот отдых мне вообще ни к чему. Я бы лучше по-прежнему ходил на службу.

— Ах, нет,— горячо сказал вдруг Геранин,— вам обязательно отдохнуть надо! Столько трудились, работали...

Петр Петрович не слушал его. Он что-то вспомнил и неожиданно сказал:

— Да, вы ведь тоже за меня заплатили. Небось денег-то нет у вас. Вот я дома взял. Сколько выложили, говорите.

Мальчики так сконфузились, что Райкин даже закрыл лицо рукой. Геранин попытался сказать:

— Нет, мы не... это... мы не...

— Ну, что врешь,— спокойно остановил его Петр Петрович.— Я ведь видел. Только не знаю, сколько вы дали.

— Пять рублей,— чуть ли не со слезами на глазах выговорил Геранин.

— Вместе?

Геранин кивнул. Он не мог уже больше открыть рот.

— Ну, вот вам,— сказал Петр Петрович и положил пять рублей на стол.— Спасибо, мальчики. Я ведь знал, что у вас денег нет. И зачем вы выложили, я не понимаю. Черкас — мой знакомый, чего вам за него отвечать?

— Мы не за него,— прошептал Геранин,— мы за вас.

— За меня? — удивился Петр Петрович.— Так ведь я ему дал, а не себе взял. Ну, ладно, это уже про-

шло. Остальным придется подождать, нету сейчас у меня. Не разорятся, наверно.

— Возьмите, Петр Петрович,— сказал Райкин, не глядя ни на кого и указывая на лежавшие на столе деньги.— Вам нужно. Мы обойдемся. Возьмите!

— Чудаки,— усмехнулся Петр Петрович,— если б не было у меня, я б вам не принес. У Черкаса, наверно, денег больше, чем у вас. Ну, расскажите мне что-нибудь.

— Да нечего рассказать-то,— робко ответил Райкин.

— Тогда на мандолине сыграй,— попросил Петр Петрович.— Я слышал, как ты тут наигрывал. Ну-ка!

Райкин взял мандолину, сел и стал играть. Геранин отошел в сторону, не то не желая мешать, не то боясь, что Петр Петрович с ним заговорит. Райкин играл что-то очень печальное, Петр Петрович полуслушал, полузабылся. Ему стало очень грустно, беспричинно грустно. Он глядел в окно, небо было сегодня прозрачное, очень тихое, низко кружили ласточки. Вдали виднелась узкая каемочка леса и в стороне — голубой купол с золотым крестом. Петр Петрович вспомнил, что тут где-то должно быть кладбище, и подумал, что оттого, верно, все так тихо кругом и печально. Он тяжело вздохнул и вздрогнул, потому что слеза упала на его щеку.

— Райкин, Райкин! — зашептал Геранин, вытягивая губы и показывая головою на гостя.— Что ты играешь, дура!

— А? — словно очнулся Петр Петрович.— Нет, ничего, пусть играет.

— Да нет же, разве можно,— решительно заявил вдруг Геранин.— Веселое надо играть, а это что. Ну-ка, Райкин!

Он схватил свою гармонь, и оба заиграли плясовую. Петр Петрович усмехнулся. Этот же мотив они играли у него на именинах, и под него танцевал Черкас. Веселее от этого Петру Петровичу не стало. Он встал, они оборвали игру и посмотрели на него.

— Ну, прощайте,— сказал он им.— Спасибо. Приходите как-нибудь.

И ушел. Они проводили его и долго глядели ему вслед, но почувствовали все же большое облегчение. Они не знали, как надо обращаться с больным, а сослуживцы успели уже внушить им, что Петр Петрович

серьезно болен. Оттого-то они так испуганно встретили его и оттого запинались. И еще им было совершенно непонятно, как это вышло, что Петр Петрович взял деньги. Но как бы это ни вышло, они любили его по-прежнему, может быть, даже больше, потому что жалели, но они не могли встречаться с ним глазами. Прежде он был для них безупречен. Теперь они боялись, что в их глазах он прочтет и вопрос, и укор.

Петр Петрович вернулся домой и рано лег спать. Вначале ему не спалось, он слышал, как разговаривали в столовой, как разошлись, как Елена Матвевна, боясь зажечь свет, чтобы не разбудить мужа, раздевалась в темноте. Ему не хотелось открывать глаза, и он притворился, что спит. Потом он действительно заснул. Никакие сны ему не привиделись. Но проснулся он вдруг, в холодном поту, с сильно бьющимся сердцем. Сперва он ничего не мог понять, потом услышал в ушах настойчивый звон. Он прочистил ухо, но звон не унимался, а заполнил всю комнату. Он вдруг вспомнил: «первый звоночек». Ему стало очень страшно. Темнота его пугала, дыхание обрывалось. Он натянул одеяло до горла и прошептал:

— Елена! Елена!

Елена Матвевна тотчас проснулась. Петр Петрович услыхал, как она быстро села в кровати и испуганно спросила:

— Петр Петрович! Что ты?

Петр Петрович помолчал. Он не мог говорить. Слезы подступили к горлу, он пытался проглотить их, но это не помогло, они уже наполнили глаза и заструились по щекам. Он всхлипнул и жалобно выговорил, не жалуясь, а устанавливая правду:

— Плохо, Елена...

9. ЕВИН РАЗОБЛАЧАЕТ

Конечно, и Петр Петрович не отрицал, что несколько дней, проведенных в полном спокойствии и безделье дома, оказали благотворное влияние на его здоровье. Ночные припадки не возобновлялись, перебои и головокружения почти исчезли. Как ни скучно было ему сидеть без дела и терпеливо выносить ухаживания домашних, он даже находил порою мужество улыбаться и пытался придать своей улыбке настоящую бодрость и веселость. После того как ночью Елена Матвевна своею близостью и безмолвным пониманием успокоила и даже защитила Петра Петровича от ночных страхов, он снова и, может быть, с еще большею силой почувствовал свою неразрывную связь с женой. Это чувство само собою переносилось и на других членов семьи. Петр Петрович не замечал больше переглядываний за его спиною, а если и замечал, то улыбался про себя, зная и не забывая уже, что эти переглядывания рождены любовью. Как ни далеки оставались от него разговоры домашних, он заставлял себя терпеливо выслушивать их. А так как эти разговоры были всегда знакомы, то он легко мог вставить свое слово, даже не думая о том, что он говорит, почти механически. И он замечал, что родные начали веселее переглядываться, что взгляды их стали спокойнее, а улыбка не всегда уже была притворной.

Дни проходили теперь для Петра Петровича с почти ужасающею медленностью. В конце дня ему казалось, что даже от сегодняшнего утра его отделяют не две-

надцать — четырнадцать, а сотни часов, пустых и спокойных. Этим и объяснялось то, что события его жизни, разделенные всего несколькими днями, казались ему отстоящими друг от друга на года и потому не последовательными, а случайными, не естественным ходом жизни, а поворотными пунктами, чуть ли не эпохами.

Но все-таки спокойствие было только кажущимся, а любовь и какое-то словно физическое, а не духовное понимание заполняли собою только очень маленький кусочек чувств и еще меньший — мыслей. Если тревога и отступила, подавленная покоем и прогнанная заботливостью близких, то она не только не исчезла, но и постоянно напоминала о себе. Каждое утро Петр Петрович просыпался с мыслью о том, что не надо идти в распределитель, и испытывал в первую минуту глубокое недоумение, почему не надо. Вспомнив это, он вспоминал и все, что случилось недавно. Приходилось делать очень большие усилия, чтобы прогнать тяжелые мысли. Но и в течение дня каждая встреча и каждое слово напоминали о том же. А поздно вечером раздавался звонок — это Черкас приходил домой и своим звонком, конечно, напоминал другой, «первый звоночек».

Петр Петрович мужественно сопротивлялся мрачным мыслям, тревоге и равнодушию. Он старался занять себя чем-нибудь, отвлекать свои мысли в сторону, интересоваться всеми мелочами жизни. Он поверил уже словам и любовной настойчивости близких, он тоже решил, что ему надо отдохнуть, и он приказал себе самому думать, что это безделье временно, что, отдохнув, он возобновит работу в распределителе и что, конечно, в этой-то работе и заключен смысл его жизни. Он заставлял себя глотать все блюда, которыми откармливала его Елена Матвевна, он аккуратно выходил на прогулку в положенные часы и неизменно ложился спать после каждой еды, добросовестно стараясь уснуть. Но что же было делать, если тоска все-таки только спряталась и притихла и, как неизлечимая болезнь, напоминала о себе постоянно и ужасала возможностью ежеминутного нового приступа.

В эти дни Петр Петрович мало думал о распределителе. Будущая служба казалась ему очень далекой, о прошлом вспоминать он избегал. А тем, что происходило в распределителе без него, он стал как-то мало интересоваться. Он изредка встречал сослуживцев на улице, они старались говорить с ним на общие темы, а

сам он не расспрашивал их. Все они вообще стали ему слегка чужими, он перестал чувствовать свою связь с ними, и оттого побледнела привязанность.

В городском саду он облюбовал одну скамейку и три раза в день приходил к ней и усаживался надолго. По вечерам его сопровождали Константин или Елизавета, но днем он обычно гулял один. Скамейка не всегда бывала свободна, и часто к Петру Петровичу подсаживались незнакомые. Но даже когда на ней было мало места, Петр Петрович не изменял ей. Он не мог объяснить — почему, да он и не задумывался над этим, но необходимым условием прогулки ему казалось сидение именно на этой скамейке.

Он полюбил следить за играми детей. Этих ни о чем не нужно было спрашивать. Они просто с ногами забирались на скамейку, скакали по ней, прятались за спиною Петра Петровича. Они часто обращались к нему как к старому знакомому, даже не здороваясь, а словно возобновляя прерванный разговор. Они полагали, что все должно быть ему известно. Один карапуз убедительно потребовал, чтобы Петр Петрович запретил дождичку накрапывать, другой увидал, как он чертит палкою по песку, и заинтересованно предложил: «Напиши мне домик». И Петр Петрович попытался нарисовать подобие домика и сам волновался при этом не меньше ребенка.

Однажды оборванный и грязный мальчик попросил у Петра Петровича милостыни. Петр Петрович дал ему монетку и погладил его по голове. С тех пор мальчик подходил к нему каждый день и уже не просил, а молча снимал рваную шапчонку. Петр Петрович каждый раз давал ему монету, и мальчик, не благодаря, прятал ее и молча же ждал еще чего-то несколько минут, а потом уходил. Петр Петрович как-то заговорил с ним. Мальчик рассказал обычную историю. Петр Петрович повздыхал, покачал головою и дал еще монету.

— Вторая? — вопросительно сказал мальчик, держа монету в руке.

— Ну, что ж,— ответил Петр Петрович,— жалко мне тебя.

Мальчик сунул монету в предполагаемый карман своих опорок и грубовато, сумрачно, но просто сказал:

— А мне тебя жалко.

Больше Петр Петрович не заговаривал с ним, да и он, получив очередную монету, тотчас уходил.

Сослуживцы не посещали Петра Петровича. Он не удивлялся этому, ведь и он потерял к ним интерес, хотя и не знал, что они часто, в особенности Петракевич и Ендричковский, забегают к Елизавете на службу, справляются о нем и передают известия другим, в первую очередь — Райкину и Геранину. Он не знал, что они решили не заходить к нему, чтобы не беспокоить. Но в день раздачи жалованья, после службы, к нему пришли Евин и Петракевич. Петракевич поздоровался мрачно и, по обыкновению, сел в угол. Евин, наоборот, был очень развязен, глаза его бегали, и он избегал смотреть на Петра Петровича. Может быть, он думал, что Петр Петрович не простил ему того случая, когда все выложили из своих карманов деньги взамен недостающих пяти червонцев, а он один отказался. Но Петр Петрович уже забыл об этом.

— Вот,— сказал Евин и достал папку,— я вам, Петр Петрович, жалованье ваше принес, за вычетом тридцати шести рублей. То есть Райкин и Геранин заявили, что получили от вас пять рублей, так что вычитается тридцать один. Вот распишитесь, пожалуйста, и деньги пересчитайте.

— Ну, Евин, вы-то уж не ошибетесь,— равнодушно сказал Петр Петрович.

— А не знаю,— подхватил Евин,— не знаю. Всякие неожиданности бывают. Почему ж я не могу ошибиться? Все ошибиться могут.

Петракевич громко кашлянул в углу. Евин смутился и пролепетал:

— Я так только, для порядку.

Петр Петрович передал деньги жене. Елена Матвевна унесла их в спальню. Потом она подала чай. Разговор не клеился. Петракевич молчал, как всегда. Евин, будто обиженный чем-то, сидел на кончике стула и барабанил пальцами по своей папке, не решаясь с нею расстаться. Петр Петрович с недоумением поглядывал на бухгалтера. Он не мог понять, отчего Евин держался так странно. Ему самому Евин был совершенно безразличен. Он задал несколько вопросов — Евин ответил, поджимая губы, коротко и сдержанно. Петру Петровичу снова стало скучно, томительно, тягостно скучно, он растерянно оглянулся и тоже замолчал. Чашки, которые Елена Матвевна раздавала всем, слегка звенели в тишине, потому что руки ее дрожали, и она опасливо поглядывала на всех, тотчас отводя глаза.

— А что, Петр Петрович,— преувеличенно громко спросил вдруг Евин и даже вскинул глаза на собеседника,— отдал вам уже Черкас те пять червонцев?

— Нет еще,— спокойно ответил Петр Петрович, слегка удивившись любопытству бухгалтера.

Евин усмехнулся и удовлетворенно кивнул головою. Он, должно быть, ожидал этого ответа.

— Вы ведь ему, кажется, пять червонцев дали? — небрежно спросил он.

Петр Петрович кивнул, не понимая, что ему нужно.

— Пять ровно? — переспросил Евин.

— Ну да, ровно,— слегка раздражаясь его настойчивостью, но не показывая этого, ответил Петр Петрович.

— Так, так, пять червонцев, значит,— не смущаясь, продолжал тот.— Зачем ему пять червонцев, не понимаю.

Он снова пытливо посмотрел на Петра Петровича.

— Как зачем? — удивился тот.— А зачем вообще людям деньги нужны?

— Ну да,— неопределенно сказал Евин,— какие же это деньги для Черкаса! Пять червонцев! Что ему пять червонцев!

— Я думаю, то же, что и нам с вами,— все больше удивляясь, ответил Петр Петрович.— Пять червонцев — большие деньги.

— Не для Черкаса,— значительно сказал Евин.— Черкасу пять червонцев — все равно что мне полтинник.

— Да что вы, Евин,— махнул рукою Петр Петрович.— Я знаю, сколько он в театре получает. Меньше чем вы.

— Я, конечно, немного получаю,— снова поджал губы Евин.— Очень немного. Но я на это и живу. Для меня пять червонцев — громадные деньги. А для Черкаса — нет.

— Да почему же нет? — высоко подняв брови, спросил Петр Петрович.

— Конечно, если б он на театральное жалованье жил, тогда так,— будто не расслышав вопроса, сказал Евин.— Это я понимаю, за танцы платят, наверно, мало. Еще хорошо, что платят. Я б его доплачивать заставил.

— А на что же еще он может жить? — спросил Петр Петрович, не обращая внимания на выпады Евина.

— Не знаю. Не знаю. Это, может быть, вам лучше знать, вы с ним в одной квартире живете.

Петр Петрович в первый раз внимательно посмотрел на бухгалтера и сдвинул брови. Он помолчал и потом сказал спокойно и веско:

— Хоть я и живу с ним в одной квартире, но побочных доходов его не знаю. Я этим и не интересовался никогда.

— Наверно, не интересовались,— ядовито вставил Евин.— А то бы не дали ему пяти червонцев.

Петракевич завозился на своем месте, но промолчал. Елена Матвевна беспомощно глядела на всех, но вмешаться в разговор не решалась. Петр Петрович, соображая что-то, пожал плечами, словно не мог уловить, чего хотел Евин, чтó в словах его было намеком и на что он, собственно, намекал. Он сказал довольно твердо:

— Я не понимаю вас. Если вы что-нибудь знаете, так скажите прямо.

— Знать — не знаю, а слыхать — слыхал,— загадочно ответил Евин.

— Что же вы слыхали? — нетерпеливо спросил Петр Петрович.— И от кого слыхали?

— Мало ли от кого! Этого я рассказывать не обязан. Мне, положим, на лицо его достаточно посмотреть, чтобы увидать, какой он жулик.

— Знаете, Евин,— медленно сказал Петр Петрович,— зря вы такими словами бросаетесь. Вы раньше осторожнее были.

— Все раньше осторожнее были,— огрызнулся Евин.— Вы бы, может, раньше тоже не дали ему пяти червонцев.

Петр Петрович встал. Он забыл обо всех и не спускал глаз с бухгалтера. Голос его слегка дрогнул, но был еще тверд.

— Что вы про Черкаса знаете? — спросил он очень медленно и раздельно.

— Мало ли,— усмехнулся Евин, словно не замечая волнения собеседника.— Да вы ведь защищать его будете, он тут у вас свой.

— Я вас спрашиваю,— повторил Петр Петрович, чуть повышая голос,— что вы знаете о Черкасе?

Евин помолчал, нарочно выдерживая паузу. Петр Петрович слегка задыхался. Этого никто не замечал,

только сам он со страхом прислушивался к своему сердцу и старался глядеть твердо и прямо перед собой, чтобы предотвратить головокружение. Ощущения, ослабевшие за последние дни, снова возвращались. Несмотря на все усилия, в мозгу была какая-то путаница, неразбериха, туман, не дававший понять, что, собственно, происходит в комнате и что происходит с ним самим. Евин, глядя в сторону, сказал небрежным тоном — впрочем, явно подчеркивая эту небрежность:

— Черкас — спекулянт. Он всякие дела устраивает. Около трестов ходит, вынюхивает, знакомства у него подозрительные. Людей сводит.

Дело было, конечно, не в Черкасе. И Петр Петрович волновался не из-за актера. На миг ему стало легче дышать и прояснилось перед глазами и в голове. Он спокойно ответил:

— Не знаю. Он мне об этом ничего не говорил.

Евин усмехнулся.

— Не говорил? — переспросил он.— Не говорил? Удивительно!

— Ничего нет удивительного,— спокойно возразил Петр Петрович.— Если это даже так, что же вы думаете, он будет каждому об этом рассказывать?

— Каждому не будет,— снова усмехнулся Евин,— а вам, я думаю, отчего же и не рассказать?

— Почему же он мне именно должен был рассказать? — пристально взглянув на бухгалтера, спросил Петр Петрович.

Евин сощурился и повел плечами.

— Ну, так! Живете рядом, в дружбе состоите. Вы вот ему деньги даже взаймы даете.

Сердце снова дало перебой, томительный и тошнотный. И тотчас сгустилась пелена перед глазами и молоточки застучали в голове. Петр Петрович поднес руку ко лбу, лоб был мокрый. Он сказал:

— Он мне ничего не рассказывал. Что вы еще знаете?

Евин вытянул вперед губы, как бы говоря: «Мало ли что знаю, да что же говорить, когда не стоит»,— и сказал все-таки:

— Все равно не поверите. Не захотите поверить. Или...

Он закинул ногу на ногу и уселся плотнее на стуле, словно утверждая себя в своем мнении. Его «или» прозвучало таким оскорбительным намеком, впрочем

оставшимся неясным для всех, что даже Петракевич в углу поднял голову и посмотрел на него.

— Ну, говорите, что ли! — прикрикнул вдруг Петр Петрович и одернул пиджак. Он хотел, собственно, ослабить воротник, он снова задыхался, но он не пожелал обнаружить слабость перед Евиным. Бухгалтер снял ногу с ноги, поджал обе вместе и спрятал под стул и, выпрямившись, сказал:

— А еще вот что. Он вот познакомится с человеком, который занимает какой-нибудь высокий пост, со спецом, конечно, из бывших, и давай его обхаживать. В кабаки водит, в пивные, жене подарки, меха достает по дешевке и все такое. Деньги в долг дает. Опутает человека, а тогда нож к горлу: «А теперь ты мне то-то и то-то устрой, хотя и не имеешь права». Поняли?

Петр Петрович молчал. Рука его перебирала пуговицы пиджака, порываясь к воротничку, но он, должно быть, забыл, что можно ей приказать ослабить ворот. Евин же, казалось, не замечал его состояния и продолжал, как будто его вдохновенную фантазию уже немыслимо было остановить и как будто он сам ей верил:

— Или еще лучше. Притворится нищим, денег выманит, по кабакам поведет и платить заставит, одним словом, доведет человека до растраты. А тогда предложит: «Я тебе денег дам растрату покрыть, а ты мне...» Понимаете, Петр Петрович? — повернулся он вдруг прямо лицом к хозяину и подчеркнул свой вопрос.

Петр Петрович очень хорошо понимал то, что хотел сказать Евин. Все, что тот говорил, могло относиться, да и относилось, очевидно, непосредственно к нему. Все было похоже: Черкас повел его в пивную, Черкас заставил его заплатить, кто поверит, что они больше нигде не были и что Петр Петрович не растратил всех ста червонцев?

И ведь могли подумать, что Черкас, когда Петр Петрович спохватился, нарочно дал ему только девяносто пять червонцев, чтобы недостающими пятью покрепче удержать его в своих руках. И кто поверит, что Черкас не потребовал, чтобы Петр Петрович облегчил ему за это какую-нибудь незаконную сделку, пользуясь положением и доверием.

Это была ложь, но ложь правдоподобная, ей поверил выдумавший все это Евин, и, может быть, она внушила кое-какие сомнения даже Петракевичу, потому что, сидя в углу, он молчал и отводил глаза. Дело, ко-

нечно, не в Черкасе. Тот может оправдаться сам. Дело в Петре Петровиче. Но, значит, его считали способным украсть. Надо было доказать, что он не крал. Он взял деньги, но он не украл. Разве так крадут? Следовало, может быть, рассмеяться и тем убедительнее всего опровергнуть эту ложь. Но губы не желали раздвинуться даже в усмешку. Евин, конечно, мелкий человек, ничтожный человек. Он мстил за обиду, невольно причиненную ему Петром Петровичем, и мстил скверно, гадко. Петр Петрович ведь еще не понимал даже, чем он обидел бухгалтера. Петракевич не слишком умен, но Петр Петрович всегда уважал его. Если он усомнился, значит, все могут усомниться, все могут поверить... Что же было Петру Петровичу делать?

В это время его вдруг смутила какая-то неожиданная мысль. Он был поражен ею и на минуту задумался. Она перебила все то, что происходило в комнате и в нем самом. Мысль эта была, в сущности, глубоким недоумением, и он выразил ее вопросом, который произнес спокойно и вдумчиво, как бы желая самому понять и разобраться, в чем же дело:

— Зачем вы врете, Евин?

Это не было заступничеством за Черкаса, нет, Петр Петрович меньше всего хотел заступаться сейчас за другого, когда обижен был он сам. Он действительно не понимал, зачем Евин лжет. И ему казалось, что, спрашивая об этом, он вызывает на бой не Евина, а самое ложь, то есть поражает враждебную силу прямо в сердце.

Евин вскочил, покраснел и замигал глазами. Встал и Петракевич. Елена Матвевна жалобно охнула. Петр Петрович добрался, наконец, рукою до воротника, дернул его, но шеи не освободил.

— Зачем вы врете? — тверже и уверенней спросил он еще раз.— Как вам не совестно?

— Это... это странно...— пробормотал Евин.— Врете... то есть как врете?

Петр Петрович сделал шаг вперед и, все не спуская глаз с бухгалтера, закричал уже в полный голос с непоколебимою уверенностью:

— Я вас спрашиваю, зачем вы врете? Зачем вы выдумываете?

Теперь вскочила и Елена Матвевна и подбежала к мужу. Но он отстранил ее и, словно даже оттолкну-

вшись от нее, сделал еще один тяжелый шаг к Евину. Бухгалтер отскочил и визгливо закричал:

— А вы зачем деньги из ящика стащили? А вы нам сказок не рассказывали? «Просто так взяли!» Кто это берет просто так? Черкасу одолжил! Как же! Так и поверили! Только человека под выговор подвели!

— Какого человека? — упавшим голосом, почти шепотом, но снова как будто не понимая чего-то и будто бы спокойно спросил Петр Петрович.

— А меня хотя бы! Что я тогда пережил из-за этих ста червонцев! А потом еще выговор! Зачем ящик не запираю? Вы же и ругали бы меня, если б ящик был заперт! А разве я знал, что у нас жулики ходят! — все больше ожесточаясь, вопил Евин.

— Вы мне не поверили? — так же тихо и все как бы спокойно спросил Петр Петрович.

— А кто вам поверил? Вы думаете, есть такой дурак, который вам поверил? Вас пожалели, вот что! Что вы притворяетесь, будто не поняли этого?

— Вот как,— растягивая звуки, сказал Петр Петрович и покачал головою. Руки его зашарили в воздухе, и, отыскав ими стул, он тяжело оперся на него.— Значит, ни один дурак не поверил? — раздельно повторил он с какой-то насмешкой.

Евин хотел еще что-то сказать, но взглянул на Петра Петровича и умолк. У стола вырос Петракевич. Он, видимо, не знал, что ему делать, как и Елена Матвевна, с ужасом глядевшая на мужа и не осмелившаяся вмешаться. Петр Петрович обвел глазами комнату.

— И вы мне не поверили, Петракевич? — спросил он все тем же шепотом, как будто у него не хватало дыхания для более сильных звуков.

Не дожидаясь ответа от Петракевича, он повернулся к жене и сказал ей:

— Никто не поверил.

Он помолчал и потом, уже ни на кого не глядя, сказал как бы самому себе, полуутвердительно, полувопросительно:

— Значит, я украл.

Все молчали. Одна Елена Матвевна всхлипнула. Петр Петрович о чем-то напряженно думал. Мысль, которую он было поймал, снова ускользала. Головокружение усиливалось, дыхания совсем не было, в глазах расплывались круги, в голове стучали и звенели молоточки. Он говорил теперь только с самим собой, по-

чему-то думая вслух. Он теперь лишь понял, что его считают не только способным на кражу, но и просто вором. Это еще никак не умещалось в его мозгу.

— Но ведь я же не украл,— сказал он так сердечно и искренне, так жалобно и убедительно, что Елена Матвевна громко заплакала.

Он отмахнулся от нее рукою и, схватившись за голову, сжимая пальцами лоб, сообразив, что поступок его, правда, похож был на кражу, сказал вдруг уже не шепотом, а голосом, с невыразимою тоской:

— А может быть, действительно украл?

Это была исповедь сомнений, исповедь перед самим собою. Он помолчал опять, тяжело дыша, качнувшись, сделал еще шаг и обратился к Евину:

— Евин, я ведь отдал девяносто пять червонцев! Сам отдал! Евин, спросите Черкаса — он взял у меня пять червонцев! Евин, я за всю жизнь чужой копейки не брал!

Евин молчал, опустив глаза. Петракевич подошел к нему совсем близко и сжал кулаки.

— Вы мне не верите, Евин? — спросил Петр Петрович и подошел к бухгалтеру совсем близко.— Вы сами врете и думаете, что все врут?

Евину было уже не по себе. Но последние слова Петра Петровича его снова обидели.

— А зачем вы взяли деньги? — крикнул он, отскакивая от Петракевича. Но Петракевич последовал за ним и снова встал рядом.

Казалось, этот вопрос озадачил Петра Петровича. Он беспомощно оглянулся, втянул голову в плечи, сгорбился, и голос его снова упал до шепота. На этот вопрос у него не было ответа — вернее, то, что он мог сказать, не было ответом для других. Он прошептал:

— Зачем? Я не знаю.

Он зашатался и опустился на стул. Комната завертелась перед ним, Евин и Петракевич взмыли куда-то, как взмывают ласточки на вечернем небе. Что делалось с сердцем, было уже безразлично, потому что он задыхался. Собрав все силы, он прошептал:

— Уйдите, Евин! Пожалуйста!

Он не хотел, чтобы Евин видел его слабость. Тот выпрямился и, казалось, хотел сделать шаг к Петру Петровичу, но Петракевич перехватил его на дороге и почти вынес из комнаты.

Елена Матвевна уже стояла на коленях перед мужем. Она хватала его за руки, тормошила, пыталась дотянуться до его лица и наклонить его к себе. Тело Петра Петровича безвольно моталось в ее руках. Он открыл глаза и взглянул на нее. Ей показалось, что он уже не знает ее, так дик был этот взгляд. Но он сказал ей неожиданно ясно:

— Елена... я не знал ведь, что все... Елена... зачем я взял деньги?.. Как это вышло, Елена?..

И вдруг с удивительною силой он вырвался из ее рук, вскочил, подбежал зачем-то к двери, потом к окну, потом снова повернулся лицом к ней и закричал:

— Нет же! Нет же! Я не крал! Это не кража!..

Потом он схватился обеими руками за сердце и рухнул на пол. Когда Елена Матвевна и Петракевич подбежали к нему, он лежал в обмороке, и только ноги его дергались, будто он все хотел куда-то бежать.

О, дайте вечность мне,
и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

И. Анненский

10. ПЕТР ПЕТРОВИЧ ПЫТАЕТСЯ ПРЕРВАТЬ СВОЙ ОТПУСК

Это была очень тревожная ночь. Петр Петрович не спал, и не спали близкие. Несколько раз дети хотели бежать за врачом, но Петр Петрович останавливал их и неожиданно капризным тоном объявлял, что не пустит врача в комнату. Он просил только, чтобы его оставили в покое. Именно покой и хотели создать ему близкие после обморока, но своими заботами они причиняли ему одно беспокойство. Они входили на цыпочках в спальню, перешептывались за его изголовьем, а он слышал каждый стук и шорох, морщился и окликал их. И тогда они подбегали к постели с деланно веселыми лицами, спрашивали о самочувствии, подносили питье и лекарство. Он закрывал глаза и неизменно просил, чтобы его оставили одного. Они уходили, но через десять минут все начиналось сначала.

Конечно, домашним, даже Елене Матвевне, трудно было понять Петра Петровича. Они думали, что все дело в обмороке, в болезни, тогда как его тревожило совсем другое. Им казалось, что обморок был следствием его недомогания. Он же сам был уверен, что все недомогание вызывалось столкновением между той правдою, которою он жил, и человеческою ложью. Он действительно не знал, как это случилось, что он взял из евинского ящика деньги. Внутреннее, а не физическое состояние его было тогда таково, что он просто забыл, просто отстранился от всех житейских законов. Он жил тогда и жил до сегодняшнего дня ка-

ким-то иным ощущением, чем все привычные ему до сих пор. И он просто упустил из виду, не посчитался с тем, что другие люди живут прежним и, живя прежним, могут оценить его поступки по-иному, чем он сам. Может быть, даже не оспаривая его чувств и их глубины, они все же будут судить его за все, чем он вторгался в их жизнь, по своим обычным законам. Так и случилось. И мало того, по привычке люди прибавили к своему суду обязательную порцию выдумки, лжи и клеветы. Оказалось, что иной строй ощущений не избавляет вовсе от обычного засорения жизни этою трухой и что нельзя было забывать об этом, а следовало принять какие-то меры. Ведь вот и Петр Петрович, оказывается, вовсе не освободился от тех чувств, которые воспринимают ложь и выдумку как оскорбление. Он не дошел до равнодушия и не хотел доходить до него. Нескольких слов Евина было достаточно, чтобы вернуть ему прежнее сознание, и тогда своя ошибка и чужое непонимание стали болезненнее, чем все остальное.

Из слов Евина Петр Петрович понял очень многое, и это мучило его всю ночь. Он понял, во-первых, что все, не только сослуживцы, но и домашние, но и весь город,— потому что разве заставишь молчать Евина? — все знали про взятые им червонцы. Он сам вовсе не придавал раньше такого значения этому событию, но, конечно, ему не могло быть приятно, что каждый встречный знает об этом. Но не это было главное. Оказалось, что этот, никого не касавшийся случай из жизни Петра Петровича, тотчас им самим оправданный возвращением девяноста пяти червонцев (ведь пять червонцев, одолженные Черкасу, действительно же совершенная мелочь),— оказалось, что этот случай почему-то воспринят всеми как непосредственно касающийся каждого, что он раздут до размеров не то болезни, не то преступления, истолкован превратно и может теперь привести, если не привел уже, к самым крупным неприятностям. А эти неприятности оказались действительными и настолько болезненными, настолько мучительными, что перед ними отступило то большое, чем Петр Петрович жил и что, казалось, навсегда устраняло опасность вторжения повседневной жизни в его мысли и чувства.

Где уж тут было спать! Всю ночь Петр Петрович повторял себе, что поступок его действительно дол-

жен был казаться странным всем людям, кроме него самого, что необычность поступка, конечно, должна была вызвать сомнение в тех словах, которыми Петр Петрович объяснил его, тем более что и слова эти, несомненно, должны были прозвучать дико в ушах слышавших их. Теперь Петр Петрович прекрасно понимал, отчего ему так навязывали какую-то болезнь. Чем же еще могли люди оправдать то, что он взял деньги? Но что, если они только придумали это объяснение, чтобы не останавливаться на другом, невероятном по отношению к прежнему Петру Петровичу, но обычном и естественном в представлении каждого? Вот Евин прямо сказал, что Петр Петрович — простой вор. Что, если каждый думает так же в глубине души и только из обидной жалости делает вид, будто верит какой-то выдуманной болезни?

Нет, тут было не до сна. Тут было и не до забот домашних. Нельзя было даже позволить себе думать о действительном недомогании. Как ни болела и ни кружилась голова, как ни подозрительно ускоряло бег и замирало сердце, как ни трудно становилось по временам дышать, нужно было подавить эти ощущения, не обращать внимания на них. Теперь в жизни Петра Петровича появилась ясная и определенная цель, и цель эта была — выкарабкаться как-нибудь из болота, в которое он сам себя увлек. Эта цель стала важнее всего, важнее самой жизни. И Петр Петрович всю ночь думал, что же ему теперь делать, чтобы этой цели добиться.

Тут он должен был действовать лично. Тут ни на кого нельзя было положиться, никому нельзя было довериться или дать поручение. Кто мог стать на его защиту — домашние, поверившие из жалости и любви в болезнь, Петракевич, подозрительно молчавший, когда Евин сыпал оскорблениями, или мальчики Райкин и Геранин, не решавшиеся смотреть в глаза? Петру Петровичу оставалось выкарабкаться только самому.

Но надо было еще найти способ, как выкарабкаться. Едва ли это не было самое трудное. Он знал теперь, что прийти и сказать правду — не приводит ни к чему. Эта правда слишком неправдоподобна, чтобы можно было ей поверить. Она просто невероятна для других. Он с ужасом подумал о том, что, случись такая история с кем-нибудь другим, с тем же Евиным хотя бы, он, Петр Петр Петрович, сам не поверил бы путаным диким

объяснениям и странному сцеплению обстоятельств. В самом деле, что значит — взял просто так? Кто это берет деньги из кассы просто так? И зачем берет? И почему именно в этот вечер Петр Петрович встретил Черкаса? С какой стати он одолжил ему в первый раз пять червонцев? Как он мог так равнодушно протянуть актеру казенные деньги? Почему вообще на него напало такое удивительное затмение? Он хорошо знал, что перед собою он ни в чем не виноват. Но как объяснить это другим? Как покончить эту комедию с отпуском? Да и не был ли он виноват уже в том, что не учел, как посмотрят другие на его поступок. Всю жизнь он руководствовался общим мнением и сам разделял его. Что же теперь произошло с ним?

Нет, нельзя было просто прийти ко всем этим людям и еще раз пытаться убедить их в своей правоте. Самая попытка вдруг оправдаться после стольких дней была бы уже подозрительна. Что же оставалось делать?

Решение выплыло в мозгу только под утро, когда уже рассвет тронул небо. Сегодня же, с утра, Петр Петрович отправится в распределитель. Он скажет, что никакой отпуск ему не нужен, он совершенно здоров. Он скажет, что все понял, что он знает, как трудно ему поверить. Но он вовсе не хочет пользоваться чужою жалостью. Вот он пришел на службу и будет служить, как раньше. Он просит только позволить ему снова служить. И он докажет, что служба его будет так же беспорочна и полезна, как она была до сих пор. И когда он это докажет, все поймут, что история с деньгами была, действительно, только случайным временным затмением, в котором его никак нельзя винить.

Он встал очень рано. Превозмогая все усиливавшиеся ощущения нездоровья и уговаривая себя самого не бояться их, он оделся. Все повскакали с постелей и выбежали в столовую. Он терпеливо объяснил им, что идет на службу. Они подняли в ответ целый содом. Они доказывали, что он в отпуску, что он нездоров, что после вчерашнего обморока идти на службу — безумие. Они ссылались на его вид. Он, действительно, выглядел очень плохо. Лицо от бессонной ночи стало желтым и даже серым, под глазами набухли огромные мешки, резче выступили морщины, и щеки втянулись. Он никого не слушал. Он заявил, что сам знает себя лучше других, что идти ему необходимо, и что он вообще ничем не болен, а вчерашний обморок был чистою случайностью.

Они умоляли его подождать неделю, три дня, один день. Они просили предварительно посоветоваться с врачом. На него ничего не подействовало. Он умел быть настойчивым, когда считал, что это необходимо, и он настоял на своем.

Он пришел к дверям распределителя первым. Дверь была, конечно, еще заперта. На этот раз не Евин, а Петр Петрович уселся в холодке дожидаться, пока Кочетков откроет ее. Он очень устал от бессонной ночи, от спора с домашними и от утренней прогулки. Пот лил с него градом. Он присел на ступеньку и с трудом отдышался. Руки его дрожали, когда он вытирал лицо.

Конечно, вслед за ним пришел Евин. Когда бухгалтер увидал Петра Петровича, изумлению его не было границ. Он остановился неподалеку и не решился сперва подойти. Петр Петрович взглянул на него искоса, но не поклонился.

Евин лихорадочно соображал, что бы это такое означало, что Петр Петрович явился на службу, и притом так рано. Он вчера очень испугался, когда Петракевич почти выбросил его за дверь. Он понял, что зарвался. Об обмороке он ничего не знал. У него была всегда одна мысль: «Не могло ли данное событие чем-нибудь повредить ему?» И он не выдержал и, не здороваясь, спросил:

— Петр Петрович! Вы пришли жаловаться на меня?

Он не знал, как отнесутся к его вчерашней выходке тов. Майкерский и сослуживцы. Он решил, что Петр Петрович нарочно явился пораньше, боясь, как бы Евин не успел сам рассказать про вчерашнее. Но Петр Петрович спокойно ответил:

— Я пришел на службу.

Евин был не так доверчив, чтобы поверить этому. Все-таки отрицание слегка смутило его, и он, недоумевая, сказал:

— Да ведь вы же в отпуску.

Петр Петрович не ответил ему. Он прекрасно понимал ход бухгалтерских мыслей, и хотя ночью он понял, что все люди могли ошибаться на его счет, все же другие вели себя приличнее.

Дверь, наконец, открылась. Петр Петрович прошел вперед. Кочетков от изумления даже не поздоровался. Петр Петрович подошел к столу и расписался вторым. Сегодня он вовсе не хотел уступать свое место другому, тем более Евину. Но бухгалтер был так смущен

и растерян, что даже не обратил на это внимания. Он и расписался далеко не так размашисто, как обычно, и, обменявшись изумленным взглядом с Кочетковым, ушел наверх.

— Ну вот, Кочетков,— сказал Петр Петрович, стараясь придать веселость своему голосу,— побыли без меня, теперь снова со мной будете служить. Ничего не случилось?

Курьер только отрицательно покачал головою. Он явно не решался вступить в обычный прежде разговор и осторожно сказал, как и Евин:

— Вы в отпуску ведь, Петр Петрович.

— Пора и честь знать,— ответил Петр Петрович.— Отдохнул, и довольно. Что я — нездоров, что ли?

— А говорили...— пробормотал Кочетков.

— Что говорили? — быстро повернулся к нему Петр Петрович.

— Да так...— уклоняясь от прямого ответа, сказал курьер.— Раз отпуск на месяц, чего же раньше приходить? Сколько вам еще до сроку осталось?

Стали приходить другие сотрудники. Петракевич остановился перед Петром Петровичем, как перед призраком. Не сказав ничего, он прошел наверх, а Петр Петрович не хотел объясняться первым, без вызова. Пришел Лисаневич и смутился до того, что уронил портфель. Он вежливо поздоровался, но тоже не решился ни о чем спросить. Даже Язевич не отпустил ни одной шутки, а только с шумом выпустил воздух изо рта, увидав помощника заведующего. Все они торопились убежать наверх, спасаясь от неловкого положения.

Петр Петрович терпеливо ждал. Кочетков нашел себе какое-то дело за дверьми и поспешил скрыться. Петр Петрович один стоял в прихожей и ждал на своем посту, как делал это всегда.

Вбежали Райкин и Геранин. Они кинулись расписываться, не заметив Петра Петровича, стоявшего в стороне, и на листе Геранин увидал знакомую подпись. Он вскрикнул и обернулся, но Райкин уже увидал Петра Петровича и молча во все глаза глядел на него. Так же уставился на него и Геранин. Петр Петрович попытался улыбнуться.

— Что,— сказал он,— вот я и раньше вас расписался!

Но мальчики не улыбнулись шутке. Они помолчали, и потом Геранин робко спросил:

— Вы поглядеть зашли, Петр Петрович?

— Нет, не поглядеть,— ответил Петр Петрович,— а служить. А что — распустились без меня? Вот я приберу вас к рукам!

— А как же отпуск? — уныло спросил Райкин.

— Что вам всем дался отпуск,— раздраженно ответил Петр Петрович.— Будет. Не хочу я больше в отпуску сидеть.

— А отдохнуть? — так же уныло, как его товарищ, спросил Геранин.

— Я уже отдохнул. Надоело отдыхать.

Геранин хотел спросить что-то еще, но Петр Петрович уже сердился. В это время вошел тов. Майкерский. Мальчики быстро ушли.

Тов. Майкерский долго моргал глазами, увидав Петра Петровича. Петр Петрович поздоровался с ним первый. Тов. Майкерский снял зачем-то шляпу и сказал:

— Да...

Он вздохнул, помолчал еще и, не то выгадывая время для чего-то, не то собираясь с мыслями, медленно ответил:

— Здравствуйте, тов. Обыденный.

Он поглядел на Петра Петровича, словно что-то проверяя, и подошел к столу. Он не прочел даже листа, а, расписавшись, молча спрятал его в карман. Потом он спросил:

— Вам жалованье принесли, тов. Обыденный?

— Принесли,— ответил Петр Петрович.

Тов. Майкерский снова помолчал. Потом он обвел глазами прихожую и позвал Кочеткова.

— Что это, не паутина там? — спросил он и указал пальцем в неопределенном направлении.

Курьер добросовестно обследовал угол и ответил:

— Паутины нету, тов. Майкерский.

Начальник вздохнул и повертел в руках портфель. Потом он поднял глаза на своего помощника и решительно спросил:

— Вам нужно что-нибудь, тов. Обыденный?

Петр Петрович его не понял и переспросил. Тов. Майкерский опять вздохнул и опять помолчал. Петр Петрович не понимал в чем дело и растерянно глядел на него. Кочетков опустил глаза и робко зашел за спину начальника.

— Вам нужно что-нибудь? — переспросил наконец тов. Майкерский.— Зачем вы пришли?

— Я на службу пришел,— дрогнувшим голосом произнес Петр Петрович и попытался улыбнуться.— Уж вы и забыли, Анатолий Палыч, что я у вас служу?

Невольно эта шутка прозвучала упреком. Тов. Майкерский покраснел, оглянулся и нетерпеливо сказал:

— Тов. Кочетков, посмотрите еще раз. По-моему, там все-таки паутина.

— Я посмотрю,— сказал Петр Петрович и пошел в угол.— Нету паутины,— сказал он оттуда.

Тов. Майкерский, казалось, был совсем растерян. Давно наступила пора начать работу, а он все стоял в прихожей и как будто не собирался идти наверх.

— Слушайте,— сказал он вдруг, как будто нашел нужное слово,— вы же в отпуску.

— Я уже говорил тут, Анатолий Палыч,— сказал Петр Петрович терпеливо и вдумчиво,— мне больше не нужно отпуска. Я отдохнул, и я хочу служить.

Тов. Майкерский ничего не понимал. Он вертел портфель в руках и растерянно глядел по сторонам.

— Но у вас вид больной...— пробормотал он.

— Пустяки,— нетерпеливо отмахнулся Петр Петрович.— Я здоров. Я на службе лучше поправлюсь. Мне дома скучно.

Тов. Майкерский пожал плечами. Он, казалось, не знал, к кому обратиться, чтобы разрешить какой-то трудный вопрос. Петр Петрович подошел к нему и, заметно волнуясь, так что даже голос его прервался, сказал:

— Анатолий Палыч, я считаю, что мне отпуск зря дали. Если я и заслужил отпуск, так не за то, за что мне его дали. А за это я пользоваться отпуском не хочу. Понимаете? Я хочу служить. Я здоров, и я заявляю вам: я буду служить. Вот вам отпуск обратно. И ничего взамен я не прошу. Я хочу служить. Имею я на это право?

— Но вы...— пробормотал тов. Майкерский.

— Нет, вы мне ответьте: имею я право на это или нет? Если да, так пустите меня служить. А если нет, так отдайте под суд. Пусть суд выяснит. А так я не могу. Отпуска мне не надо.

Петр Петрович зашатался. Волнение сразу ударило ему в голову. Но он сдерживал себя и старался дышать тихо, чтобы тов. Майкерский не заметил, как он зады-

хается. Он напряженно ждал ответа. Тов. Майкерский не глядел на него.

— Право вы имеете,— последовал медленный ответ.— Но я не знаю... Может быть, лучше...

Петр Петрович глубоко и облегченно вздохнул.

— А если имею, так я и буду служить. Вам в кабинет пора, Анатолий Палыч, и я за вами пойду.

Тов. Майкерский растерянно посмотрел на своего помощника и пожал плечами. Но он ничего не сказал, оглянулся на Кочеткова, который упорно избегал взглядов начальника, и пошел по лестнице. Петр Петрович последовал за ним. Но хотя тов. Майкерский подымался очень медленно, Петр Петрович все же сильно отстал. Он задохнулся уже на третьей ступеньке, голова закружилась, ноги не подымались, и он схватился за перила. Кочетков подлетел к нему и сказал:

— Я помогу, Петр Петрович.

Он подхватил Петра Петровича под руку и довел до коридора. Там Петр Петрович прислонился к стене, а Кочетков юркнул в кабинет тов. Майкерского.

В коридоре Петр Петрович еще раз переспросил себя. Он настойчиво повторял себе: «Надо, надо»,— и убеждал себя, что его самочувствие, в сущности, прекрасно, что он рад возвращению к работе и что вся слабость — пустяки. Он вошел в комнату, где сидели сотрудники. Они о чем-то говорили и не принимались еще за работу. Разговор был, видимо, очень неприятный для Евина, потому что бухгалтер стоял смущенный и красный. Петр Петрович усмехнулся. Сотрудники в молчании разошлись по своим местам. Влетел опоздавший Ендричковский. Войдя, он весело крикнул:

— Что это внизу никого нет? Я разноса ждал, а внизу никого. Сам-то уж не опоздал ли?

Ему никто не ответил. Он оглянулся, испугавшись, не проглядел ли он тов. Майкерского, и увидал Петра Петровича. Он тоже остолбенел на минуту, но потом подошел к помощнику заведующего и протянул ему руку.

— Здравствуйте, дядя Петя,— очень сердечно сказал он.— Навестить нас пришли? Соскучились?

— Нет, я на службу пришел, Ендричковский,— ответил Петр Петрович.

— На службу?

Ендричковский беспомощно оглянулся на остальных. Те работали, низко опустив головы.

— На службу?

Дверь открылась, на пороге встал Кочетков и возгласил:

— Тов. Петракевич к тов. Майкерскому!

Петру Петровичу уже надоели вопросы о том, почему он прервал отпуск. Он повернулся к Лисаневичу и спросил:

— Где у нас последние накладные?

Он хотел поскорее войти в работу. Лисаневич вскочил, покраснел и ответил:

— Они у Петракевича, Петр Петрович. Этим Петракевич теперь заведует. То есть пока вас не было.

Он смутился и сел. Петр Петрович высоко поднял брови. Подумав, он задал еще один вопрос по службе. Оказалось, что и тут его обязанности были переданы другому. Ничего странного в этом, конечно, не было, не могло же дело остановиться из-за его отсутствия. Но сотрудники, отвечая, говорили так, как будто бы замена была не временною, а постоянной. Это сердило Петра Петровича, и, рассматривая новые бумаги, он тяжело дышал и отдувался.

Петракевич вернулся и мрачно заявил, что начальник зовет к себе Евина. Евин оставался в кабинете недолго. Он вернулся еще краснее, чем он был, и, ни на кого не глядя, сказал, что тов. Майкерский зовет Лисаневича. Лисаневича сменил Язевич. В конце концов оказалось, что тов. Майкерский вызывает всех по очереди. Петр Петрович никак не мог догадаться, что бы это могло означать, но спросить кого-нибудь ему не позволяла гордость. Ему понадобилась какая-то справка, он обратился за нею к Евину. Бухгалтер вскочил и неожиданно закричал:

— Я вас прошу оставить меня в покое! Не подходите к моему столу!

У стола вырос Петракевич. Он тихо сказал бухгалтеру:

— Евин! Ударю.

Евин сел. Петр Петрович с недоумением оглядел всех. Ендричковский подошел к нему и мягко сказал:

— Бросьте, дядя Петя, на что вам эти справки?

— Как на что? — изумился Петр Петрович.— Я на службу пришел.

— Ну, хорошо, пришли. Успеете еще войти в работу. Мы тут справлялись без вас. Постепенно вы освоитесь снова. Не торопитесь, успеете.

— Я так не умею служить,— дрогнувшим голосом

сказал Петр Петрович.— А волнения тов. Евина я не понимаю. Я — помощник заведующего, и он обязан дать мне справку.

Все с досадою переглянулись. Евин демонстративно продолжал писать, не обращая внимания на слова Петра Петровича. Ендричковский подошел к нему, взял бумаги с его стола и, вздохнув, спросил:

— Какую справку вам нужно, дядя Петя?

— Не трогайте моих бумаг! — закричал Евин, снова вскакивая.

Петракевич с такою силой опустил руки ему на плечи, что он не сел, а упал на стул. Петр Петрович обвел всех глазами, и сердце его сжалось. Он понял вдруг, что они его обманывают, никто не верит, что он может работать, и только уступают ему, его капризу, может быть, давая ему бумаги. Работы от него никто не ждет. Он был так огорошен этим, что даже не назвал Ендричковскому нужной справки. Но минута слабости быстро прошла. Он решил доказать всем, что он вовсе не изменился. Он схватил бумаги и засуетился, кидаясь к выходу. Он хотел пойти на склад и проверить товар. В дверях он столкнулся с Кочетковым.

— Тов. Майкерский зовут вас, Петр Петрович,— тихо сказал курьер.

Петр Петрович даже обрадовался. Значит, его все-таки вызывают, как и других, значит, тайн от него нет. Но почему его зовут последним? Не выпуская бумаг из рук, он вошел в кабинет и, стараясь не выдать своего волнения, вежливо спросил:

— Звали меня, Анатолий Палыч?

— Да,— тихо ответил тов. Майкерский, вставая из-за стола навстречу помощнику.— Вам нельзя оставаться на службе, Петр Петрович.

Пол ушел из-под ног Петра Петровича. Он удержался на ногах только тем усилием, которое делают матросы в сильную качку. Тов. Майкерский исчез из глаз, его отнесло куда-то в сторону. Петр Петрович перевел дыхание и, стараясь придать голосу твердость, сказал:

— Можно мне спросить, почему?

— Конечно, конечно,— ответил тов. Майкерский.— Да вы сядьте, Петр Петрович,— прибавил он и сам пододвинул помощнику стул.— Видите, вы совсем на себя не похожи.

Петр Петрович не присел. Он боялся сделать лишнее движение.

— Я не хотел взять это на себя,— тихо сказал тов. Майкерский.— Я опросил всех сотрудников. Я должен вам сказать, что мы ни в чем не подозреваем вас, Петр Петрович. То, что вчера наговорил вам Евин, он говорил только от себя, и он получил от меня строгий выговор. Но вы нездоровы. Вам очень нужно отдохнуть. Если хотите, я похлопочу, чтобы вам дали место в санатории. В таком состоянии вы не можете работать.

— Я здоров! — воскликнул Петр Петрович.

Тов. Майкерский усмехнулся.

— Вы больны,— сказал он тихо, но твердо.— Ваш возраст не таков, чтобы шутить с этим. Все сотрудники со мной согласны. Я не могу позволить вам работать.

— Анатолий Палыч,— с последним усилием сказал Петр Петрович,— я сам за себя отвечаю.

Тов. Майкерский покачал головою.

— Но за распределитель отвечаю я,— так же тихо и значительно сказал он и повторил: — Я не могу вам позволить работать.

Петр Петрович наконец понял. Что ему говорили про болезнь? Это выдумка. Его просто боятся. Евин обвиняет в лицо. Остальные вежливее, остальные еще немножко его любят. И вот они придумали такой способ. Он прохрипел:

— Дайте мне оправдаться, Анатолий Палыч!..

— Да ведь если вы больны, так вы ни в чем не виноваты,— удивился тов. Майкерский.— Никто не виноват, если он болен. Идите домой и приходите, когда будете совсем здоровы.

«Еще, еще усилие!» — кричал чей-то голос. Петр Петрович видел, что бороться ему немыслимо. Он положил бумаги, которые все еще держал в руке, на стол начальника и молча поклонился. Тов. Майкерский подбежал к нему и, поддерживая его под локоть, довел до двери. Петр Петрович догадался, что он, наверно, выглядит сейчас ужасно, если начальник сам провожает его. У двери тов. Майкерский передал помощника поджидавшему, очевидно, Кочеткову. Курьер крепко обнял Петра Петровича за талию и повел вниз.

— Я вам извозчика нанял, Петр Петрович,— ласково сказал он.— Тов. Майкерский велели. Извозчик вас в минуту домой доставит.

И он усадил Петра Петровича в пролетку и озабоченно повторил извозчику адрес.

В пролетке Петр Петрович сидел тяжело, сгорбившись. Он не оглянулся на распределитель, у него не было сил повернуть голову. Как он доехал домой, он не помнил. Он вошел в столовую — там ждала его вся семья, даже Елизавета снова не пошла на службу. Может быть, им дали знать из распределителя, а может быть, они сами решили, что ему придется вернуться. Он вошел в комнату и глухо сказал:

— Отослали обратно.

Все подскочили к нему. Но он уже ничего не видел и не слышал. У него хватило сил только дотащиться до кровати.

11. МОЛЧАНИЕ

Быть может, следовало ожидать от неудачного посещения распределителя худших последствий для здоровья Петра Петровича, чем те, которые имели место в действительности. Он уже к вечеру встал с постели. Бодрился ли он, или просто не привык залеживаться, или даже стал себя лучше чувствовать,— но он вышел в столовую неожиданно для домашних, думавших, что больной еще спит. Петр Петрович, действительно, забылся днем в тяжелом сне, и сон этот возвратил ему силы.

Родным сперва показалось, что время повернуло вспять. Перед ними снова, как несколько таких далеких дней тому назад, сидел человек, чуждавшийся их и отчужденный. Петр Петрович молчал. Он отвечал на вопросы и обращения, но говорил только «да» и «нет». От себя он не произносил ни одного слова. И только когда родные пригляделись к нему, они поняли, что Петр Петрович и молчит по-иному, и по-иному чуждается их. И если прежде они хоть сколько-нибудь боялись его, то теперь они боялись только за него. Умом они этого не постигали, только чувствовали, что с Петром Петровичем произошел какой-то перелом, которого они не могли и не умели разгадать.

И сам Петр Петрович еще плохо разбирался в том, что произошло. Ему было ясно только одно: попытка возвращения к старому, к прежнему не удалась, как ни сильны были причины, которые заставляли его предпринять эту попытку. Он понимал, что неудача была

вызвана вовсе не болезнью, вернее, что сослуживцам болезнью казалось то, что вовсе ею не было. Просто они не могли понять, что Петр Петрович теперь думает и чувствует по-иному, чем они сами. Это-то они и называли болезнью. А на самом деле все вертелось вокруг одного вопроса, и, грубо говоря, этот недоуменный вопрос звучал так: почему же ты все-таки взял деньги? Объяснить это Петр Петрович не мог. Корыстные цели явно отпадали для всех, пожалуй даже и для Евина. Тем необъяснимее был для людей поступок Петра Петровича. И теперь они, конечно, боялись не за него, а за повторение этого поступка, или, что могло быть с их точки зрения еще хуже, еще неожиданнее, они боялись, что Петр Петрович выкинет еще какую-нибудь штуку, которая вовсе не послужит на пользу делу и снова поставит их в тупик.

Спрашивалось теперь, были ли они правы в своих опасениях. Петр Петрович не мог ответить на это. И самое странное было то, что он прекрасно понимал их страхи. Он сам прежде так же боялся бы за другого, даже сочувствуя ему всею душой. Но теперь — он снова понял это, не радуясь и не огорчаясь,— теперь он знал нечто иное, чем сослуживцы и все окружающие. И он не боялся ни за себя, ни за них, ни за распределитель. Не боялся он потому, что все это — здоровье, дела, деньги,— все это стало не важно, даже несерьезно. Было иное. Но так как он не знал, как назвать это иное и что оно такое вообще, то ему оставалось только молчать. Он бы очень хотел объяснить все, что с ним было, но он принужден был говорить с людьми на их языке, потому что собственного у него не было. И вот — люди не понимали его.

Конечно, проще всего было бы прийти к ним и сказать — раз их языка и строя мыслей Петр Петрович еще не забыл, да и сам от них вовсе не отказался,— почему он взял деньги, объяснить, что это было раз и было случайно, и убедить, что это не повторится. Да история с деньгами и не повторилась бы, Петр Петрович это знал. Но он не был убежден, что с ним не может случиться что-нибудь еще. Он понимал, что живет сейчас не как другие и, значит, способен на то, на что другие неспособны. А главное — для того чтобы ему поверили, нужно было все-таки объяснить: почему он однажды деньги взял? А этих слов на общем языке не было, и сколько ни пытался Петр Петрович хоть

самому себе объяснить старыми словами и старыми рассуждениями свой поступок, он не мог этого сделать. Иное, неназываемое оправдывало его. Но для этого иного вся история была мелочью, не стоящей внимания. Иное не знало разницы между казенными деньгами и валяющеюся на улице бумажкой. «Просто так» — было для иного и полным объяснением, и оправданием. Но людей «просто так» ставило в тупик. Не мог ли Петр Петрович подыскать для них и, пожалуй, для себя тоже более понятное объяснение? Ведь, действительно, приход на службу был совсем неубедителен. Петр Петрович понял это на опыте. Нельзя убеждать будущим, надо сперва оправдать прошлое.

Но Петр Петрович мог подобрать только два слова для объяснения: затмение или просветление. Они равно ничего не объясняли. Ему оставалось, таким образом, только молчать. И он замолчал. Но странно — прекрасно зная, что молчит он сам, он все же испытывал такое чувство, будто молчат все кругом. Он слышал обращения родных, он помнил, что сослуживцы тоже что-то говорили, но ему казалось, что все молчали, что все молчало, весь мир молчал. Звуки доходили до него с такой ясностью, чтобы он мог понять их привычный смысл, они не убеждали, и они стали равносильны молчанию. Попытка прислушаться к ним окончилась неудачею. И значит, на молчание можно было ответить только молчанием.

Он обиделся тогда на Евина только за одно: за обвинение в том, будто он, Петр Петрович, сказал неправду. Иное тоже не признавало лжи. И он придумал путаный и неубедительный способ оправдания себя. Он увидел: ему верили. Во лжи, во всяком случае, его не подозревали. Но его правда была непонятна другим. С этим он ничего не мог поделать.

В доме — опять переглядывания, деланные улыбки, затаенный страх. Опять издалека наводили разговор на необходимость посоветоваться с врачом. О посещении распределителя не упоминали, но знали, конечно, всё, расспросив друзей. Родным казалось, что вся поправка Петра Петровича пошла насмарку. Они во всем винили Евина. Ведь Петр Петрович стал уже так спокоен, так рассудителен, так порозовели снова его щеки. И надо же было Евину прийти, довести Петра Петровича до обморока и последовавшего за ним посещения распределителя! Теперь приходилось все начинать сна-

чала. Конечно, им мало было того выговора, который объявил Евину тов. Майкерский. Они с недоумением спрашивали у всех, как терпят бухгалтера на службе после того, что он выкинул. Но другие в ответ качали головами и старались осторожно дать понять, что Петр Петрович все-таки деньги из евинского ящика взял — и потому Евин имел основание для своих предположений и для своей обиды. Объяснить же поступок Петра Петровича родные тоже не могли.

Они думали, что Петр Петрович весь поглощен своей неудачею на службе и возмущением выходкою Евина. Они всячески пытались отвлечь и развлечь его мысли. Наперерыв они что-то рассказывали, стараясь, чтобы ни одна минута не проходила в молчании, предлагали почитать вслух, сыграть в шахматы, даже в карты, хотя никто из них не умел играть в излюбленный им преферанс. Он слушал, играл. Но он ничего не слышал, а каждая игра походила на поддавки: родные старались проиграть ему, боясь и маленького огорчения, а он не обдумывал ни одного хода, машинально передвигая фигуры и машинально бросая карты.

По вечерам приходил Камышов, и его приходу все радовались. Он был все-таки свежий человек, со стороны, не причастный ко всем неприятностям, веселый, да и Петр Петрович его любил и любил слушать его разговоры. Камышов переживал трудные дни: он так и не объяснился с Елизаветой, а она, занятая теперь только здоровьем отца, обращала на него очень мало внимания. Уже не было споров и перебранок, но реже и скучнее стали свидания. Он терпеливо ждал возврата к прошлому, чтобы заговорить о любви. Однажды он придумал блестящий план. Он предложил поехать за город. В будничный день ни в поезде, ни на даче никого не встретишь. Елизавета может на службу не пойти. Он, Камышов, тоже освободится. Они возьмут Петра Петровича с собою и весь день проведут на воздухе и на воле. Все поддержали его предложение, и он со страхом ждал ответа от Петра Петровича. К общему удивлению, Петр Петрович согласился. Неизвестно, что руководило им. Может быть, он хотел переменить обстановку, может быть, действительно он рад был подышать чистым воздухом, а может быть, предпочитал общество влюбленной пары всякому другому.

Утром Камышов зашел за своими спутниками, и на извозчике они отправились на вокзал. Петр Петрович

чувствовал себя бодро, он как будто забыл обо всем и даже пытался шутить. В вагоне действительно никого не было, да и ехали-то они всего четверть часа. Они сошли с поезда на маленьком полустанке, где вокруг стояло всего несколько домиков. Узенькою тропинкой они пересекли поле и вышли к речке, мелкой и узкой. Поле граничило с леском, опушка подходила к самому берегу. Здесь они и расположились, в тишине и одиночестве. Камышов достал свертки, которых надавала ему Елена Матвевна, разложил бутерброды и поставил в траву бутылку с холодным сладким чаем.

День был жаркий, безоблачный. Откуда-то, еще очень издалека, подходила осень, может быть, поэтому тишина казалась прозрачною, как и воздух, да и зной был не томителен. Ветра не было, колосья колебались редко, словно нехотя, и пробегавшая по ним волна была совсем мелкою. Деревья стояли неподвижно, даже листья на них не колыхались, и только одинокая маленькая осина невдалеке беспрерывно дрожала и чуть-чуть шелестела. Лесок был главным образом сосновый, слегка пахло иглами и смолою. Узенькая каемочка берега была покрыта песком, мелким и чистым. Он уходил в реку, на дно, и там казался еще чище. Вода шла тихо, почти не расплескиваясь. Изредка только, играя, всплескивали ее какие-то маленькие рыбки и пускали пузыри.

Петр Петрович плохо спал эту ночь — бессонница стала для него уже привычкою. Впрочем, бессонница эта была скорее тяжелым полусном, путающим мысли, но не дающим ни отдыха, ни забвения. По утрам он бодрился и забывал про ночь, но вскоре она сказывалась усталостью. Сегодня же чистый воздух и тишина сморили его еще скорее. Только усевшись на опушке, он уже начал зевать, но зевота эта была не болезненная, а звала к крепкому, здоровому сну. Он с охотою закусил и, не прислушиваясь к тому, что говорили Елизавета и Камышов, лег в траву. Глаза его слипались, и он признался, что хочет спать. Камышов и Елизавета замолчали. Петр Петрович слышал еще несколько минут, как шелестела осина, как мирно плескалась вода. Он закрыл лицо газетным листом, чтобы яркий свет солнца не раздражал глаз. Тепло было ему и приятно. Он расстегнул воротник и заснул.

Елизавета и Камышов сидели молча и боялись пошевелиться, чтобы не разбудить Петра Петровича. Они

не знали, хорошо ли, что он спит. Но потом Елизавета посмотрела на Камышова сияющими глазами: Петр Петрович захрапел. А храпел он только до болезни. С тех пор как его стала мучить бессонница, он не издавал по ночам никаких звуков, даже когда забывался. Этот храп, раньше немало раздражавший семью, потому что он был слышен по всей квартире, теперь обрадовал Елизавету чуть ли не до слез. Правда, Петр Петрович только слегка посвистывал, только чуть-чуть перекатывал звуки в горле. Это не был еще прежний, здоровый, всесокрушающий храп, но это все-таки был храп.

Тогда Камышов решился наконец открыть рот. Шепотом сказал он Елизавете, что Петр Петрович, конечно, поправится. Елизавета погрозила ему пальцем и оглянулась на спящего. Но храп стал еще громче, Петр Петрович безмятежно спал. Тогда она сама не выдержала и шепотом же объявила Камышову, как она рада, что сегодняшняя прогулка удалась и, может быть, принесет свои плоды для здоровья отца. Потом она сдвинула брови и сказала, что все очень волнуются за Петра Петровича, что на его заработке строился весь бюджет семьи, и неизвестно, как теперь будет, если он не сможет служить, но что, конечно, это меньше всего беспокоит семью, а волнуются все только за его здоровье, и будь он здоров, уж как-нибудь свели бы концы с концами. Камышов, серьезно вздыхая, выслушал все это, как будто он сам этого не знал или слышал в первый раз.

Наступил уже полдень, жара становилась все сильнее. Кругом не было ни души. Петр Петрович спал. Камышов пододвинулся к Елизавете и, безмерно волнуясь и еще более понизив голос, то оглядываясь, то глядя на нее большими умоляющими глазами, дрожащими руками то проводя по волосам, то теребя рубашку,— объявил ей, что он ее любит все больше и больше, а полюбил, как ей известно, с первой встречи; что жить без нее он, само собою разумеется, никак не может; что она его измучила своею холодностью, и он не знает, действительно ли она так холодна к нему, или он может надеяться хотя бы на самые пустяки. Пустяками, однако, оказалась ни больше ни меньше как женитьба. Он подробно изложил, что, хотя он сейчас зарабатывает очень мало и хотя зарабатывать достаточную для содержания семьи сумму будет не

скоро, но он желает жениться на Елизавете и ни на ком другом, конечно, и притом жениться немедленно. И много было еще разных «хотя» и «что», а еще больше было нежных и горячих взглядов, и еще настойчивее слов рвались к ней его руки, и трепетнее взглядов тянулось к ней все его тело. Елизавета не отвечала, но и не прерывала, она не глядела на него, но даже уши ее покраснели. Изредка она робко оглядывалась на Петра Петровича, но тот спал. Жара ли, или шепот Камышова, или весь этот день на воле, у реки, с радостью за отца, истомили ее, и ей хотелось закрыть глаза и, может быть, тоже уснуть, но так, чтобы Камышов оставался рядом и чтобы она и во сне слышала только его голос. И когда он придвинулся совсем близко и коснулся ее, когда его дыхание защекотало ей ухо, она вдруг вскочила и, нерешительно посмотрев еще раз на отца, побежала в лесок. Одну секунду Камышов поглядел на нее растерянно, но тотчас сорвался с места и кинулся бегом за ней.

В лесу было прохладно, деревья, хоть и не больно густые, все-таки прятали от чужих взоров. А если этих взоров в окружности и не было, то деревья прятали людей от реки, от простора, от полей и, может быть, от них самих. Здесь, тяжело дыша не от бега, а от волнения, Камышов настиг Елизавету. Она тоже с трудом переводила дыхание. Он робко подошел к ней, она все не глядела на него. Он тихо назвал ее по имени, она не обернулась. Он коснулся ее руки, она не отняла ее. Он что-то спросил, она не расслышала, вздохнула, повернулась к нему и как будто совершенно спокойно и совсем просто, с какою-то едва заметною покорностью, даже, может быть, с какою-то жалостью — то ли к нему, то ли к себе — поцеловала его.

Петр Петрович спал, должно быть, очень долго. Наконец оборвался его храп, он завозился в траве, зашуршал газетным листом, покрывавшим его лицо, и отбросил его. Он сел и с недоумением оглянулся. Никого кругом не было, и он сперва не мог сообразить, как он попал сюда. Он негромко — почему-то голоса не хватало — позвал Елену Матвевну. Никто не ответил. Только тогда он вспомнил, что приехал сюда с Елизаветою и Камышовым. Он позвал их, опять негромко, и опять никто ему не ответил.

У него немного болела голова — может быть, солнце все-таки слишком нагрело ее. День был все так

же ярок, но Петр Петрович, вероятно, переспал: перед глазами у него плыли цветные круги. Он тяжело встал, сердце у него забилось, как это бывает после первого утреннего движения. Кругом никого не было, и ему показалось, что он невероятно одинок. Конечно, с ним ничего не могло случиться, но все оставили его. Хотя он ни с кем не мог бы говорить и не желал разговаривать, но одиночество было ему неприятно даже физически. Ему очень захотелось, чтобы кто-нибудь был сейчас около него, какой-нибудь человек, или даже какое-нибудь живое существо. Слишком неподвижно стояли деревья, слишком однообразно склонялись колосья, слишком утомительно плескалась речка, а небо сияло немилосердно и бездушно.

Он оглянулся. Нигде не было следов Елизаветы и Камышова. Он догадался, что уйти они могли только в лес, и пошел за ними. Он втянул голову в плечи и шел быстро: ему казалось, что кто-то идет за ним. Это было не то чтобы жутко, но как-то неприятно. Он думал избавиться от этого ощущения, увидев своих.

Наконец, за деревьями он увидал их. Они сидели на траве и не заметили его приближения. Сидели они так близко друг от друга и так оживленно беседовали, что он невольно пошел тише. Они не услыхали, как он встал над ними. В эту минуту они поцеловались, и поцелуй их был очень долог.

Петру Петровичу Камышов очень нравился, и он, как отец, ничего не имел против того, чтобы Елизавета вышла замуж за хорошего человека. И поцелуй нисколько не показался Петру Петровичу неуместным или преступным. Наоборот, он даже улыбнулся, увидав, что сопротивление Елизаветы окончилось. Он вовсе не хотел мешать влюбленным. Увидев их, он уже успокоился, как успокоился бы, вероятно, увидав любое живое существо. Он повернулся и тихо, на цыпочках, пошел назад.

Он вернулся на старое место и подумал, что Елизавета разговаривала с Камышовым гораздо искреннее, чем с отцом. В этом не было ничего обидного для Петра Петровича, он знал, что так бывает всегда. Но от этой мысли он перешел к другой — к той, что люди вообще теперь стали менее искренни с ним, чем были раньше. Вероятно, он сам был виноват в этом — дались же ему какие-то несообразные ни с чем поступки. А если люди неискренни с ним — значит, им тяжело его общество.

Ведь это же, правда, должно быть так тяжело: всегда думать о том, что можно и чего нельзя сказать собеседнику, всегда напряженно искать тайный непонятный смысл в его словах, никогда не знать, что он предпримет сейчас, прятать свои мысли и чувства под неизменною улыбкой, щадить его, жалеть его и мучиться с ним. Петр Петрович часто замечал в жизни, что те люди, которые тяжелы другим, в сущности, никому не нужны. Их жалеют, их любят еще — по памяти, но они только обременяют собою других. И он впервые подумал о том, что он сам теперь — ненужный, томительный для других человек. Что им до того, что он знает и переживает что-то иное. Они не знают иного, они имеют дело только с человеком, и человек этот для них не нужен, скучен и обременителен. И если он ни в чем не виноват, то они еще меньше виноваты в том, что творится с ним. И если они многим обязаны ему, то от этого им вовсе не легче. Конечно, Елизавете и Камышову лучше вдвоем, чем с Петром Петровичем. Но не лучше ли и всем остальным, когда его нет, не было ли бы избавление от него облегчением для них? В распределителе это было именно так.

Мысли эти были новы для Петра Петровича. Они объясняли то молчание, которое он слышал вокруг себя. Просто везде и всюду он был не нужен, слова утешения и ласки, когда они говорятся со скрытыми мыслями, не разбивают молчания, как и деланно веселые лица не прогоняют тоски. До сих пор Петр Петрович думал только о себе. О других он думал, только сталкиваясь с ними, чувствуя, что он с ними связан. Теперь он подумал о том, что ведь и они связаны с ним и что иногда, может быть, он связывает их по рукам и по ногам. Ему стало очень жаль родных, почти до слез. Он твердо решил постараться впредь ничем не огорчать и не затруднять их. Он захотел немедленно привести это решение в исполнение. Как всегда бывает в таких случаях, вместо того, что он хотел, он совершил поступок, который привел в конце концов как раз к обратному действию. Он решил не мешать Елизавете и Камышову. Для этого он ушел от них. А отойдя на порядочное уже расстояние, он подумал, что время раннее, что дома он и так намозолил всем глаза, что до города не так уж далеко и он прекрасно одолеет весь путь пешком. Ему ведь было прописано по возможности больше гулять. И он отправился домой пешком, и ему

не пришло в голову, что будет с дочерью, когда она не найдет его на опушке. То есть он даже и об этом подумал, но решил почему-то, что она не будет волноваться, а даже обрадуется тому, что останется одна с Камышовым.

Он вышел на шоссе и бодро зашагал. Он улыбнулся, он был доволен своим решением. Оно даже слегка возвращало его к жизни, направляя его мысли в другую сторону и ставя перед ним новую цель. Конечно, он всю жизнь заботился о близких, но мысль о том, что не следует быть им в тягость, пришла к нему в первый раз. Он решил стать ласковым со всеми, стараться выслушивать все, что они будут говорить, никогда не жаловаться, не давать им намека на свои мысли и скрывать болезненные ощущения. Ему казалось, что выполнить эту программу будет совсем нетрудно. А она подбадривала его, давала новые силы, и он даже удивился, как это он не заметил раньше, что близким тяжело с ним, и почему раньше не ограждал их от волнений за него.

Так он прошел две-три версты и даже не запыхался. Правда, сердце чуть-чуть заметно постукивало и на лбу выступил пот. Но это могло быть и от жары. Он отошел от шоссе в сторону и присел отдохнуть в холодке. Сердце затихло, ветерок освежил лоб. Он не знал, который час, но по солнцу видел, что до вечера далеко. Путь лежал перед ним короткий, каких-нибудь шесть—восемь верст, да он уже и прошел, вероятно, около половины. Он ни разу не подумал о том, что Елизавета и Камышов бросились на поиски за ним. Он только улыбался, воображая, как восхитительно они проведут весь день одни, никем не охраняемые. Он им всецело сочувствовал и радовался за них.

Отдохнув, он пошел дальше. Однако идти становилось почему-то все труднее. Это было странно, он привык ходить и все еще думал, что за этот месяц ничего не изменилось. Шесть—восемь верст были совершеннейшими пустяками. Врач и тот прописал ему побольше гулять. Значит, совсем не стоило обращать внимания на то, что сердце начало давать перебои. А круги в глазах и легкое головокружение были вызваны, конечно, солнцем и воздухом. Он ведь все время шел с непокрытой головой, и солнце нагрело затылок. Он надвинул фуражку на глаза и решил, что теперь все пройдет.

Все-таки ему пришлось невольно замедлить шаги и несколько раз просто остановиться — очень закололо вдруг в боку. И сердце все сильнее давало себя чувствовать, и не исчезли круги перед глазами, сколько он ни моргал и ни тряс головою. Наоборот, эти ощущения становились все чувствительнее, и отдыхать приходилось уже на каждой полуверсте. А вместе с этим затуманились и мысли. Прежде всего новое решение — охранять близких — показалось ему не таким уж важным, не таким значительным. Может быть, родные не так уж беспокоились за него, а может быть, не стоило обращать внимания на их беспокойство. Ведь то, что происходило с ним, было несравненно важнее. Может быть, надо было посвятить все силы разгадке того, что вошло в его жизнь, и не отвлекаться мелочами. И все равно, если и успокоить других, если даже обмануть их, это не разобьет молчания, потому что они и так ничего сказать не могут, сами ничего не знают. Петр Петрович вовсе не отказывался от своего решения, он ни на секунду не переставал любить родных и желать им всяческого добра, но выходило так, что радоваться оказалось нечему. Его решение ничего не меняло.

Эта мысль совсем огорчила его. Когда она пришла, он даже остановился посреди дороги. Он оглянулся — деревья, поля, бесконечное шоссе, все, чему он так обрадовался утром, все было чужое, молчаливое, почти враждебное. Он подумал о том, как он мог сегодня заснуть в траве, и даже удивился: ведь это было немного страшно. Конечно, этот страх был необъясним и невелик, но он все-таки был. Если молчали люди, то чего же было ждать от реки и леса?

Медленно, спотыкаясь, Петр Петрович шел к городу. Ему снова показалось, как у реки, когда он проснулся и пошел искать своих, что за ним кто-то идет. Он оглянулся, но шоссе было пусто. Вдали подымался, правда, клуб пыли, но он отдалялся от Петра Петровича, и Петр Петрович вспомнил, что это только что проехала мимо телега. Пыль скоро исчезла. Но стоило только не оборачиваться назад несколько минут, и снова казалось, что кто-то идет сзади и нагоняет. Петр Петрович оборачивался — сзади никого не было.

Теперь шоссе шло открытым полем. Петр Петрович знал, что город близко, он видел уже вдали, как поблескивают купола. Деревни, очевидно, оставались в стороне, поля были пусты. Петр Петрович загадывал,

встретит ли он кого-нибудь через сто, двести, даже через тысячу шагов. Эта игра его слегка успокаивала, но за нею крылся страх. Он бы очень обрадовался человеческому лицу. Но шоссе, как нарочно, было пусто. И снова казалось, что сзади кто-то идет.

Он ускорил шаги. Он задыхался. Сердце стало колотиться все сильнее и сильнее, а круги в глазах завертелись и замелькали повсюду: на шоссе, на полях и на небе. Он уже не разбирал дороги, не смотрел на нее, он почти бежал. Это одиночество в поле казалось ему невыносимым, а больше всего угнетало молчание. Если б он встретил сейчас кого-нибудь, он бы заговорил и, может быть, повернул бы в другую сторону, и проводил бы того человека куда угодно, чтобы только не остаться снова одному. Кто-то все шел сзади, но шагов его не было слышно. Все кругом молчало. Петр Петрович даже откашлялся и попробовал что-то сказать вслух, но собственный голос прозвучал так дико в его ушах, что он не решился возобновить свою попытку. Он пожалел теперь, что оставил дочь и Камышова,— он не чувствовал бы себя таким одиноким с ними. Он понял, что они будут волноваться за него. Почему он не сообразил этого раньше? Теперь было уже поздно.

А город не вырастал, не приближался, даже будто уходил от Петра Петровича с такою же быстротою, как шел он сам и как бежали за ним облака. Эта гонка выбивала его из сил. Несколько раз он спрашивал себя, чего он, собственно, так спешит и чего боится. Спешить, казалось, было некуда и бояться нечего. Но кругом было так пусто и так молчаливо, и сзади все-таки кто-то шел, хотя идти было решительно некому,— и Петр Петрович бежал не останавливаясь. Он как будто боялся, что город ускользнет от него, уйдет за черту горизонта, и тогда он останется совсем один, заключенный в кругу враждебного молчания, один — или...

Он бежал. Он не слышал под собою ног, не чувствовал земли. Он забыл обо всем и только на бегу держался за сердце. И наконец, перед ним выросло кладбище. Он понял, что добежал до окраины. По боковой дороге тащился извозчик. Петр Петрович подбежал к нему и, не торгуясь, с трудом назвал адрес. Он упал на подушку пролетки и закрыл глаза. Он ничего больше не чувствовал.

Елизавета и Камышов медленно вернулись на то место, где они оставили Петра Петровича. Не найдя его там, они обыскали опушку и берег реки. Все больше и больше волнуясь, они кинулись в ближайшую деревню, потом на полустанок. Петра Петровича никто не видал. Они сели в поезд и с вокзала помчались домой. Но Петра Петровича не было и дома. Елизавета не могла говорить от волнения, Камышов бегал из угла в угол и ругал себя. Елена Матвевна, сама почти потерявшая голову, не решилась все же упрекнуть их. Никто не знал, куда им кинуться, где искать Петра Петровича, что случилось с ним. От этого состояния можно было бы сойти с ума, если б наконец у дома не остановился извозчик. Они кинулись к окну: в пролетке сидел Петр Петрович и, казалось, не мог сойти с нее. Извозчик глядел на него с недоумением.

— Чу, шум! Не царь ли?
— Нет, это юродивый.

Пушкин

12. ДАЛЕКИЙ ОГОНЕК

На этот раз и Петр Петрович не смог устоять против вызова врача. Отчасти — очень уж стали настойчивы домашние, отчасти — и сам он потерял желание сопротивляться, помня свое решение — уступать домашним во всем ради их спокойствия.

Врач явился и, как всегда в таких случаях, ничего определенного не сказал. Петр Петрович лишний раз убедился, что он был прав, отказываясь от посещения врача. Что же касается домашних, то врач и успокоил, и смутил их. Осмотрев, выстукав и выслушав тело Петра Петровича, он задал несколько вопросов покровительственным тоном, таким, каким спрашивают детей. Петр Петрович отвечал нехотя, неопределенно. Ему и так трудно было говорить, а особенно — в этом тоне. Он ничего не сказал врачу, но тот как будто именно этого и ждал и вполне удовлетворился, приговаривая: «Так, так»,— и самодовольно покачивая головою.

Самому Петру Петровичу врач сказал только полустрого и полушутливо, что надо отдыхать и не выдумывать глупостей, а домашним объявил, что, в общем, организм у Петра Петровича здоровый, сердце, конечно, утомилось, но это вполне естественно в таком возрасте. Еще он нашел, что нервы расстроены, но расстроены они у всех, а странность поступков объяснил переутомлением и заявил, что все явления в отдельности не вызывают беспокойства, но, вместе взятые, они, конечно, серьезнее. На вопрос, что же надо делать, он пожал плечами и объяснил, что науке здесь делать

собственно говоря, нечего, организм должен бороться сам, а медицина может только помогать ему. Он прописал отдых и какое-то лекарство. Но сила была, очевидно, не в лекарстве, потому что он написал рецепт так небрежно, как будто мог и не писать, и ничего бы от этого не изменилось.

Петр Петрович знал заранее, что врач ничего ему не скажет. Врач только подтвердил, что если Петр Петрович и болен, то несерьезно, и притом не в болезни дело. В конце концов врач был таким же обыкновенным человеком, как сослуживцы и домашние, и, как они, ничем не мог помочь. Да если бы он даже был необыкновенным человеком, он и тогда был бы Петру Петровичу не нужен. То, что Петр Петрович знал и переживал, понимал только он один, да и то не словами и даже не умом, а только чувством. Рассказать об этом было немыслимо.

А жизнь опять стала входить в колею. Стоило двум дням пройти одинаково, и уже казалось, что все идет по заведенному порядку. Одно, во всяком случае, домашние ясно поняли со слов врача: если и могут быть всякие неожиданности, то все-таки непосредственной опасности Петру Петровичу не угрожает. И они предоставили его самому себе, ухаживая, кормя и опекая его. Они не боялись выпускать его на улицу и не считали необходимым прерывать из-за него привычное течение своей жизни. И он возобновил свои прогулки, сидение в городском саду и послеобеденный отдых. Ему было очень скучно, но он покорился. Опять стали говорить, что с каждым днем он выглядит все лучше, и он сам пытался удовлетвориться этим, отстраняя трудные и неразрешимые вопросы.

На кухне все чаще появлялась Дашенька, которую Елена Матвевна вызывала, не справляясь с хозяйством. Елена Матвевна, конечно, и волновалась, и работала больше других. Она готовила для Петра Петровича отдельно, она плохо спала ночью, прислушиваясь к его дыханию, она стала часто задумываться и вздыхать, и шитье валилось у нее из рук. Дети были заняты: Елизавета — службою и любовью, Константин — учением, и Елена Матвевна одна ухаживала за мужем, вела хозяйство и думала за всех.

Дашенька всегда приходила с какими-нибудь новостями, и Елена Матвевна охотно слушала ее, радуясь хоть какому-нибудь развлечению. Неспешная и

ровная речь Дашеньки успокаивала Елену Матвевну, а рассказы часто смешили или, и по крайней мере, отвлекали ее мысли. Порою она пересказывала услышанное Петру Петровичу, у нее ведь не было своих тем, а ей так хотелось развлечь его. Иногда она даже звала его на кухню и заставляла Дашеньку повторить при нем какой-нибудь интересный рассказ. Петр Петрович терпеливо выслушивал все. Он не вникал в смысл Дашенькиных слов, но журчащая речь успокаивала и его. Он даже сам иногда приходил на кухню и спрашивал, что слышно нового. И хотя Дашенька неизменно отвечала, что нового ничего нет, да и откуда ему взяться, она все-таки всегда находила, чем занять внимание слушателей.

И вот, через несколько дней после неудачной прогулки, когда уже как-то наладилась жизнь, пришла Дашенька и с восторгом объявила, что Маймистовы, соседи Обыденных, взяли своего сумасшедшего сына из больницы. Это было, конечно, очень большим событием, и Дашенька не поскупилась на подробности. Оказалось, что мальчик вел себя в больнице спокойно, даже примерно, никаких попыток к буйству не предпринимал, а, наоборот, был тих и грустен. Врач сообщил родителям, что, если они хотят, они могут взять сына из больницы, так как поведение его не внушает никаких опасений. Сердце у родителей, как известно и как еще раз подтвердила Дашенька,— не камень, и они перевезли сына домой. Он, конечно, сумасшедшим остался, Дашенька вообще сомневалась, поддается ли безумие лечению. Он все больше сидит в углу, мало ест, всего боится, неохотно разговаривает, и если открывает рот, то только с тем, чтобы сказать что-нибудь странное, непонятное. Потом он с тревогою глядит на всех и чуть ли не плачет, когда видит, что его не понимают, но объяснить ничего не может. Конечно, Маймистовы ходят печальные, потому что сумасшедший в доме — какое же развлечение? Особенно отцу жалко наследника. А мальчик ничего этого не понимает, молчит, не всегда узнает людей и порою лепечет про себя какие-то неразборчивые слова.

Этот рассказ Петр Петрович почему-то выслушал очень внимательно. Он хорошо помнил, как началось с ним то, что другие называли болезнью. Это началось с восклицания Ендричковского, когда Петр Петрович сообщил сослуживцу, сколько лет ему испол-

няется. Но Петр Петрович хорошо помнил и весь тот день. Как раз накануне сумасшедший Маймистов набуянил и его отправили в больницу. Поэтому, помимо общего интереса, Петр Петрович испытал к сумасшедшему и особое сочувствие. Ведь начала их недомоганий совпадали, и оттого Петру Петровичу казалось, что он и молодой Маймистов как бы соединены общею судьбой.

Петр Петрович спросил Дашеньку, что же все-таки говорит сумасшедший. Этого она рассказать не могла и объяснила еще раз, что никто его не понимает. Шепчет он вовсе бессвязные слова, их даже разобрать трудно, так тих его голос и так путается во рту его язык. А когда он обращается к другим, он чаще всего что-нибудь просит, но как будто не умеет назвать. Так, например, близкие с трудом догадались, когда он все повторял: «Холодку, холодку, холодку мне»,— что это означает: дайте пить. Или еще он однажды все повторял: «Жить, жить»,— и оказалось, что он хочет гулять, и притом обязательно в саду, где есть трава. А в саду он сидел тихо и все гладил траву рукою. А когда его повели домой, он сорвал листок и начал жевать. Ему, как ребенку, объяснили, что листья жуют только коровы, а он радостно рассмеялся в ответ и замычал. И Дашенька вздохнула и сказала, что он — совсем как дитя несмышленое и даже странно, что ему семнадцать лет.

Дни опять стали длинные и скучные. Петру Петровичу нечего было делать и не с кем говорить. Единственный более или менее интересный собеседник — Черкас — не показывался. Должно быть, он стеснялся, что не отдает долга, и поэтому рано уходил из дому, а возвращался, когда все уже спали. Сплетням про него Петр Петрович не поверил, хотя в семье их долго обсуждали, ахали и стали относиться к жильцу еще враждебнее и подозрительнее. Если даже была в сплетнях правда, она Петра Петровича не касалась. Он не боялся Черкаса и не боялся за себя. Но как бы то ни было, Черкас все равно не показывался.

Петр Петрович совсем перестал интересоваться службою. Сослуживцы теперь иногда забегали к нему. Сидели они недолго, и Петр Петрович их не удерживал. Он хорошо знал все, что они могли сказать, и это его не трогало. Служебные новости стали ему чужды. Что, в самом деле, менялось от того, что сегодня

нагорело Райкину и Геранину,— и как всегда, вместе,— а вчера досталось Ендричковскому? Кому было интересно, что Язевич потерял нужную бумажку и тов. Майкерский долго кричал на него, а Кочетков потом нашел бумажку в коридоре? Больше ничего сослуживцы рассказать не могли, и Петр Петрович вздыхал и думал, что на службе, может быть, все это и занимательно, но вне службы еще скучнее, чем его вынужденное безделье.

Петр Петрович никому не рассказал, как он бежал по шоссе, никому не признался в своем страхе. Он сам морщился, вспоминая, как ему казалось, будто кто-то идет за его спиною. Оставаясь наедине, он с недоумением спрашивал себя, что это с ним тогда было. Он и врачу не рассказал этого, и врач приписал его возвращение с прогулки в совершенно разбитом виде усталости. Но Петр Петрович все-таки не мог примириться с мыслью, что он не в состоянии пройти несколько верст и не свалиться в постель. Очевидно, тогда было что-то иное, не одна усталость. Может быть, следовало тогда победить страх, присесть где-нибудь и на месте обо всем подумать, потому что теперь Петр Петрович ничего не мог припомнить из тогдашних своих мыслей и чувств. Может быть, тот, кто, казалось, шел сзади,— не человек, потому что Петр Петрович оглядывался, и никого кругом не было, и не дух, конечно, потому что в духов Петр Петрович не верил; может быть, этот некто был просто мыслью Петра Петровича, настолько новою и большою, что ему казалось, будто он слышит ее шаги рядом. И может быть, если бы он тогда победил страх, шаги бы исчезли, но мысль предстала бы ему одетою в слова. Однако минута была упущена и возможность разгадки, очевидно, безвозвратно потеряна.

Как и прежде, Петр Петрович три раза в день аккуратно выходил на прогулку. Скамейки в городском саду он так и не переменил и всегда усаживался на одну и ту же.

Однажды, подойдя к своему месту, он увидал на соседней скамейке пожилую женщину с бледным, худеньким подростком. Он поклонился — это были Маймистовы — и в первый раз изменил своей привычке, подошел к ним и уселся рядом. Он участливо осведомился у матери о здоровье сына. Маймистова вздохнула и ответила этим вздохом больше, чем сло-

вами. Она хотела сказать: «Какой уж тут может быть разговор о здоровье, когда, вот, сами видите...» Петр Петрович попробовал обнадежить ее, доказать, что в этом возрасте ничего не страшно, что с годами может пройти каждая болезнь. Маймистова ему не поверила, она, верно, не в первый раз слышала эти утешения и давно разуверилась в них. Петр Петрович помолчал, искоса поглядывая на больного. Тот выглядел гораздо моложе своих лет и казался еще мальчиком. Глаза у него были тусклые, равнодушные, лицо — очень бледное и худое. Он ни на кого не смотрел и, как рассказывала Дашенька, действительно гладил траву рукой.

Приглядевшись к нему, Петр Петрович осторожно спросил:

— Как вас зовут?

Больной как будто не расслышал вопроса или не обратил на него внимания. Петр Петрович подождал и хотел было повторить свои слова погромче, но мальчик вдруг ответил глуховатым однотонным голосом:

— Володя.

Маймистова не вмешивалась в разговор и даже не слушала. Очевидно, сын ее был всегда спокоен и уже ничем повредить ему было нельзя.

— Что вы здесь делаете, Володя?— ласково спросил Петр Петрович.

Опять наступила пауза, но теперь Петр Петрович терпеливо ждал ответа, и, действительно, спустя некоторое время Володя ответил, как и рассказывала Дашенька:

— Живу.

Петр Петрович внимательно посмотрел на него. Но лицо больного ничего не выражало, он сказал «живу» так же просто, как другой сказал бы «гуляю».

— А дома?— невольно спросил Петр Петрович.

Но этого Володя, должно быть, уже не расслышал или не понял, потому что он не ответил. Петр Петрович подождал и разъяснил вопрос:

— Вы говорите, что здесь вы живете. А что вы дома делаете?

— Чего это вы ему «вы» говорите, Петр Петрович,— пренебрежительно сказала Маймистова, одновременно давая понять, что Петр Петрович и по годам может говорить ее сыну «ты», и что по своему умственному развитию мальчик не заслуживает другого обращения.

— Темно,— помолчав, сказал Володя.

Петр Петрович не понял его и переспросил:

— Где темно?— Он даже испугался этого ответа и задал тревожный вопрос: — В глазах темно?

Володя помолчал и потом с усилием (он перестал гладить траву и с тоскою посмотрел на небо) ответил:

— Дома темно.

— У нас свету мало,— объяснила Маймистова.— Не на солнечной стороне живем. Он солнце очень любит.

— Что врачи говорят?— спросил Петр Петрович шепотом.

Маймистова покачала головою и громко ответила — она, очевидно, была убеждена, что Володя ничего не понимает:

— Да что говорят! Безнадежно. Всю жизнь дурачком будет. Если и пройдет это у него, все равно не поумнеет. Вот и возись с ним,— с раздражением прибавила она.— Думали, вырастет, сам себя прокормит, а теперь вот...

Она замолчала и отвернулась. Хоть она и привыкла к болезни сына, но, видно, ей нелегко было говорить. Петр Петрович не нашел, что сказать ей, да и чем можно было ее утешить? Она снова повернулась к нему и сказала:

— Думали отдать его куда-нибудь, да жалко. Чем он виноват? А в больницах знаете как обращаются.

Она с силою выдернула из руки больного пучок травы, который он сорвал и готовился поднести ко рту, заодно одернула рубашку на нем, но тотчас тихо и осторожно погладила его по голове.

— Вот наказание,— сказала она.— Траву ест. Иногда так хочется поколотить его, забываешь, какой он, думаешь, как это можно такое? А потом жалко. Да и он боится.

Володя действительно весь съежился и широко раскрыл рот.

— Ишь, рот раскрывает,— сказала мать,— а никогда не закричит. Отучили в больнице-то, не хочет туда возвращаться. Бедный ты мой! — вдруг погладила она его по голове с бесконечною, хотя и грубоватою порывистой нежностью.

— Он всегда так отвечает?— шепотом спросил Петр Петрович.

— Это вы про «живу» и про «темно»? Всегда. Это он твердо выучил.

— Скажите, Володя,— снова обратился Петр Петрович к больному,— вот вы сидите и все как будто думаете. О чем вы думаете?

Володя только что, и то не совсем, выпрямился на скамейке. Он посмотрел на Петра Петровича, и тому стало немного не по себе. Взгляд больного был невыразителен, равнодушен, глаза не смотрели, а упирались на миг в одну точку, тусклые, будто покрытые пленкою. Но где-то на дне их блестел огонек, не то жалобный, страдающий, не то пытающийся что-то осмыслить, огонек, который давал понять, что это не овечьи, а человеческие глаза. Это был взгляд из-за тюремной решетки, это был взгляд лежащего без памяти в сорокаградусном жару, а может быть, это был взгляд умирающего без сознания, но в муках. Петр Петрович невольно отвел свои глаза, но этот взгляд так и остался перед ним в траве, на дорожках, на небе. А Володя опустил глаза и быстро сказал своим тихим глухим голосом, без выражения и без окраски:

— Думай не думай, думай не думай...

Петр Петрович вздрогнул и быстро повернулся к мальчику.

— Что вы хотите сказать?— спросил он. Думай не думай — все равно?

Володя бессмысленно кивнул и продолжал твердить шепотом без перерыва:

Думай не думай, думай не думай...

Мать его сказала Петру Петровичу:

— Вы не спрашивайте его, он теперь на любимое свое напал, полчаса будет одно и то же шептать.

Действительно, Володя забыл даже о траве. Он вытянул руки на коленях, вытянул шею и беспрерывно шептал свое: «Думай не думай...»

— Я слышала, Петр Петрович,— вкрадчиво сказала вдруг Маймистова, с интересом посмотрев на него,— что вы тоже нездоровы. На службу не ходите...

Она оборвала, намекнув, что ей кое-что известно. Петр Петрович нахмурился. Его рассердил не намек, он понимал, что многие в городе знают историю его отпуска, его рассердило то, что она сказала «тоже нездоровы», как бы объединяя его со своим сыном.

— Нет, что же,— сдержанно ответил он,— какое

нездоровье! Просто устал. Вот отдохну и опять на службу.

— А Дашенька говорила...— не унималась Маймистова — ей как будто доставляло удовольствие спрашивать Петра Петровича о его болезни, может быть, это отчасти примиряло ее со своим горем.

— Что говорила?— строго спросил Петр Петрович.

Он понимал, что словоохотливая Дашенька, которую весь переулок приглашал помогать в хозяйстве, на каждой кухне рассказывала все, что она видела и слышала у других, но все-таки это было ему неприятно.

— Да нет,— робко ответила Маймистова,— ничего такого она не говорила. Только что говорила, будто вы на службу не скоро пойдете, врач запретил.

— Нет, нет,— строго сказал Петр Петрович,— врач ничего не запрещал. Вот отдохну и пойду.

Служба, как было уже сказано, не интересовала его теперь, не интересовало и мнение других. Но почему-то он считал нужным подчеркнуть, что он вовсе не болен и что он рассуждает как все, то есть в первую очередь думает о службе. Может быть, этим он хотел доказать Маймистовой, что его никак нельзя сравнивать с ее сыном. А доказательства требовались потому, что сумасшедший подросток поразил его воображение гораздо сильнее, чем он ожидал. Он не мог забыть выражение тусклых глаз с далеким огоньком, огоньком, который обнаруживал и в безумном человека и роднил Петра Петровича с ним. А слова Володи, как ни бессмысленно он повторял их, как ни дико они звучали для здорового уха, тоже, как и тот огонек, заключали в себе какую-то мысль, человеческую мысль. Этой мысли было тесно в словах и во взглядах, Володя не умел ее выразить, но она, несомненно, была. Так вот и Петр Петрович, казалось бы, все может назвать, ни глаза, ни слова его не выдают безумия и не могут его выдать, потому что Петр Петрович здоров, а у него тоже есть иное, что живет в нем таким же намеком, как непонятная мысль сумасшедшего мелькает в безумных словах и глазах. Петру Петровичу снова стало не по себе. Разве ж, в самом деле, он был чем-то похож на Володю? Разве это сходство больше, чем вообще сходство всех людей? И неужели же правы те, кто думает, будто Петр Петрович совершал свои странные поступки потому, что и он слегка тронулся умом?

Петру Петровичу очень хотелось дознаться, какая

мысль смущает Володю. Он почему-то думал, что именно на этой мысли мальчик и сошел с ума. Но ему неловко было расспрашивать, да он и не знал, как спросить. Намеки и вопросы Маймистовой были ему неприятны. Он хотел уйти, но отчего-то жалко было покидать Володю. Он искоса взглянул на мальчика. Пользуясь тем, что мать не смотрела на него, Володя жевал траву. Петр Петрович ласково упрекнул его:

— Разве люди едят траву?

Маймистова быстро обернулась и вырвала траву из рук Володи. Но мальчик все-таки ответил Петру Петровичу, повторив одно и то же бесконечное число раз:

— Падаль, падаль, падаль...

— Вот опять он на любимое свое напал,— вздохнула мать.— С этого и началось все, как крикнул он отцу: «Не хочу есть падаль!» Он ведь так мяса и не ест. Понюхает, сморщится и ставит в сторону. Доктор говорил, что есть такая болезнь, потому он и к траве тянется.

— Он всегда так сидит, не бегает, не гуляет?— спросил Петр Петрович.

— Заставишь его! — отмахнулась она.— Куда его ткнут, там он и сидит.

— Значит, по-вашему, Володя, людям нельзя мяса есть?— по-прежнему ласково спросил Петр Петрович.

Мальчик во второй раз взглянул на него и сказал неожиданно ясно и отчетливо, как вполне продуманную и здоровую мысль:

— Людей нельзя есть.

— Это кто же теперь людей ест, Володенька?— нараспев сказала мать.— Коровок едят, барашков.

Она обращалась с ним, как с маленьким ребенком, когда хотела ему что-нибудь втолковать. Он не слушал ее, он снова устремил бессмысленный взор в пространство и гладил рукою траву. Он уже забыл обо всем.

Петр Петрович встал и попрощался. Было еще рано, но пересесть на другую скамейку казалось ему неловко, неудобно, а оставаться дольше с матерью и сыном он не мог. Последние слова Володи, при всей их ясности и детскости, все-таки смутили Петра Петровича. В их простоте ему снова почудился глубокий смысл. Смысл этот был неясен, хотя и было совершенно понятно, что людей есть нельзя. Но ведь Петру Петровичу было неясно и то, что творилось с ним

самим. И он никак не мог отделаться от чувства, что есть в нем самом что-то родственное тихому безумию этого бедного недоросля. Да и очень жалко было Володю. Петра Петровича раздражал пренебрежительный тон Маймистовой, ее слепая уверенность в том, что Володя может говорить только не имеющие никакого значения глупости. Ему казалось, что она должна была бы ловить каждое слово сына и, может быть, ночи напролет биться над разгадкою, а она вместо того одергивала Володю и говорила всем: «Вот послушайте, что за чепуху он несет». И Петр Петрович, попрощавшись, ушел домой.

Но и дома он не скоро отделался от своего впечатления. Он сказал Елене Матвевне, чтобы она не слишком давала волю языку, когда говорит с Дашенькою, а то Дашенька — пустомеля, все выбалтывает по чужим кухням. Но не Дашенька и не вопросы Маймистовой преследовали его. Он думал о словах Володи, ему все казалось, что называть солнце жизнью, мясо — падалью, находить, что до́ма — не жизнь, потому что дома темно, и упорно твердить, что людей есть нельзя,— вовсе не так глупо, не так просто и не так бессмысленно. Но больше слов, больше глухого голоса и безвольной позы запомнились Петру Петровичу тусклые глаза мальчика с тлеющим в них далеким огоньком. Петр Петрович много человеческих глаз видел в своей жизни, видел разные выражения их, умные и глупые, веселые и горестные, но такого он еще не видал, а если и видал, то забыл. Далекий огонек был так жалобен, так слаб и робок, и вместе с тем так тепел, так человечен за стеклянною радужною оболочкою, что Петр Петрович невольно вздрагивал, вспоминая взгляды Володи. И еще в этом огоньке был какой-то вопрос, какой-то немой порыв — тоже жалобный и мучительный — и какое-то знание, для которого нет слов. И Петр Петрович несколько раз тайком подходил к зеркалу и украдкой взглядывал на себя. Может быть, он думал найти тот же огонек в своих глазах и боялся этого, а может быть, найди он этот огонек, он бы что-то понял, к чему-то приблизился, но глаза его оставались теми же, что и раньше, и никакой далекий огонек не мутил и не освещал их.

13. ДВА ПОСЕЩЕНИЯ ЧЕРКАСА

Черкас наконец объявился. Он выбрал такое время, когда детей дома не было, а Елена Матвевна убирала на кухне,— должно быть, он избегал встречи с ними. Вечером, в понедельник, свободный актерский день, он постучал в столовую. Войдя, он оглянулся и явно обрадовался, увидав, что Петр Петрович сидит в комнате один. Черкас несколько похудел за это время, и лицо его стало еще более синеватым. В его движениях, в голосе и во всей его повадке появилась какая-то непривычная робость. Глаза его сильно блестели, их жадный тусклый блеск обнаруживал, что робость их обладателя неестественна. Он тщательно притворил за собою дверь и несколько раз поклонился на ходу — одною головой,— пока подошел к Петру Петровичу.

— Простите меня, пожалуйста, Петр Петрович,— сказал он,— что я все это время не наведывался к вам. Я был очень занят в театре, и у меня случились разные неприятности. Потом, кажется, и ваши семейные не испытывают большого желания видеть меня. Но только, пожалуйста, не думайте, будто я не интересуюсь вашим здоровьем. Я уже говорил вам, что считаю вас одним из прекраснейших людей, которых я встречал. Я всех расспрашивал о вашем здоровье. Одно время я не хотел заходить, чтобы не тревожить вас. Я очень близко принимаю к сердцу все, что касается вас,— прямо как о родном человеке. Я чуть не плакал от сочувствия к вам. Но теперь ведь вам лучше, правда? И еще я хотел вам сказать (Черкас даже

опустил глаза, и голос его дрогнул), мне было так неловко, что я до сих пор не возвратил вам тех пяти червонцев. Но поверьте, не было у меня. Жалованье задержали, других поступлений нет. Умоляю вас, не думайте ничего другого.

Петр Петрович выслушал его совершенно спокойно, но не поверил ни одному слову. Откуда взялось такое недоверие, Петр Петрович сам не знал и не интересовался этим. Может быть, на него все-таки повлияли слова Евина и отношение домашних к Черкасу, а может быть, слова и голос и все поведение актера были как-то неестественны сегодня. Но Петр Петрович не рассердился и даже не держался настороже. Черкас все-таки по-прежнему занимал его. И он пригласил актера присесть.

— С огромным удовольствием,— ответил Черкас,— даже с наслаждением. Я ваше общество очень люблю, а сегодя у меня свободный день.

Он уселся рядом с Петром Петровичем, вздохнул, помолчал и осторожно сказал потом:

— Я слышал, Петр Петрович, у вас были еще неприятности из-за этих пяти червонцев. Ваши сослуживцы. или один сослуживец, позволили себе высказать какое-то наглое подозрение. Мне так больно, что все это из-за меня. Если б вы пожелали, я бы вам расписку выдал в получении заимообразно пятидесяти рублей от вас, как оправдательный документ.

— Мне еще пока и на слово верят, Аполлон Кузьмич,— ответил Петр Петрович.— И потом, эти деньги покрыты, вы мне их лично должны.

— Мне так совестно,— снова вздохнул Черкас,— что я их задерживаю. Но что же делать, Петр Петрович, когда нет. Я в очень стесненных обстоятельствах сейчас.

— Как же вы это так?— с любопытством спросил Петр Петрович.— Вы ведь, кажется, прежде не нуждались.

— Обо мне всякое говорят,— явно забегая вперед, вкрадчиво ответил Черкас.— Вы ведь знаете, Петр Петрович, что такое клевета. У меня язык довольно острый и мысли очень вольные — этого люди не любят. Я, кажется, никому зла не причинил, а часто узнаю, что люди, которых я иногда и в глаза не видал, говорят обо мне разные гадости, как худшие враги. Вот, например, сослуживцы ваши меня терпеть не

могут, даже не кланяются и всячески мне это показывают, а один, такой мрачный и высокий, чуть не накинулся как-то на меня. А ведь я их всего-навсего один раз видел — у вас на именинах — и, кажется, никому ничего не сказал. Я живу на жалованье, Петр Петрович, и жалованье мое небольшое. Я и не обедаю часто, а если одет прилично, так это потому, что я актер, мне иначе нельзя.

— Меня вот что интересует,— сказал Петр Петрович.— Откуда вы все знаете, кто что сказал, кто что про вас думает? Вы так говорите, как будто все слышали сами и у других в душе побывали.

— А разве я ошибаюсь? — вкрадчиво возразил Черкас.— Скажите сами, Петр Петрович, разве я ошибаюсь?

Петр Петрович подумал, постарался вспомнить, что говорил Черкас и что было на самом деле, и должен был признаться, что до сих пор актер не ошибся ни разу. Это неприятно поразило Петра Петровича, и он посмотрел на собеседника с легкою враждебностью. Черкас этого не заметил, он, казалось, был только очень доволен немым признанием Петра Петровича.

— Ну, вот видите,— торжествующе сказал он.— Я прав.

— Да,— протянул Петр Петрович и почувствовал вдруг желание обязательно сказать или сделать что-нибудь Черкасу наперекор и каким-нибудь образом добиться, чтобы актер не всегда оказывался прав.— Только я вас не о том спрашиваю. Я спрашиваю, как это выходит, что вы не ошибаетесь. Откуда вы все знаете?

Черкас помолчал. Сумерки сгустились, и Петр Петрович в темноте неясно видел лицо собеседника. На улице было очень тихо, на кухне Елена Матвевна переставляла тарелки. Время, казалось, шло еще медленнее, чем обычно, хотя за всю болезнь Петра Петровича оно не шло, а ползло. Наконец Черкас ответил, и голос его зазвучал несколько издалека и таинственно — оттого, может быть, что он опустил голову и не глядел на собеседника.

— До меня многое доходит, Петр Петрович. Люди говорят кому-нибудь, а не стенам. У актеров всегда много знакомых, а сплетню каждый с удовольствием повторит, да и городок у нас небольшой, в общем, все друг друга знают, если и незнакомы.

Он снова помолчал — сегодня он говорил тише и медленнее обычного, словно тщательно взвешивая все, что собирался сказать,— он вздохнул и заговорил снова, как бы нехотя, вскользь, невольно в чем-то признаваясь:

— Конечно, так всего не узнаешь, тем более что я не люблю слушать сплетни. Я предпочитаю другие разговоры, вы знаете. Но ведь люди не умеют скрывать то, что они думают. У них это часто бывает написано прямо на лице. Вот, например, когда мне Елизавета Петровна открывает дверь, я по лицу ее, по взгляду, по тому, как она с сердцем хлопает дверью, вижу, что она меня за что-то не любит. Это не трудная наука, Петр Петрович, догадываться, что о тебе люди думают. А потом, стоит только немножко раскинуть мозгами, чтобы догадаться, почему они так думают, откуда у них взялись такие мысли. Откуда слух, что я не нуждаюсь? Оттого что одеваюсь хорошо и бываю везде, вот откуда. А что я при этом стараюсь ничего не тратить и часто принужден не обедать, это я, конечно, и сам скрываю, потому что совестно, и об этом никто не знает. Это я только вам признаюсь, из дружбы.

— Ну, хорошо,— прервал Петр Петрович,— а откуда вы знаете, что меня обидел один сослуживец?

— Прямо допрос,— усмехнулся Черкас.— И вас тоже такие простые вещи удивляют? Я думал, вы выше этого, Петр Петрович. Я живу с вами в одной квартире. Когда вам бывает нехорошо, я слышу и прислушиваюсь даже, потому что ваше здоровье меня очень волнует. Это ведь сейчас же заметно по суете.

— Но вы и дома никогда не бываете.

— Нет, все-таки бываю, а на то, чтобы заметить суету, много времени и не нужно. Я узнаю, что у вас кто-то был. Кто же это мог быть? Конечно, сослуживцы, и, конечно, не из тех, кто вам близок,— иначе вы бы не почувствовали себя плохо после их ухода. По числам соображаю, что платят жалованье. Ясно, что и вам его принесли. Кто принес? Бухгалтер, он у вас этим заведует. Вспоминаю, что вы говорили, как ваши сослуживцы внесли за вас те деньги, которые я у вас занял. Значит, вам принесли жалованье с вычетом, и, конечно, поговорили об этом, и, конечно, приплели меня. Ведь об этом все знают. Про меня думают, что я богач, значит, мне деньги не нужны. Вот, наверно,

и высказали подозрение, что я у вас денег не брал, а вы это придумали. Верно?

Петр Петрович даже не нашелся что сказать. Эти выкладки Черкаса снова неприятно поразили его. Ему показалось, что актер слишком много видит, и в том числе, как на ладони,— самого Петра Петровича Обыденного. Он усмехнулся и процедил:

— Здорово! Даже как-то неловко становится.

— Это так просто,— скромно возразил Черкас.— Без этого не проживешь, заклюют. Мы, актеры, это очень хорошо знаем.

— Ну, а я не знаю,— слегка раздраженно ответил ему Петр Петрович.— Я об этом никогда не думал. Мне это даже фокусом кажется, как вы ловко все подобрали.

Черкас пристально взглянул на Петра Петровича. Петр Петрович почувствовал этот взгляд и в темноте. Черкас снова вздохнул и печально сказал:

— Я знаю, я вам даже неприятен сейчас, Петр Петрович. Вас все-таки смутил Евин — так, кажется, фамилия вашего бухгалтера? Вы забыли, что он вас обидел больше, чем меня. О себе вы знаете, что он налгал, а про меня сомневаетесь. Я ничем не могу вас убедить. Какие, в самом деле, у меня доказательства? Мне очень больно, Петр Петрович, что и вы так ко мне относитесь. И еще эти пять червонцев, которых у меня нет, чтобы отдать вам...

Может быть, раньше Петр Петрович успокоил бы Черкаса, сказал бы, что ничего дурного о нем не думает и что пять червонцев — пустяки. Но он не верил сейчас актеру, не верил его печальному, жалобному голосу, его словам. Петр Петрович не понимал, что, собственно, вызывает в нем недоверие, но он не считал нужным сказать Черкасу хотя два-три ласковых слова или возразить на то, будто его отношение к актеру переменилось. Темнота все сгущалась, собеседники молчали. Наконец Черкас поднялся и еще печальнее сказал:

— Что ж, я пойду. Я только о здоровье пришел справиться, я вам мешать не буду. Кажется, я не нужен вам. А пять червонцев я отдам при первой возможности, из первых же денег, что получу. Я надеюсь, что это будет очень скоро.

Он помолчал, выжидая, не скажет ли ему что-нибудь Петр Петрович. Но Петр Петрович молчал. Он вовсе не хотел удерживать Черкаса. Он не знал, о чем

говорить с актером, слова Черкаса были ему неприятны и неприятен сам Черкас. Тот подождал минутку, сказал совсем упавшим голосом: «До свиданья, Петр Петрович»,— и медленно вышел из комнаты.

Петр Петрович снова остался один. Ему не хотелось зажигать свет и не хотелось видеть кого-нибудь. Черкас спутал его мысли. Он невольно возвращался к словам актера и все-таки никак не мог понять, отчего тот все знал. Ему показалось, что Черкас именно все знал, что от него не могло быть никаких тайн. Как ни убедительно звучали выкладки танцора, как ни ловко он подобрал события и расположил их, как ни естественны были все его заключения, все-таки оставалось что-то таинственное и непонятное в его знании.

Петр Петрович устал. Черкас всегда вызывал в нем напряжение всех сил ума, а сегодня особенно. В конце концов это слишком утомляло. Было много неясного, раздражающего и даже волнующего в словах и во всем поведении танцора, что и после его ухода мешало привычному спокойствию. Вероятно, правы были те, кто Черкаса не любил. Петр Петрович не подозревал жильца в том, что рассказал о нем Евин. Но Петр Петрович должен был признаться самому себе, что Черкас перестал вызывать в нем симпатию и что он действительно неприятный человек, каким его и считали все.

Вечер расправил крылья и плотно накрыл ими город. В комнате было совсем темно, окна казались серыми, туманными пятнами. Внизу у чьих-то ворот раздавались негромкие слова. Люди разговаривали неспешно, от скуки растягивая слова. Слова то сливались в однотонное стрекотанье, то рассыпались, как мелкий горох. Несколько звезд мерцало уже на небе, но еще очень тускло. Стало чуть прохладнее, но духота еще не прошла, нагретые за день камни источали тепло.

Без стука, без предупреждения в комнату снова вошел Черкас и остановился перед Петром Петровичем. Петр Петрович не удивился его появлению, ни тому, что актер вошел без стука, вопреки своей обычной вежливости. Петр Петрович кивнул головою, как бы своим мыслям, и тихо сказал:

— Я знал, что вы вернетесь, Аполлон Кузьмич. Я даже знаю, зачем вы пришли.

Черкас стоял молча, не двигаясь. Петра Петровича очень забавляло, что он знает все наперед, что сделает Черкас, как Черкас знал все, что делали другие. Петр

Петрович не думал о том, почему это так случилось, что он способен сейчас все разгадать. Он торжествовал. Он сказал, широко улыбаясь:

— Вы мне деньги принесли, я знаю.

Черкас кивнул, молча достал туго набитый бумажник и вынул оттуда бумажку в пять червонцев. Было темно, но Петр Петрович ясно видел на бумажке цифру пять. Лица Черкаса он зато не видел, но это не показалось ему странным. Черкас протянул ему деньги.

— Положите на стол,— весело сказал Петр Петрович,— мне ее некуда деть.

Черкас молча же послушно исполнил приказание и снова вырос перед Петром Петровичем.

— Вы напрасно беспокоились,— еще веселее сказал Петр Петрович.— Мне сейчас деньги не нужны. Хотя они вам тоже не нужны.

Черкас кивнул. Конечно, Петр Петрович сейчас все понимал и, главное, все знал. Как же ему было не торжествовать? Он продолжал:

— Вообще деньги — что! Деньги — пустяки. Ну, у вас, например, куча денег, я видел, да я и так знаю. А на что вам деньги?

Черкас пожал плечами, снова достал набитый деньгами бумажник — там, может быть, лежало несколько десятков червонцев или иной валюты — и протянул Петру Петровичу. Своим жестом он как бы даже просил, не только предлагал ему эти деньги взять. Петр Петрович рассмеялся вслух:

— Нет, Аполлон Кузьмич, мне-то, наверно, деньги не нужны. Ну, скажите сами, что они мне могут дать?

Черкас наклонил голову, словно соглашаясь. Бумажник в его руке растаял — так показалось Петру Петровичу,— но, конечно, он просто спрятал его.

— Эх, Аполлон Кузьмич,— сказал Петр Петрович,— я ведь знал, что вы меня обманывали, когда тут лазаря пели. Вы думали, я такой легковерный, а я все вижу. Вы ничего не можете, я раньше думал, что вы что-то знаете, а на самом деле вы ничего не знаете, вы знаете меньше меня. Я, правда, сказать не могу, но все-таки знаю, а вы ничего не знаете. Зачем же вы хотели меня обмануть?

Черкас сделал какой-то неопределенный жест, означавший, может быть, что он вовсе не пытался обмануть Петра Петровича, а может быть, что он иначе не

может и что, хотя он знал, что Петр Петрович видит его насквозь, принужден был все-таки вести свою линию. Петр Петрович и тут понял его.

— А верно ведь,— сказал он,— в общем, вы, Черкас,— бедное создание. Как-будто и знаете все, и деньги есть, а на самом деле ничего у вас нет.

Черкас не возражал. Петру Петровичу даже показалось, что кивком головы Черкас подтвердил мысль, высказанную им.

— Ну, вот видите,— торжествующе сказал он.— Ну, что бы вы, например, могли мне предложить? Я уж вас один раз об этом спрашивал, вы мне тогда пивные и еще какую-то ерунду предложили. Нет, я вас теперь серьезно спрашиваю: что бы вы могли мне предложить? Разговоры ваши я знаю, сказать мне вы ничего не можете. Денег мне не нужно. Пить я не пью. Для всего другого я стар. Уезжать не хочу, мне и тут хорошо. Вы думаете, что все можете, все знаете. Ну, что вы мне можете предложить?

Черкас помолчал, потом покачнулся в воздухе, как Петру Петровичу показалось,— нелепо и в первый раз за это свое посещение открыл рот. Он сказал очень тихим, не своим вовсе голосом:

— А чего бы вы сами хотели, Петр Петрович?

Петр Петрович изумленно поглядел на актера. Изумлен он был тем, что Черкас заговорил. Он почему-то не ожидал этого. Должно быть, он думал, что Черкасу уже совсем нечего сказать. Но он быстро забыл о своем изумлении и на секунду задумался.

— Чего бы я сам хотел? — медленно переспросил он.— А ведь я, пожалуй, и не знаю, чего бы я сам хотел. Я, может быть, вообще ничего не хочу.

Черкас молчал. Петру Петровичу показалось, что он улыбается. Петр Петрович рассердился.

— Вы думаете, что каждый человек непременно чего-нибудь хочет,— сказал он.— А вот я ничего не хочу, вот так-таки ничего не хочу, и все.

— Подумайте, Петр Петрович,— так же мягко и тихо сказал Черкас.— Может быть, вам чего-нибудь и захочется. Может быть, просто так чем-нибудь заинтересуетесь, что-нибудь захотите узнать, повидать. Вы подумайте, не отказывайтесь.

— Я не отказываюсь,— сердито ответил Петр Петрович,— я только не хочу ничего. Сами вы ничего не можете придумать, хотите, чтобы я за вас придумал.

— То, что я могу придумать, вам неинтересно, вы сами сказали,— возразил Черкас.

Петру Петровичу, правда, жаль было упускать такой случай, и вместе с тем он сердился на себя, что ничего не мог придумать. Ведь он же хотел что-то узнать. Что это было? От Черкаса ничего не выпытаешь, но если он сам предлагает...

— Надо подумать,— озабоченно сказал он.

— Пожалуйста,— очень вежливо и любезно ответил Черкас,— думайте сколько хотите, я подожду, у меня время есть.

Как нарочно, ни одно желание не приходило в голову Петру Петровичу. Он ничего не мог придумать.

— Что, трудно? — невесело усмехнулся Черкас.— Ничего, думайте, может быть, что-нибудь и придет.

Петр Петрович сердито взглянул на него.

— Что вы ко мне пристали, в самом деле,— грубо сказал он.— Может быть, хочу, а вам не скажу.

— Как вам угодно,— ответил Черкас.— Только потеряете случай.

Петр Петрович не слыхал его слов. Какая-то мысль, какая-то смутная догадка мелькнули вдруг перед ним.

— Вот разве...— тихо сказал он и тотчас оборвал себя самого.— Да нет, это невозможно.

— А что такое? — вежливо осведомился Черкас.

— Чепуха,— даже рассердился Петр Петрович.— Этого ни один человек не видал. Это в сказках только, да и то не рассказывается подробно, потому что этого никто не знает.

— Скажите все-таки,— так же вежливо, но твердо предложил Черкас.

— Мне бы хотелось, пожалуй,— медленно и задумчиво сказал Петр Петрович, не глядя на актера и внимательно прислушиваясь к собственному голосу,— да, другого мне ничего не хочется, да и это только — любопытство, а настоящего желания у меня нет,— мне бы хотелось повидать свою смерть. То есть это глупое слово — повидать. Не повидать, а... я не знаю... поговорить, может быть... нет, это еще глупее... ну, почувствовать, что ли... нет, мне срока не нужно знать, я уж не такой выдумщик... одним словом... Ну, вы, словом, понимаете...

— Я так и знал, что вам именно этого хочется,— очень тихо и очень серьезно ответил Черкас.

— Это невозможно,— быстро обернулся к нему Петр Петрович.

— Нет, отчего,— равнодушно возразил Черкас.— Не знаю только, поймете ли вы.

— Чепуха,— сердито сказал Петр Петрович.

— А вот слушайте,— спокойно ответил Черкас.

Петр Петрович обернулся, в комнате никого, кроме Черкаса, не было. Петр Петрович был несколько испуган, хотя не хотел не только показать это, но и признаться в этом самому себе. Он недоумевал. Черкас с закрытыми глазами покачивался перед ним и молчал. Петр Петрович еще раз обернулся. Хотя в комнате было темно, но не чувствовалось ничьего присутствия. Он прислушался. Все было тихо. С улицы все еще доносились негромкие неразборчивые голоса. Он хотел усмехнуться. Черкас явно дурачил его. Но вдруг ему показалось, что он расслышал вдалеке какие-то глухие звуки. Он напряг слух, и уличные голоса пропали, все стало звеняще тихо, и в этой тишине он ясно различил ровный непонятный шум. Постепенно из этого шума образовались шаги — те самые, которые Петр Петрович слышал за спиной во время своей неудачной прогулки. Шаги не приближались и не удалялись, словно кто-то шел под окнами, шел бесконечно, никуда не уходя, только переставляя ноги. Потом мелькнуло лицо Володи Маймистова, тусклый огонек его глаз, и Петр Петрович различил быстрый шепот сумасшедшего:

— Думай не думай, думай не думай...

Больше никаких звуков не было. Черкас все качался перед Петром Петровичем с закрытыми глазами. От нетерпения у Петра Петровича закружилась голова. Он воскликнул:

— Ну, что же, Аполлон Кузьмич!

Черкас медленно перестал качаться и с усилием открыл глаза.

— Это все, Петр Петрович,— совсем тихим, усталым шепотом сказал он.

— Как все? — вскричал Петр Петрович.— А вы обещали!..

— Это все,— с усилием повторил Черкас.— Если только вы поняли,— помолчав, прибавил он.

— Я ничего не понял,— с недоумением сказал Петр Петрович.— Шаги эти, Володя...

— Я не знаю, что вы слышали,— ответил Чер-

кас.— И я больше ничего не могу сказать вам. Я ухожу, Петр Петрович.

— Постойте! — крикнул Петр Петрович, но Черкас поплыл к двери, и оттуда донесся его голос:

— Я еще приду.

Потом он растаял. Петр Петрович вскочил и закричал, протягивая ему вслед руки:

— Постойте!..

— С кем ты разговариваешь тут в темноте? — спросила Елена Матвевна.

Петр Петрович не слыхал, как она вошла. Он небрежно ответил, глядя на дверь и не понимая, куда и отчего ушел Черкас:

— С Черкасом.

— С каким Черкасом? — удивилась Елена Матвевна.— Черкас ушел давно.

— Да нет же, он вернулся,— нетерпеливо ответил Петр Петрович.

Он все еще надеялся, что актер, может быть, и сейчас вернется.

— Петр Петрович,— вскрикнула Елена Матвевна,— да он уже целый час, как ушел. Я сама дверь за ним заперла, и никто не звонил с тех пор.

— Ну, как же ушел,— раздраженно сказал Петр Петрович,— когда он мне деньги принес. Вон на столе пять червонцев лежат, он их сам положил туда.

Елена Матвевна зажгла свет. Супруги одновременно посмотрели на стол. Никаких пяти червонцев там не лежало. Петр Петрович перевел глаза на жену, слегка смутился под ее пытливым испуганным взглядом и мгновенно понял, что все надо скрыть, иначе Елена Матвевна сочтет его сумасшедшим. Он тихо, дрожащим и лживым голосом выговорил:

— Да... должно быть, его и правда не было.

И еще более смущаясь и еще более лживым голосом он объяснил:

— Это я заснул в темноте, а он мне и приснился. Фу ты, глупость какая!..

Он искоса глядел на жену. Необходимо было убедить ее. Кажется, она удовлетворилась объяснением. Но ведь сам он очень хорошо знал, что ни на одну секунду не закрывал даже глаз, пока сидел в темноте. И он знал, что Черкас был здесь, он видел его, он говорил с ним. А деньги... Деньги, может быть, ветер унес.

14. ЮБИЛЕЙ МЫСЛИ

— Аполлон Кузьмич,— приветливо сказал Петр Петрович, когда Черкас снова без стука и шума вошел в комнату и склонился перед ним,— знаете, я вам очень рад. Вы мне, правда, нравились все меньше и меньше, а когда вы рассказали, как вы все узнаете, вы мне даже стали неприятны. Но теперь вы мне опять очень нравитесь. Мне вас даже жалко, не знаю только, за что. У вас вид такой, как будто вы служите у кого-то на посылках и будто служба очень трудная. Я знаю, мне опять скажут, что вас не было. Это, может быть, верно, ведь вы — тот, который в театре играет,— совсем другой. Но я говорю с вами, и вы отвечаете, я слышу. Значит, вы все-таки тут.

Черкас кивнул. Он говорил теперь только в случаях крайней необходимости. Но Петр Петрович знал, что Черкас понимает его и что ему сейчас просто не нужны слова.

— Я все-таки не понял, Аполлон Кузьмич,— задумчиво продолжал Петр Петрович,— что вы мне показали. Я слышал шаги и голос Володи Маймистова — и больше ничего. И я ничего не видал. А вы сказали: это все. Не можете ли вы мне объяснить, в чем же дело. Так это слишком уж просто: шаги и «думай не думай». Это ведь каждый ребенок знает, что, думай не думай, все равно умрешь. Пожалуй, вы меня за простеца считаете. А если еще что-нибудь надо было понять, так каюсь: не понял. Тогда объясните мне, пожалуйста, Аполлон Кузьмич.

Петр Петрович испытующе посмотрел на Черкаса. Но на лице танцора ничего нельзя было прочесть. Он стоял, склонив голову, и слушал терпеливо и внимательно, ничем не выдавая своего отношения к словам собеседника. Он сказал тихим почтительным голосом:

— Петр Петрович, вас ждут.

— Кто меня ждет? — удивился Петр Петрович.

— Вы, вероятно, забыли,— все тем же тихим и почтительным голосом, но настойчиво сказал Черкас.— Сегодня у вас назначен праздник.

— Какой праздник? — вскричал Петр Петрович.— Что вы говорите?

— Вы забыли,— мягко ответил Черкас.— Вы пригласили гостей на сегодня, и они вас ждут.

— Вы с ума сошли,— сердито сказал Петр Петрович.— Каких гостей? Именины мои уже были вместе с рождением. Вы же сами присутствовали.

— Сегодня ваш юбилей, Петр Петрович,— ответил Черкас.

— Какой юбилей? — раздражаясь и ничего не понимая, спросил Петр Петрович.— Что вы выдумываете? Я в распределителе — сколько? Да четвертый год я там служу. Какой же юбилей?

— Тут распределитель ни при чем,— терпеливо, не изменяя ни позы, ни голоса, сказал Черкас.— Распределитель — только часть. Сегодня юбилей вашей первой мысли, Петр Петрович, пятидесятилетний юбилей. Той мысли, которая сегодня позволяет вам видеть меня, когда другие меня не видят. Той мысли, которая причинила вам в последнее время столько неприятностей, но зато отличила вас в толпе. Пятьдесят лет тому назад она была совсем маленькою и робкой. Вы еще помните ее?

Петр Петрович растерянно моргал глазами. Он не мог не верить Черкасу, так убедительно правдив был голос танцора, да и с какой стати стал бы Черкас выдумывать такие вещи? Петр Петрович понимал, что юбилей мысли — большое событие, но он забыл и эту мысль, и то, что он будто бы позвал гостей.

— Нет, не помню,— упавшим голосом робко прошептал он.

— Тогда я вам напомню,— так же спокойно и почтительно сказал Черкас.— Вам было немного больше пяти лет. Ваши родители жили в маленьком заштатном городке, где весною каждый дом утопает в

сиреневых кустах. Но тогда было лето, и, может быть, потому уже созрела ваша мысль. Когда вы были мальчиком, вас летом одевали в белые вышитые рубашки. Их меняли по праздникам. И одна у вас была совсем новая, из тонкого полотна, с удивительно красивым рисунком. Вы сами ее очень любили и берегли. Ее редко одевали на вас — по большим праздникам. Это и случилось в праздник, когда наливались уже первые яблоки. Вам сказали: пойди, поиграй в саду, но смотри не испачкай рубашки. И, любуясь собою, вы осторожно сошли в сад. Вы чинно гуляли по дорожкам, хотя в другое время вы были большим шалуном. Но вот вы увидали высоко на дереве совсем спелое раннее яблоко. Вам так захотелось полакомиться. Вы решили, что рубашка не пострадает, если вы будете осторожны. И с тысячью предосторожностей вы вскарабкались на старую яблоню. Вы протянули руку и сорвали уже яблоко. И в это мгновение под вами обломился сук. Держа яблоко в руке, вы упали на землю и довольно сильно расшиблись. Все это было так обыкновенно, но только вы испачкали и разорвали рубашку. Вы не обратили внимания на боль, вы с ужасом подумали: что же теперь будет? Вы боялись нагоняя, но еще больше вам было жалко такой красивой рубашки. Вы бросили яблоко в траву и спрятались в кусты. Солнце померкло в ваших глазах, вы готовы были заплакать. И вот тогда — тихий голос Черкаса зазвучал торжественно,— тогда вы подумали вдруг: «Мне не жалко этой рубашки, все равно я вырасту, она мне станет мала, я не смогу ее носить, да и до того она, наверное, разорвется». Вам стало бесконечно грустно. Вы еще были слишком молоды, чтобы что-нибудь понять,— но все люди, и самые старые, понимают очень мало,— вы почувствовали вдруг, и оттого-то вам стало так печально и сладко,— что все проходит, ничто не ценно, и все умрет. Сегодня юбилей вашей первой мысли, Петр Петрович.

Петр Петрович так ясно вспомнил все, о чем рассказывал Черкас, что даже слезы навернулись на его глаза. Он увидал себя мальчиком в отцовском саду, он снова испытал то детское огорчение, впервые разлившееся на весь мир и ушедшее от маловажной своей причины.

— Да, я помню,— сказал он дрогнувшим голосом и вытер слезы,— только... разве это — праздник?

— С этого все началось,— уклончиво ответил Черкас.— Если вы припомните, та же мысль посещала вас очень часто. Вы только никогда не высказывали ее, но она-то и дала вам возможность прожить ваши пятьдесят пять лет, ни за чем не гоняясь и ничему не огорчаясь. И теперь она одна успокаивает вас.

— Но вы, кажется, сами говорили,— с недоумением возразил Петр Петрович,— что сидеть на месте это не значит жить.

— Вас ждут,— напомнил Черкас и еще тише прибавил: — Это говорил другой, которого видят все.

— Я иду,— сказал Петр Петрович,— но я никого не звал.

— Вы думали о них,— ответил Черкас.

Они оказались в большой комнате — если это была столовая, то стены ее, очевидно, раздвинулись. Там сидело очень много людей. Петр Петрович сперва никого не узнал. Они все повернулись к нему, когда он вошел, и, улыбаясь, глядели. Они что-то говорили, но он не слыхал слов, он видел только, как медленно движутся губы. Жесты гостей были мягки и закончены, ни один не обрывался, но плавно переходил в другой.

— Вы хотите говорить с кем-нибудь? — спросил Черкас,— вы узнаете гостей?

Петр Петрович испытывал такое успокоение, какого не знал давно. Он не узнавал людей, но и не любопытствовал. Не узнавая, он знал их всех. Он улыбался так же, как и они. Только у Черкаса было строго-спокойное, слегка грустное лицо. Петр Петрович обернулся к нему с сияющим лицом и сказал:

— Я не знаю, о чем говорить. Я всех знаю, только не узнаю.

Черкас поклонился и, выпрямившись, посмотрел на гостей. Один из них встал и подошел к Петру Петровичу.

— Поздравляю вас,— сказал он, и Петр Петрович тотчас узнал в нем преображенного тов. Майкерского,— поздравляю вас от имени всех сотрудников распределителя. Вы много лет были всем нам верным другом, Петр Петрович. Вам казалось, может быть, что в последнее время мы были несправедливы к вам. Вас, вероятно, очень огорчало все, что случилось с вами. Но мы только помогали вам понять себя, Петр

Петрович. Мы были тем суком, который обломился под вами в вашем детстве. Этот сук должен был обломиться, чтобы вы упали и задумались. Боль проходит, и вы теперь, вероятно, благодарны тому суку. Петр Петрович, мы сложились и сделали вам общий подарок к сегодняшнему празднику. Мы заказали ключи к ящику тов. Евина. Один ключ будет всегда у него самого, другой — у меня. А третий мы просим вас принять как наш подарок, чтобы он всегда лежал у вас, чтобы вы в любое время могли открыть им ящик и взять оттуда все, что вы захотите. Евин, дайте ключ!

От толпы гостей отделился Евин и с глубоким поклоном подал Петру Петровичу изящный резной ключ. Даже Евин был сегодня другой, даже Евин, казалось, все понимал, и Петр Петрович относился к нему так же, как и к остальным,— с глубокой нежностью и любовью.

— Вам, может быть, кажется, что я больше всех виноват перед вами, Петр Петрович,— тихо сказал Евин,— но тов. Майкерский объяснил уже вам, почему мы все должны были поступать так, как мы поступали. Все-таки я хочу просить вас принять и от меня подарок. К этому ключу я заказал цепочку, чтобы вы не могли его потерять.

Петр Петрович оценил подарки и значение их. Он знал, что не должен благодарить, потому что здесь умеют понимать без слов. Он был так тронут, что глядел на все сквозь дымку,— глаза его увлажнились. Он кого-то искал в толпе, он не знал — кого, но не стоило называть этого человека или сказать о нем даже Черкасу. Петр Петрович знал, что нужный человек сам подойдет к нему и тогда он его узнает. Тов. Майкерский и Евин отошли, толпа ждала взгляда Петра Петровича. Он посмотрел, и люди поплыли перед ним, как на карусели, едва-едва пущенной в ход. Когда они приближались к нему, он узнавал знакомые улыбающиеся лица. Так проплыли мимо все домашние и все сослуживцы, все знакомые и случайные встречные, Володя Маймистов, по улыбке которого Петр Петрович понял, что он теперь все может сказать, о чем думает, и беспризорный мальчик, который однажды пожалел Петра Петровича в городском саду. Проплыли и такие люди, которых он давно забыл и которые умерли. Райкин и Геранин тихо наигрывали незнакомую нежную мелодию на странных, невиданных инстру-

ментах. Камышов и Елизавета улыбались друг другу и ни от кого не скрывали своего счастья. Все они были так милы и так дороги Петру Петровичу, он каждого нежно любил, с ними не надо было говорить, они всё знали, и всё о них знал Петр Петрович. Проплыли Петракевич, Лисаневич и Язевич — все трое были веселы, как Язевич, и тихи, как Лисаневич. Веселее всех улыбался Ендричковский, и глаза его сказали Петру Петровичу: «Тебе пятьдесят пять. Только-то? Всего только пятьдесят пять?» И также одна проплыла Елена Матвевна со своею доброю улыбкой, и Петр Петрович видел, что и она ни за что не беспокоится, что она все поняла и любит его еще больше, чем в день их свадьбы.

А того человека, которого он искал, не было. Петр Петрович очень удивился, что его нет, и с беспокойством поглядел на Черкаса. И вся карусель лиц исчезла, стены одел серый колеблющийся сумрак, и они еще раздвинулись. В огромной пустой зале стояли теперь только двое: Петр Петрович и Черкас. Черкас слегка согнулся, не то ожидая приказаний, не то к чему-то прислушиваясь. Беспокойство охватило Петра Петровича целиком. Он не мог говорить, и он тоже начал прислушиваться. И он услыхал снова те шаги, которые слышал на прогулке и тогда, когда просил Черкаса свести его со смертью.

— Я не хочу! — воскликнул вдруг Петр Петрович.— Я не хочу этого! Я хочу тех!

Казалось, Черкас слегка удивился. Он посмотрел на Петра Петровича и сказал спокойно, как всегда:

— А я думал, вы именно этого и ждете.

Но Петра Петровича охватил дикий страх, даже руки его похолодели, а сердце бешено застучало.

— Нет, нет! — закричал он в исступлении.— Не хочу! Верните тех, верните!

Усмешка чуть-чуть тронула бледные губы Черкаса.

— Хорошо,— сказал он.— Вернемся назад. Сегодня ваш праздник, вы можете приказывать. Кого вы хотите видеть?

Свет зажегся снова яркий, стены выплыли из тумана и твердо стали на свои места. Петру Петровичу показалось, что Черкас усмехнулся презрительно, но ему некогда было думать об этом. Нестройный шум, все усиливаясь, послышался в воздухе. Это возвращалась назад карусель. Страх прошел, но беспокойство оста-

лось. Теперь карусель неслась бешено, Райкин и Геранин с искаженными лицами с силою вытягивали из своих инструментов самые громкие, пронзительные звуки. Петр Петрович узнал мелодию — они снова играли ту плясовую, под которую на его именинах плясал Черкас, только темп ее был еще бешеней. Петр Петрович опять взглянул на Черкаса, ища объяснения у него, но танцор стоял рядом замкнутый, холодный и улыбался еще презрительнее. Петр Петрович не решился задать ему вопрос. Он глядел на сумасшедшее верчение карусели, на искаженные лица тех, кто только что так спокойно и приветливо улыбался ему. Черкас поднял руку, и карусель разом остановилась, и оборвались все звуки. Петру Петровичу стало еще беспокойнее, потому что искаженные лица в тишине казались особенно отталкивающими, даже страшными. Он не выдержал и вскрикнул:

— Пусть лучше вертятся!

Но Черкас, казалось, не слыхал его. Он опустил руку и пристально посмотрел на толпу. И тотчас из нее выбежали, приплясывая и кривляясь, тов. Майкерский и Евин. Их трудно было узнать, такие оскаленные, перекошенные улыбки раздирали их лица, такие дикие прыжки они делали, приближаясь. Петр Петрович скорее догадался, что это они, а не узнал их.

— А, тов. Обыденный, тов. Обыденный,— заговорил тов. Майкерский, кривляясь и выкрикивая слова.— А вы расписались внизу на листе, вы не опоздали сегодня, вы свое место заняли в графе или пропустили его для мальчишек? Доброта вам портит, тов. Обыденный, порядок на службе прежде всего! За опоздание — штраф, за опоздание — штраф! А где у вас накладная, тов. Обыденный? Я, кажется, послал вас за накладной, а у вас в руке пять червонцев. Где вы взяли пять червонцев, тов. Обыденный? Жалованье только завтра, жалованье только завтра! А я знаю, вы деньги отдаете жене, у вас на руках не бывает таких сумм. Где же вы взяли пять червонцев, тов. Обыденный, где вы взяли пять червонцев? Я ведь посылал вас за накладной. Я ясно сказал: принесите мне накладную для проверки. Нет, не прячьте деньги в карман. Я и в кармане их увижу. Я сейчас позову всех сотрудников, мы пойдем и осмотрим ящик, и мы установим, откуда эти деньги. Вы говорите — болезнь. Нет, это не

болезнь, тов. Обыденный, это пять червонцев, которые вы украли! Кража — не болезнь!

— Кража — не болезнь,— подхватил Евин и перекувыркнулся в воздухе в полном восторге и исступлении.— Я нарочно не запер ящика, я у дверей стоял и подсматривал, я знал, что вы вытащите деньги. Как вам не стыдно, Петр Петрович, так подводить сослуживца! Мало того, что скрали, хотели еще всё на меня свалить. А если б меня отдали под суд? Хорошо, что я за вами следил.

— Мы сейчас спросим всех,— перебил его тов. Майкерский.— Мы устроим общее совещание. Мы спросим всех, всех. Нет, нет, держите деньги в руке, тов. Обыденный, это улика.

Петр Петрович действительно увидал, что в руке у него лежит бумажка. Он хотел бросить ее, но бумажка приклеилась к ладони и не отставала. Он хотел отодрать ее другою рукой, но и это не помогло. Он умоляюще посмотрел на Черкаса. Черкас пожал плечами.

— Вы сами хотели,— сказал он небрежно.

— Петракевич! — с хохотом и восторгом, захлебываясь, крикнул тов. Майкерский,— вы главный защитник тов. Обыденного. Что вы скажете нам?

Петракевич вскочил, как старый солдат, руки по швам, плечи выпрямлены, ноги вместе, голова задрана,— и прокаркал вороной:

— Сомневаюсь.

— В чем сомневаетесь? — спросил вынырнувший Евин.— Вы меня из дому выкинули тогда. А теперь?

— Сомневаюсь,— повторил Петракевич.

— Да в чем же? — нетерпеливо крикнул тов. Майкерский.

— В нем,— указал Петракевич на Петра Петровича.

— А что? — спросил тов. Майкерский.

— Он Черкасу денег не давал,— отрезал Петракевич и сел, словно разом прихлопнули складную игрушку.

— Ендричковский! — высоким фальцетом вызвал тов. Майкерский.— Вы тоже защитник. Ваше мнение и совет. Вы все еще думаете, что тов. Обыденный болен?

Ендричковский вскочил и выбежал вперед.

— Болен, болен,— закричал он.— Воровство — тоже болезнь!

— Вы опять говорите чепуху,— сморщился тов. Майкерский.— Кажется, здесь можно было бы и воздержаться от вечных шуток. Но вы признаете, это — воровство? А что с Черкасом?

— Выдумка,— махнул рукою Ендричковский.

— Садитесь, тов. Ендричковский,— торжествующе крикнул тов. Майкерский.— Райкин, Геранин, а вы?

— Аполлон Кузьмич,— в отчаянии крикнул Петр Петрович,— да скажите же им, что вы взяли у меня пять червонцев! Вот вы, наконец, здесь!

Черкас покачал головою.

— Они не видят меня,— тихо ответил он.— Только вы видите меня.

— Это выдумка — Черкас! — завопил Евин.— Никакого Черкаса нет! Никому он денег не давал! Просто попался и выдумал!

— И плохо выдумал,— хором сказали все сотрудники.— Мы не поверили.

— Просто так, просто так, просто так,— на все лады запел Евин, кривляясь и прыгая вокруг Петра Петровича.— Мы тебе покажем «просто так»!

— Подождите, Евин,— с шутовскою торжественностью сказал тов. Майкерский.— Может быть, мы пристрастны. Спросим мнение семейных. Прошу вас, Елизавета Петровна.

Елизавета об руку с Камышовым подошла к Петру Петровичу. Он не узнал в развязной девице своей дочери, а в наглом молодом человеке — ее жениха. Они бесстыдно усмехались Петру Петровичу в глаза, и Елизавета сказала:

— Мы этого не понимаем. И Константин тоже. Может быть, это мама понимает. Спросите ее.

— Разрешите потревожить вас, Елена Матвевна,— подскочил к Елене Матвевне тов. Майкерский.— Вам, конечно, трудно осудить вашего мужа. Но для общественной пользы, для пользы службы...

Елена Матвевна одна не улыбалась. Петр Петрович хотел кинуться к ней, но ноги его приросли к полу. Он взглянул на нее умоляющим взглядом и протянул к ней руки. Она низко опустила голову, и он увидал, что и она не понимает его.

— Ага! — закричал тов. Майкерский.— Вот как говорится правда, а не «просто так»! Все согласны?

Все повскакали, и поднялся страшный крик. Все указывали пальцами на Петра Петровича, кривлялись и

что-то кричали. Опять перед ним мелькнули все знакомые лица — вот ломаются сотрудники, вот плачет Елена Матвевна, вот гогочет бессмысленным смехом сумасшедший Володя Маймистов. Это было невыносимо страшно и отвратительно, и Петр Петрович закричал, пытаясь схватить Черкаса за руку:

— Довольно, довольно! Не хочу! Уж лучше того! Все лучше!

Черкас поднял руку. Вмиг все исчезли, померк свет, и стало звеняще тихо.

— Я говорил вам, что то лучше,— тихо сказал Черкас.— Мне очень жаль, но вы сами испортили свой праздник.

Петр Петрович закрыл руками лицо.

— Мне страшно,— прошептал он.— Я боюсь и этих и того. Пожалейте меня, Аполлон Кузьмич.

И Петр Петрович заплакал. Он не мог больше вынести карусель, и он не знал, что ждет его теперь, и боялся снова услыхать страшные и непонятные шаги. Он был слишком измучен. Он ничего уже не понимал, ему было некуда даже прислониться, так пуста и призрачна была эта комната, и он не решался кинуться к Черкасу. Он чувствовал себя маленьким затерянным ребенком, беспомощным и одиноким.

— Не плачьте, Петр Петрович,— тихо сказал Черкас.— Это нехорошо в праздник.

Петр Петрович старался удержать слезы и всхлипывания, но не мог. Слезы лились помимо его воли, и помимо его воли содрогались плечи и все тело.

— Я не хочу плакать,— сказал он.— Только я не могу.

— Не надо так бояться,— укоризненно ответил Черкас.— Ведь вы видели, стоит поднять руку, и все исчезает.

Петр Петрович с надеждой посмотрел на него и вдруг заплакал еще горше.

— А если вы не захотите поднять руку,— пролепетал он.— Если вы оставите меня?

Черкас помолчал.

— Это не моя воля,— тихо ответил он потом.— Наоборот, я — ваша воля. Я не оставлю вас, пока...

Петр Петрович вскинул на него глаза, но Черкас замолк и отвернулся.

— Пока что? — крикнул Петр Петрович и с ужасом прислушался. Ему показалось, что он снова слышит те шаги.

— Это не те шаги,— уклонившись от ответа на вопрос и разгадав страх Петра Петровича, сказал Черкас.— Вам нечего бояться. Это идет ваш воображаемый собеседник.

Очень далеко, в самом конце зала, появился кто-то, ступавший очень неуверенно. Петр Петрович действительно успокоился и послушно перестал плакать. Ему было совсем не страшно. Тот, кто появился, был ему бесконечно знаком. Он пристально всматривался, но сначала ничего не мог припомнить. А тот подошел совсем близко, странно напоминая очертания чьей-то грузной фигуры.

— Вы не узнаете? — ласково спросил Черкас издалека.

Петр Петрович почувствовал, что Черкас куда-то уходит и оставляет его одного. Он хотел обернуться, но глаза его были прикованы к вошедшему.

— Вглядитесь же, Петр Петрович,— совсем уже издалека, чуть слышно, сказал Черкас.

Очень давно, когда наступили голод и холод, а старый халат Петра Петровича износился и нового негде и не на что было купить, он приспособил себе старое пальто и сидел в нем, кутаясь, вечерами. Тогда все молчали, и Петр Петрович молчал. Может быть, именно тогда он многое передумал. Когда же тяжелые времена прошли, пальто куда-то запрятали, а может быть, выбросили. И вот это-то пальто было надето на вошедшем.

Петр Петрович сделал шаг, широко раскрыл глаза и понял все. Перед ним стоял он сам, отраженный как в зеркале.

— До свиданья, Петр Петрович, вы меня больше не увидите, я вам теперь не нужен,— еле слышным шепотом донесся откуда-то голос Черкаса.

Петр Петрович жадно глядел на самого себя. Он забыл обо всем, он не помнил больше Черкаса. Он узнал себя, только второй Петр Петрович стоял перед ним воздушный, легкий, много знающий и передумавший. Он тихо сказал:

— Все, что я думал, все, что я видел, с кем говорил и о чем мечтал,— все это был только я сам?

Воображаемый собеседник кивнул.

— И все, что было сегодня, и вчера, и когда мне было пять лет?

Воображаемый собеседник снова кивнул.

— Значит, я сам себе — единственный друг?

Воображаемый собеседник больше не кивал, но Петру Петровичу и не нужно было ответа. Он знал его без слов и без жестов.

...каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Л. Толстой

15. ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Угрюмый Петракевич пришел навестить Петра Петровича. По своему обыкновению, он мрачно поздоровался, сел в угол и молчал. Петр Петрович пристально вглядывался в его лицо, словно припоминая что-то такое, что могло уличить гостя, разоблачить его мысли. Петракевич был очень смущен, он не решался спросить, почему хозяин так подозрительно смотрит на него. Петр Петрович сам прервал молчание. Он неожиданно спросил:

— Петракевич, вы, правда, сомневаетесь во мне?

Петракевич поднял голову и усиленно заморгал. Он не мог понять, чего хочет Петр Петрович, и потому чувствовал себя виноватым. Петр Петрович по-своему истолковал его смущение и спокойно пояснил вопрос:

— Вы сомневаетесь в том, что я дал те пять червонцев Черкасу?

Петракевич густо покраснел. Упрек показался ему несправедливым. Будь на месте Петра Петровича кто-нибудь другой, он бы и разговаривать не стал. Но Петра Петровича он искренне любил, хотя, вероятно, никому не признавался в этом, даже самому себе. Петр Петрович терпеливо продолжал:

— Вы не бойтесь, скажите правду. Вы ведь согласны с Евиным? Вы тоже думаете, что я не давал Черкасу денег, а взял их себе.

— С чего вы взяли? — покраснев еще гуще, ответил наконец Петракевич.— Я только думаю, что плясун выманил их у вас, а вы по доброте тотчас дали.

Теперь он покраснел не от одного смущения. Он не сомневался в Петре Петровиче, но история с деньгами была ему непонятна, как и всем сотрудникам распределителя. Он был уверен, что Петр Петрович болен, и допрос казался ему тоже проявлением болезни. Петр Петрович знал, что Петракевич не может отвечать за слова, сказанные им на юбилее мысли, Петр Петрович понимал, что все, виденное им тогда, было лишь видением, но он не сомневался, что в этом видении люди говорили свою настоящую, может быть, в жизни неизвестную им, правду. И он думал, что этой правды можно добиться от человека всегда, если только суметь ее вызвать.

— Нет,— ответил он Петракевичу,— вы не так думаете. Вы все не так думаете, как говорите мне. Только я-то ведь вижу. Зачем вы отказываетесь от ваших мыслей?

Это было не только непонятно для Петракевича, это было выше его понимания. Теперь он глядел на Петра Петровича уже не с недоумением, а со страхом. Выражение его глаз Петр Петрович снова истолковал по-своему и почти ласково сказал:

— Вы не бойтесь правды, скажите, я же все равно знаю.

— Я говорю правду,— задыхаясь от непривычного напряжения, сказал Петракевич и даже приложил руку к сердцу.— Я вам верю. И никогда я иначе не думал.

Петр Петрович вздохнул. Упорство Петракевича ничего не меняло, а ему стало скучно убеждать человека в том, что он скрывает свои мысли.

— Какой вы упрямый,— сказал он.— Ну, все равно. Я не обижаюсь. Все вы такие. И я все про вас знаю.

Он отвернулся от гостя и уселся в стороне. Говорить с Петракевичем ему стало не о чем. Тот долго ждал чего-то, пыхтел, краснел, поднимал голову и даже открывал рот, отыскав уже как будто нужные слова, но так и не решился заговорить. Молчание на этот раз угнетало его. Он встал с трудом, словно боясь уйти, но чувствуя, что и оставаться дольше не в его силах, и робко сказал:

— Я пойду, Петр Петрович.

Петр Петрович равнодушно кивнул, не поворачивая головы. *Такой* Петракевич не интересовал его. Тот постоял еще с минутку, вздохнул и на цыпочках вы-

шел из комнаты. Он заглянул на кухню, увидал там Елену Матвевну и поманил ее за собой. Вытирая руки о фартук, она, недоумевая, пошла за ним. Он схватил ее за руку и вытащил на лестницу. Там он прошептал, оглядываясь и выкатив огромные глаза:

— Елена Матвевна! Доктора надо! Петр Петрович...— Он не нашел слова и повертел рукою перед собственным лбом. Он не думал о том, какое впечатление произведут его слова на Елену Матвевну. Он был слишком испуган сам.

— Что такое? — бледнея, вскрикнула она.

— Заговаривается,— найдя, наконец, слово, выразительным шепотом сказал Петракевич и махнул рукою.— Не в себе.

Елена Матвевна с секунду смотрела на него огромными глазами и, ничего не сказав, опрометью кинулась в столовую. Он подождал у двери, покачал головою, прислушался, потом осторожно притворил дверь и медленно, чуть ли не на цыпочках, пошел вниз по лестнице.

Елена Матвевна вбежала в столовую и, не думая о том, что она делает, ничего не соображая от непонятного страха, который передал ей Петракевич, вскричала:

— Петр Петрович! Что с тобой? Петр Петрович!..

Муж повернул к ней изумленное лицо и спокойно ответил:

— А ничего. Что со мною может быть? Ты-то что кричишь, Елена?

Елена Матвевна задохнулась. В комнате явно ничего не произошло, и это ее отчасти успокоило. Она могла уже соображать. Она спросила:

— О чем ты говорил с Петракевичем?

— А-а...— протянул Петр Петрович и пытливо поглядел на нее. Она смутилась под этим взглядом, беспокойство ее снова увеличилось.— А что?

— Да, нет,— запинаясь ответила она,— просто он расстроенный какой-то ушел.

Петр Петрович усмехнулся. Он так ясно чувствовал сейчас свое превосходство над другими людьми.

— Расстроенный? — переспросил он.— Это хорошо, что расстроенный.— Он кивнул головою и повторил: — Это хорошо.

— Что ж тут хорошего,— робко сказала Елена Матвевна, не зная, что ей говорить и как держаться.—

Человек навестить тебя пришел, а можно подумать, что ты его выгнал.

— Он сам себя выгнал,— значительно ответил Петр Петрович.— Значит, все-таки понял.

— Да что понял-то? — жалобно спросила Елена Матвевна, думая только о том, как ей избавиться от страха, который передал ей Петракевич.— Что ты ему сказал?

— Ничего особенного,— пожал плечами Петр Петрович.— Я только хотел заставить его сказать мне правду. А он уперся на своем.

— Какую правду? — вскричала Елена Матвевна.

— А что он мне не поверил насчет пяти червонцев, которые я Черкасу дал. А я знаю: не поверил.

— Откуда ты знаешь,— продолжала допрос Елена Матвевна, мучительно решая про себя, имел ли Петракевич основание так встревожить ее или нет, и боясь показать свой страх мужу.

Петр Петрович хитренько улыбнулся — от этой улыбки у Елены Матвевны упало сердце.

— Знаю,— ответил он.— Я уж знаю.

У Елены Матвевны отнялись руки и ноги. Блеск глаз Петра Петровича, его хитрая улыбка и таинственный голос так испугали ее, что она с трудом удержалась от крика. Она кинулась к мужу и схватила его за плечи.

— Что ты говоришь? Что ты знаешь? — вскрикнула она, и глаза ее невольно выдали весь ее испуг.

Петр Петрович быстро вскинул на нее глаза. Он вдруг сообразил, что, конечно, все будут отрицать свои мысли, случайно подслушанные им. Да может быть, они и сами не знают, что думают. И если начать говорить им это в лицо, они придут в ужас и еще ославят его безумным. Он усмехнулся, снял руку жены со своего плеча и уклончиво ответил:

— Да просто я думаю, что Петракевич тогда поверил Евину. Ну, я и спросил его, а он мне ответить не смог. Я понимаю: может быть, это и странно, что я деньги взял. Может быть, выходит так, что хочется поверить Евину. Ну, и верь. Только зачем скрывать, зачем врать?

Как ни тяжело было Елене Матвевне услышать, что Петр Петрович все еще, очевидно, мучается из-за тех денег и так болезненно переживает отношение других к своему непонятному поступку, его, казалось,

трезвые слова успокоили ее. Так сумасшедшие не говорят. Вопреки уверениям Петракевича, Петр Петрович вовсе не заговаривался. Просто он был, вероятно, слишком настойчив, а Петракевич обиделся и вообразил уже бог знает что. Она облегченно вздохнула. И она сказала, уже не придавая никакого значения своим словам:

— Зачем же ты его так расстроил? Он хороший человек.

— Все хорошие,— ответил Петр Петрович.— Только как когда.

Он думал о своем — о том, как на юбилее мысли все сперва поздравляли его, а потом издевались. Тогда он увидал людей настоящими. Но для Елены Матвевны его слова не имели иного значения и прозвучали вполне естественно. Она вспомнила, что на кухне перекипает суп, и сказала:

— Ну, я пойду. Мне на кухню надо. Ты не огорчайся тут. Книжку возьми, что ли. Ну его, Петракевича. Правда, все они издали только хороши.

Оставшись один, Петр Петрович твердо решил, что больше он никому не проговорится и только вот так, наедине, будет думать о том, что знал он один. Он, собственно, понимал, что появление Черкаса и весь юбилей мысли были только его воображением. Но странно было, что он не мог приказать своему воображению, что Черкас появлялся как будто помимо его воли. Появится ли актер еще раз? Он, кажется, попрощался чуть ли не навсегда. И вот еще воображаемый собеседник. Петр Петрович почувствовал тогда странный восторг. Ему показалось, что он все понимает. А теперь он видел, что он, в сущности, ни о чем не договорился с воображаемым собеседником, ничего не понял. А как вызвать его, он не знал. Только думать о нем — не помогало. Очевидно, на Петра Петровича временами находило какое-то просветление, и тогда он видел все так ясно. Потом он многое забывал. Вот если бы вызвать сейчас, пока он один, хотя бы Черкаса...

В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Петр Петрович.

Вошел Черкас, странно грузный и словно почерневший. Он поклонился и подошел к Петру Петровичу тяжелыми и громкими шагами.

— Что это вы снова стали стучать? — приветливо

спросил его Петр Петрович. Он не догадался, почему актер кажется ему таким тяжелым и грузным, он думал, что по его вызову снова начинается игра воображения.

Черкас очень удивился — так, что даже позабыл поздороваться.

— Как — снова? — спросил он.— Разве я когда-нибудь не стучал? Да и как же можно входить в чужую комнату без стука?

«Настоящий»,— с разочарованием подумал Петр Петрович и вздохнул. Настоящий Черкас его не интересовал. Он ждал другого, того, кто свел бы его опять с воображаемым собеседником. Он пристально посмотрел на актера и подумал о том, неужели Черкас и не подозревает, какую роль он играл в воображении Петра Петровича. Ведь вот сам Петр Петрович живет двойною жизнью и знает об этом. Другие не знают, что он видит их не так, как видят все. Но Черкас?

— Что хорошего скажете, Аполлон Кузьмич? — спросил он, не отвечая на вопрос актера и твердо помня свое решение никому не проговариваться. Но любопытство мучило его, и он не спускал глаз с жильца.

Черкас удивленно глядел на Петра Петровича. Но услыхав обычный вопрос, он не придал значения первой фразе хозяина и вынул тощий бумажник.

— Вот,— сказал он,— я принес вам пять червонцев, Петр Петрович. Вчера жалованье заплатили. Простите, ради бога, что так задержал, но я, право же, не виноват. От всей души благодарю вас. И что у вас из-за этих денег неприятности были, тоже простите, ради бога.

Он протянул бумажку Петру Петровичу и с недоумением спросил:

— Что же вы не берете денег, Петр Петрович?

— Положите их на стол,— быстро сказал Петр Петрович, не спуская с актера глаз. Забавная мысль пришла ему в голову, и он не смог удержаться, чтобы не осуществить ее.— Елена Матвевна,— крикнул он,— Елена Матвевна, пойди-ка сюда!

Черкас — даже он несколько растерялся — робко положил бумажку на стол. Елена Матвевна опрометью вбежала в комнату и воскликнула:

— Что случилось? Фу, как ты меня испугал, Петр Петрович!

Она холодно ответила на поклон Черкаса и с изумлением смотрела на мужа. Петр Петрович улыбался.

Он сидел спиною к столу, на который Черкас положил деньги, и нарочно не оборачивался.

— Подойди сюда,— весело сказал он. Его и в самом деле забавлял опыт, который он предпринимал, и он хотел показать Елене Матвевне, что все происходящее — шутка.

Елена Матвевна взглядом спросила Черкаса, что тут произошло, но актер только незаметно пожал плечами. Она робко подошла к Петру Петровичу.

— Посмотри на стол,— сказал он, не оглядываясь и не спуская глаз с актера.— Что там лежит?

Она нагнулась над столом и, недоумевая, ответила:

— Деньги. Пять червонцев.

Черкас даже открыл рот от удивления. Взгляд Петра Петровича был так пристален, что ему стало неловко, но он не отводил глаз, не зная, к чему бы это привело. Услыхав ответ жены, Петр Петрович разочарованно отвернулся и сказал усталым голосом:

— Ну, возьми их. Это Аполлон Кузьмич долг возвращает.

Елена Матвевна решила, что Петр Петрович хотел иметь хоть какого-нибудь свидетеля, чтобы доказать необоснованность выдуманных обвинений Евина. Она и так считала, что Черкас во многом виноват, и потому сказала ему с упреком:

— Долгонько задержали.

Черкас вспыхнул. Он хотел что-то ответить, но Петр Петрович остановил его. Петр Петрович к чему-то прислушивался. Должно быть, он все-таки волновался, устраивая опыт с деньгами, хотя это и казалось ему только забавною шуткой. И должно быть, волнение приблизило его к тому состоянию, в котором он видал необычайные вещи. Он вопросительно посмотрел на Черкаса. Тот ответил ему изумленным взглядом. Очевидно, дело было не в актере. Деньги Черкаса оказались настоящими, и сам он, значит, не мог сразу перестать быть самим собой. Петр Петрович искоса взглянул на Елену Матвевну. Но и она глядела на него с недоумением и страхом. Он не заметил, что весь выпрямился и что глаза его зажглись странным блеском. Елена Матвевна забыла, что только что сердилась на жильца, и глазами искала у Черкаса объяснения. Но и тот ничего не понимал. Петр Петрович нетерпеливо прошелся по комнате и вздрагивающим голосом сказал:

— Иди, иди, Елена!.. И вы тоже, Аполлон Кузьмич,

извините меня... Мне нужно... мне нужно побыть одному.

Черкас поклонился и пошел к двери. Но Елена Матвевна не двинулась с места и испуганно глядела на мужа. Петр Петрович подошел к ней, взял ее за плечи и повел к двери. Он не мог ждать и притворяться.

— Иди, иди,— сказал он, не думая, что говорит.— Мне нужно... Это ничего. Иди! Я позову потом. Иди!

Он выпроводил обоих за дверь и кинулся в кресло. Он ждал. Он знал: сейчас начнется. В дверь просунул голову Черкас,— Петр Петрович сразу узнал его, это был *тот* Черкас, не настоящий, или, может быть, более настоящий, чем актер, только что сидевший в комнате и скучный. Черкас таинственно прошептал:

— Петр Петрович, будьте осторожны!

Петр Петрович отмахнулся от него. Даже и этот Черкас ничего не понимал, не понимал, что сейчас для Петра Петровича наступает самое важное, перед чем все остальное бледнеет и отступает. Неужели же Петр Петрович и теперь будет с кем-нибудь считаться, думать о каких-то пустяках, о чьем-то спокойствии, о том, наконец, чтобы не выдать себя? Он нетерпеливо махнул рукою Черкасу, и тот исчез.

В комнате никого не было, но Петр Петрович ясно ощущал присутствие того, кто был ему так нужен. Никто не ответил ему, но разве обязательно нужно видеть и слышать? Есть множество других способов понять. Вот настала минута, когда все станет ясно. Может быть, надо задавать вопросы? Или сразу явятся ответы, воображаемый собеседник знает все сам? Петр Петрович ждал. Он закрыл глаза и сосредоточился, чтобы ничто ему не мешало.

А за дверью тоже ждали. Елена Матвевна не отпустила Черкаса, ей стало вдруг страшно. Она только заставила его постучать детям. Елизавета и Константин вышли в коридор. Мать быстрым шепотом рассказала им, как Петр Петрович выпроводил ее и Черкаса. Дети хотели тотчас войти в столовую, но она их не пустила. Она боялась, что будет еще хуже, если Петру Петровичу сейчас помешают. Она не знала, долго ли она сможет выстоять здесь и не кинуться к мужу, но она решила ждать. Она вспомнила, что сказал ей Петракевич, она вспомнила, как странно вел себя Петр Петрович сегодня и в последние дни.

Сердце ее наполнилось тяжелым страхом. Она прислушивалась к тому, что творилось за дверью, но оттуда ничего не было слышно. Свой страх она передала детям. Они тоже прислушивались не дыша, они тоже ничего не понимали. А сзади стоял не любимый всеми Черкас, не решавшийся уйти. Да его и не отпустили бы сейчас. Все боялись остаться одни. Чужой, неприятный человек был им все-таки нужен. И он стоял сзади, вместе со всеми задерживал дыхание и вместе со всеми прислушивался к тому, что творилось за дверью. Но оттуда не доносилось ни одного звука.

Петр Петрович ждал. Он ясно почувствовал присутствие воображаемого собеседника. Ошибки быть не могло. Недаром его охватило такое волнение. Но воображаемый собеседник молчал. Значит, нужно было действовать самому, задавать вопросы, чувствовать ответы. Но почему-то голова Петра Петровича была пуста. Только сердце его билось ускоренно и приподнято, как и тогда, когда он в первый раз увидел воображаемого собеседника, но мыслей не было. Сначала Петр Петрович улыбался. Он был очень доволен. Но улыбка быстро исчезла, лицо его вытянулось. Воображаемый собеседник, казалось, не хотел считаться с тем, что Петру Петровичу надо было спешить. Могли войти, могли помешать. Петр Петрович заерзал в кресле, не открывая еще глаз. Он настойчиво повторял себе: «Думай, думай...» Он искал вопросов и не находил.

Это очень удивляло его. Раньше все шло так просто, все приходило само. Не он вызывал Черкаса, Черкас сам пришел к нему. Воображение или нет, но он не вымучивал из себя картин и разговоров. Отчего же теперь, сидя с закрытыми глазами, он ничего не видел, ничего не чувствовал? Он все напряженнее повторял себе: «Думай, думай...» Незаметно для себя, может быть, случайно, может быть, просто подвернулось на язык, он прибавил к этим двум словам третье. Сначала он не заметил этого. Потом, ловя каждый звук, он вслушался в то, что он сам шептал. Он шептал теперь: «Думай не думай...»

— Думай не думай — что? — спросил он вдруг громко, все не открывая глаз.— Умрешь?

За дверью услышали голос Петра Петровича, но не разобрали слов. Елизавета хотела открыть дверь, но Елена Матвевна удержала ее. Она знала, что Петр

Петрович иногда говорит вслух. Она считала нужным подождать еще.

Петр Петрович замолчал. Вот он задал вопрос — может быть, не тот, который следовало, но этот вопрос неожиданно получил для него огромное значение. Он впервые так ясно почувствовал, что вся его тревога сводится к одному — к страху смерти, к ожиданию ее. Еще когда Ендричковский сказал свое «ого-го!», Петра Петровича неприятно поразил не намек на старость, как он сам тогда думал, а предупреждение о смерти. Не все ли сводилось к этому? И все, что он пережил, что он передумал, не было ли только борьбою со смертью? Об этом страшно было думать. И страшно было сидеть в комнате и чувствовать чье-то присутствие. Может быть, он снова услышит те шаги, что преследовали его на прогулке. Чьи это шаги? Он так и не узнал этого. Он только смертельно испугался потом. Не ясно ли было, что это шаги смерти? Вот он сидит с закрытыми глазами, а может быть, рядом стоит кто-то, смотрит безглазо, наклоняется, сейчас коснется и... Петр Петрович не выдержал. Он быстро открыл глаза. Увидал ли он что-нибудь, или ему только померещилось, это он так и не смог установить. Никогда потом он не мог вспомнить, что это было. Только дикий страх до боли сжал его сердце цепкими холодными пальцами, и он закричал отчаянным, истошным голосом.

Все, кто стоял за дверью, разом ворвались в столовую. Петр Петрович стоял посреди комнаты, расширенными глазами глядя в угол. Елена Матвевна и дети кинулись к нему, наперебой успокаивая и спрашивая, что случилось. Он, видимо, плохо соображал. Он дал усадить себя в кресло, время от времени вздрагивал и с испугом оглядывался назад. Он молчал. Родные не знали, что им делать.

О Черкасе все забыли. Он тоже вошел в комнату и стоял несколько в стороне. Когда Петра Петровича усадили в кресло, он робко подошел и спросил в свою очередь:

— Что с вами, Петр Петрович?

От звука его голоса Петр Петрович задрожал и быстро обернулся. Он пристально взглянул на актера и цепко схватил его за руку. Потом он пригнул Черкаса к себе и горячо зашептал:

— Аполлон Кузьмич, скажите мне правду, ну, ради

бога, скажите правду, вы ничего, ничего не подозреваете?

Он хотел спросить, неужели Черкас ничего не знает о том, что он был участником его видений. А если знает, то не может ли он что-нибудь объяснить. По рассеянному виду актера Петр Петрович понял, что его вопрос был напрасен. Он отпустил руку Черкаса и снова закрыл глаза. Конечно, об этом не стоило и спрашивать. Как мог актер знать, о чем думает, что воображает Петр Петрович? Страх прошел, рядом были люди, но осталась бесконечная усталость, тяжесть в голове и в сердце.

— Вы нездоровы,— тихо сказал Черкас.— У вас, наверно, голова болит.

— Ну, болит,— устало ответил Петр Петрович.— Ну, может быть, нездоров. Все равно,— махнул он рукой и чуть усмехнулся.

— Папа,— вскричала Елизавета,— чего ты так испугался, когда мы вошли?

Петр Петрович поглядел на нее и покачал головою.

— Ты не знаешь,— тихо сказал он.— Никто не знает.

— Петя! — закричала Елена Матвевна.— Что с тобой? Ну, погляди же на нас! Ведь я это, дети вот...

— Я вижу,— слегка удивленным голосом ответил Петр Петрович.— А что?

Он не понимал — от усталости, вероятно,— что все его поведение было необъяснимо для окружающих и что они безумно напуганы. Он не замечал испуганных лиц, переглядываний, дрожи их голосов. Он едва приходил в себя после того, что он пережил. Он расслышал, как кто-то сказал: «Надо доктора». Он сказал с трудом:

— Никаких докторов не надо. Я сам знаю.

Он почувствовал вдруг, как он бесконечно одинок сейчас, совсем по-другому одинок, чем раньше. Ему захотелось рассказать кому-нибудь, что с ним было. Он знал, что никто не поймет его, но одиночество было слишком мучительно, чтобы молчать. Да и надо было как-нибудь объяснить близким свое состояние. И он сказал:

— Мне просто очень страшно стало. Причудилось всякое. Ну, вот, будто смерть в углу стоит.

Он робко произнес страшное слово и невольно

оглянулся. Но слова его были бледны и пусты, они ничего не передавали.

— Ну, что ты, пустяки какие,— дрожащим голосом сказала Елена Матвевна и попыталась улыбнуться, но это не удалось ей. Другие горячо, но тоже нетвердо поддержали ее.

— Нет, понимаешь, это не то,— сморщившись, жалобно сказал Петр Петрович. Он уже не мог остановиться.— Я не умею сказать. Мне казалось, что Аполлон Кузьмич ко мне приходил. Вот с деньгами тоже — будто он мне уже раз принес пять червонцев. И будто он меня свел с кем-то. Как его? Да, вот — воо-бражае-мый собеседник, вот кто. Это, конечно, выдумка все, воображение, я понимаю.

Елена Матвевна, стоя на коленях у кресла, с ужасом глядела на мужа. Елизавета даже приоткрыла рот, а Константин нахмуренно, напряженно смотрел на отца и тяжело дышал. Петр Петрович не замечал этого. Он хотел рассказать все, он чувствовал, что говорит не те слова, что его не понимают, но он должен был выговориться до конца.

— И понимаешь,— так же жалобно, беззащитно, обводя всех глазами и пугливо улыбаясь, продолжал он,— я ведь знаю, что Аполлона Кузьмича не было, что собеседник этот — я сам. Это я выдумал, потому что мне про все хочется спросить, разные мысли одолели, я ничего не знаю и спросить тоже не умею. Ну, я и разговаривал сам с собой. И вот сейчас мне показалось...— он глотнул воздух и с трудом выговорил,— показалось, что оттого это... оттого что... она близка... смерть...— шепотом закончил он и закрыл глаза.— Я устал очень,— прошептал он потом.

Все молчали и даже не глядели друг на друга. Родные еще ничего не поняли, но они знали: быть может, самое большое горе из всех мыслимых и немыслимых свалилось на них. Петракевич был прав: Петр Петрович заговаривался. Так казалось им, и у них не было сил закричать, стряхнуть с него какую-то пелену, в которой он тонул на их глазах. Они стояли как пришибленные и молчали.

Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?

Б. Пастернак

16. ОТ ВООБРАЖАЕМОГО К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ

Опять приходил врач, и уже не один,— вызвали нескольких. Они снова выстукивали и выслушивали, отворачивали веки и ребром ладони ударяли под коленом. Прищуриваясь, задавали разные вопросы. Петр Петрович отвечал скупо и неохотно. Он не думал, чтобы врачи могли помочь ему. Видения прекратились, как только он рассказал о них, как только понял, что их вызывал страх смерти. Даже этот осознанный страх не приходил больше с такою силой, как в первый раз. На смену всему явилось равнодушие.

Петр Петрович снова замолчал. Только теперь он молчал не потому, что прислушивался к чему-то. Теперь он даже ни о чем не думал и часто в конце дня не мог установить, посетила ли его хоть одна мысль за сутки. Может быть, он слишком многое пережил, и мозг и тело его требовали полного отдыха. Он знал теперь, что видения были только выдумкою, он уже ничего не ждал от Черкаса и не хотел появления воображаемого собеседника. И если в жизни появилась огромная, бескрайняя пустота, то Петр Петрович пальцем не хотел двинуть для того, чтобы ее заполнить. Зачем? Что изменилось бы?

Родные привыкли и к этому настроению Петра Петровича. Впрочем, что им оставалось делать? Им даже снова казалось, что он выздоравливает. Недаром врачи толковали им, что упадок сил и равнодушие естественны после какого-то кризиса, а кризис этот будто бы миновал. Они знали свое: кормить, водить на прогулки и пытаться рассказать что-нибудь веселое. Елена

Матвевна и детей приучила уже к тому, что это — единственное, чем можно и нужно помочь больному. И Елизавета, прибегая со службы, мчалась на кухню помогать матери, а Константин, отрываясь от занятий и заставляя Камышова наверстывать упущенное по ночам, провожал отца на прогулках. А Камышов стал покупать сатирический журнал и выискивал там анекдоты, чтобы рассказать их Петру Петровичу. Только Петр Петрович никогда почти не смеялся.

Он вообще избегал людей, но с чужими ему было, пожалуй, легче, чем с домашними. Слишком хорошо знал он домашних, чтобы чего-нибудь ждать от них. Он ничего не ждал и от других, но те хоть не с такою плохо скрытою тревогой смотрели ему в глаза. Впрочем, мало кто посещал его в это время.

Чаще других приходил Черкас. С тех пор как он невольно принял участие в большом семейном событии, сплотившем всех, ему простили прошлое и стали относиться к нему спокойнее. Он заходил обычно на минутку, справлялся о здоровье и тотчас исчезал. Дела его, очевидно, были плохи, костюм обтрепался, лицо похудело, и вместо прежней уверенности в глазах, в голосе и в движениях появилась робость, чуть ли не приниженность. Петр Петрович усмехался, вспоминая, что было время, когда он думал, будто Черкас обладает какою-то сверхъестественною силой. Он даже раз спросил актера об этом и получил неожиданный ответ.

— Мне очень больно,— сказал Черкас, отводя глаза и горбясь,— что вы из-за меня столько перенесли. Тогда из-за денег и теперь вот... Но я, честное слово, не виноват.

Петр Петрович молчал. Эти оправдания ему давно надоели, да он и не винил Черкаса ни в чем. Но актер вдруг заволновался, вытер сразу вспотевший лоб и, упорно глядя в угол, сказал:

— А все-таки я виноват.

В его голосе прозвучала искренняя печаль, и Петр Петрович высоко поднял брови. Он не ожидал этого от Черкаса.

— Я вам скажу,— безнадежно махнув рукою, продолжал тот,— все, что про меня говорят — вранье. Но я ничего не делаю, чтобы не говорили. Наоборот, я рад даже. Понимаете?

Петр Петрович отрицательно покачал головой. Он не понимал.

— Я бы никому другому не признался,— все тише и глуше сказал Черкас.— Это очень неприятно. Это больно даже, Петр Петрович. Помните, что я говорил на ваших именинах? Теперь я вам настоящую правду скажу — это я про себя говорил. То есть я говорил, что будто вы все скучно живете, ненужно, а я — как-то по-другому. Это я выдумал, Петр Петрович, чтобы не показать, какой я на самом деле. А на самом деле, если б я не придумал себе чего-то, не вел бы себя так, что это другим кажется подозрительно и они бог знает что обо мне выдумывают,— я бы умер от тоски. Это игра все, я нарочно таинственность на себя напускаю. Я вам об этом потому рассказываю, что вы мою таинственность всерьез приняли, я вас своей игрой чуть ли не в желтый дом завел.

Петр Петрович с интересом поглядел на Черкаса. Когда люди говорили настоящую правду о себе, это было единственное, что еще трогало его. А Черкас, казалось, приготовился к исповеди. Но Петр Петрович еще ничего не понимал.

— Я вам все скажу,— с отчаянием почти продолжал Черкас. Он говорил мрачно и зло, и, видимо, признания обходились ему недешево.— Только вы никому не говорите, а то мне придется уезжать. Насмешек я не вынесу. Я, вероятно, и к вам больше не приду. Но, по-моему, я обязан сказать вам правду, иначе я не прощу себе, что вы из-за меня... Одним словом, со мной все очень просто. У меня с детства были хорошие способности. Вы знаете, это не хвастовство, у меня и сейчас голова и язык работают неплохо. И я вбил себе с детства в голову, что я выше других, что я все понимаю, все могу одолеть и буду обязательно знаменитостью. Мне, правда, сперва все давалось очень легко. Я бы, может быть, стал неплохим врачом или еще чем-нибудь. Только учиться я не любил. Это трудно, долго, и подумаешь — велика штука быть врачом! Жди до шестидесяти лет, чтобы тебя все узнали. Ну, вы уже понимаете, что увлекло меня актерство. Вот тут-то человек уж наверно выше других — он один, а тысячи глядят на него затаив дыхание. Я и пошел в актеры.

Он тяжело перевел дыхание и почти отвернулся от собеседника. Иногда он задумывался на секунду, точно сомневаясь, продолжать ли ему или все оборвать и уйти, но потом, решительно и беспощадно,

нарочно подчеркивая слова, будто ударяя себя ими, он говорил дальше.

— Ну, и ничего не вышло. Ни таланта, ни голоса, одни ноги. В настоящий балет поступать оказалось поздно, там, как на скрипке, с детства обучаются. Мотался я, мотался по школам, по театрам, изображал толпу, а потом еще повезло, хоть и в оперетке, да попал в солисты и даже в балетмейстеры. Но вместо того чтобы быть выше всех, оказался я — последняя спица в колеснице. Денег нет, славы никакой. Чем я лучше какого-нибудь Петракевича? Ничем. И еще сплетни, еще думай о том, что, если обедать через день, может быть, к концу года удастся сшить новый костюм, а то какой же я танцор? Когда на стул садишься, помни, что нельзя смять штаны, других нет.

Он замолк и высморкался. Сморкаться ему было незачем, но он смущался, и это состояние, видимо, мучило его не меньше, чем сама исповедь.

— Все остальное просто. Быть как все я не могу. Слишком приучил себя, без этого и жить не стоит. Вот и изображаю. Стараюсь нарочно говорить так, чтобы не понимали меня и обижались. Сплетни о себе поддерживаю и сам распускаю. Таинственность навожу на себя. Выучу имена сотрудников какого-нибудь учреждения, расспрошу курьера, а потом всех поражаю: Черкас все знает, Черкас — опасный человек. Нравится, когда на меня глядят с интересом. На сцене не вышло, так хоть в жизни. А язык привешен хорошо, туману напустить могу.

Он помолчал и потом резко поднялся со стула.

— К вам я хорошо относился. Вы со мной иначе говорили, вы, правда, думали, что я что-то знаю. Теперь вы видите, какой я. Надо полагать, больше вы меня никогда не испугаетесь. Прощайте, Петр Петрович.

— Погодите,— сказал Петр Петрович. Ему как-то неловко было отпускать актера без утешения. Но Черкас молча, словно говорить он уже больше не мог, махнул рукою и вышел из комнаты.

Этот разговор был единственным событием, запомнившимся Петру Петровичу за долгие дни. Остальное тонуло в равнодушии, и он снова потерял счет времени, пока новое событие не пробудило его к жизни.

Неожиданно, тотчас со службы, пришли Райкин и Геранин. Они были очень смущены и все порывались сказать что-то Елене Матвевне. Вели они себя неис-

кусно, и Петр Петрович быстро догадался, что они явились с какою-то новостью. А Елена Матвевна, как назло, не замечала больших глаз, которые они ей делали. Она ничего не ждала от них и была слишком занята своим. Заподозрив неладное, Петр Петрович ласково спросил:

— Что с вами? Случилось что-нибудь?

Мальчики не подымали глаз. Геранин толкнул Райкина локтем, тот с испугом посмотрел на товарища и отрицательно покачал головою. Потом оба еще раз умоляюще посмотрели на Елену Матвевну и сделали ей знак глазами, словно вызывая ее в другую комнату. Этим они окончательно выдали себя, потому что Петр Петрович перехватил их взгляд. Он сказал:

— Ну, говорите, я ведь вижу, что вы с чем-то пришли.

— Говорил я тебе!..— с отчаянием выкрикнул Геранин, явно упрекая товарища в том, что тот своим поведением обнаружил наличие у них какого-то секрета.

— А тебе сказали Елену Матвевну вызвать и ей одной сказать,— отводя упрек, шепотом огрызнулся Райкин.

— Ну, в чем дело? — нетерпеливо спросил Петр Петрович. Он не слышал, что они говорили шепотом друг другу, но их таинственный вид раздражал его: что уж могли они знать? — Будете вы говорить?

Мальчики снова замялись. Тогда только Елена Матвевна заметила, что происходит.

— Скажите, скажите,— ласково кивнула она.— Не бойтесь, Петру Петровичу врач все разрешил.

Действительно, врачи сказали, что Петра Петровича надо втягивать в жизнь, заинтересовывать всем, что происходит кругом, и отвлекать мелочами. А Елена Матвевна тоже была убеждена, что мальчики ничего, кроме мелочей, не знали и не могли рассказать.

Геранин наконец решился. Он вопросительно поглядел на Елену Матвевну, но она еще раз кивнула ему. Она ни о чем не догадывалась. Он поглядел на Петра Петровича — Петр Петрович нахмурился, а мальчики вовсе не хотели его раздражать. Тогда в глазах Геранина мелькнуло отчаяние, он опустил голову и глухо, безнадежно, замогильным и дрожащим голосом сказал:

— У нас новый служащий...

— Вот как,— искренне удивился Петр Петрович.— Ну, что ж, очень хорошо. Какой же это секрет? А что он будет делать? Ведь по штату все полно. Из треста прислали, что ли?

— Нет,— шепотом буркнул Райкин,— тов. Майкерский его сам взял. Он сегодня в первый раз был.

— Ну-у,— протянул Петр Петрович. Его эта новость мало трогала, и он задавал вопросы для того только, чтобы поддержать разговор с мальчиками, пришедшими его навестить. Он не понимал, что́ их так беспокоит.— А как же экономия? Все-таки лишний человек. Какую ж ему работу дали?

Мальчики переглянулись и еще ниже опустили головы. Потом Геранин вскочил и сделал порывистый шаг к двери, словно собираясь убежать. Райкин, испугавшись, что он останется один, и не в силах продолжать молчание, поспешно и отчаянно выкрикнул:

— На ваше место.

Как ни тяжел был этот удар и для Елены Матвевны, она кинулась к Петру Петровичу с одним нескрываемым страхом: как он примет это известие? Врачу легко было сказать: «Дайте жизни доходить к нему», но разве врач предполагал, что жизнь вот так ворвется к Петру Петровичу? И хоть новость грозила, может быть, нищетою, Елена Матвевна думала сейчас только о том, как бы эта новость не повредила здоровью мужа.

Петр Петрович стоял в такой позе, как будто он еще прислушивается к эху слов Райкина, чтобы не пропустить ни одного звука и полностью понять сказанное. Убедившись, казалось, что больше ничего не последует, он обвел всех глазами и увидал, что они со страхом глядят на него. В его собственном взгляде было только недоумение. Ответа у окружающих он не нашел и глубоко вздохнул. Потом он сдвинул брови, словно соображая что-то, и тихо спросил:

— А я как же?

— Мы ничего не знаем,— со слезами выкрикнул Райкин.— Мы спрашивали, нам говорят — еще неизвестно. А тов. Майкерского спросить мы побоялись. Нам Ендричковский сказал: «Бегите бегом к Елене Матвевне, вызовите ее и все расскажите, а я сам скоро приду, как только толком все узнаю». Мы ведь даже конца службы не дождались, убежали.

Наступило молчание. Мальчики не решались вздохнуть. Елена Матвевна тоже не решалась открыть рот.

На глазах Петра Петровича показались слезы. Он сам не знал, что вызвало их сейчас. Странно, что сквозь слезы он видел вполне ясно. Он еще не думал об услышанной новости. Не очень уверенно он шагнул к окну. Старые дома глядели на него хмуро, но кусочек неба был трогательно синь. Чья-то мёдленная, неразборчивая речь в воротах, голос, напоминавший голос Дашеньки, звучали нежно и приветливо. Петр Петрович взглянул наискось — на окна Маймистовых — и вздохнул: ему стало невыразимо жаль бедного Володи. Но мысли его не остановились на сумасшедшем, он посмотрел вдаль и подумал, что там, за много улиц, стоит особняк распределителя, сейчас сотрудники расходятся по домам, и Ендричковский озабоченно спешит зайти к нему. Он почувствовал, что распределитель все еще дорог ему и близки люди, работающие в том особняке. Он не то что не понял еще, он не охватил еще мыслью той новости, что принесли мальчики. С ним творилось что-то странное. Вместо страха и негодования, которые были бы так естественны сейчас, он почувствовал тихую жалость — то ли к себе, то ли к этому кусочку синего неба, то ли к голосу, нежно и грустно звучавшему на улице. Он обернулся и слегка дрожавшим голосом сказал:

— Ну, что ж, подождем Ендричковского. Может, он подробнее расскажет.

— Петр Петрович! — жалобно воскликнула Елена Матвевна, не в силах уже более сдерживаться.— Что же это будет, Петр Петрович!

Он внимательно посмотрел на нее. Он поднес руку ко лбу, как бы соображая, отчего она волнуется больше него.

— Ах, да! — сказал он.— Я завтра сам пойду к тов. Майкерскому. Просто он, наверно, думает, что я еще долго буду в отпуску. Но я здоров. Конечно, ему трудно было без меня.

Он увидал, что Елена Матвевна трясет головою, как будто не веря его словам. Он слабо усмехнулся.

— Не выгонят же в самом деле,— тихо сказал он.

Он подошел к креслу и сел. Отчего-то ему трудно было оставаться на ногах. Он понял, что жена иначе оценивает новость, принесенную мальчиками. И еще он понял, что его собственная оценка этой новости недостаточна, что за этим известием кроется что-то еще. Но оно еще не встало перед ним во весь рост. Ему

трудно было соображать. Он посмотрел на мальчиков и неожиданно сказал:

— Слушайте, раз вы прямо со службы, значит, вы ничего не ели. Елена Матвевна, ты бы их покормила, что ли.

Елена Матвевна посмотрела на него с недоумением. Она уже совсем отвыкла от того, чтобы он высказывал заботу о ком-нибудь. Это напоминало ей старое. Несмотря на страх и на огорчение, она посмотрела на него с надеждой. Может быть, правда, здоровье возвращалось к нему.

Мальчики наотрез отказались от еды. Они не хотели беспокоить Елену Матвевну, они уверяли, что их ждет вдова, у которой они столуются, что у них есть дела. Вернее всего, однако, им слишком тяжело было оставаться сейчас с Петром Петровичем. Он отпустил их, но взял с них слово, что они скоро придут.

— И мандолину принесите,— сказал он им вслед.— Скучно мне без вас, а вы меня совсем забыли.

И опять Елена Матвевна не знала, верить ли своим ушам. Петр Петрович так давно не проявлял никакого интереса к людям.

Пришли дети, всё узнали, и Константин, со свойственною ему прямотою, спросил отца, что он думает о назначении нового помощника заведующего. Собственно, всем могло быть ясно, что, если Петр Петрович так долго будет болеть, придется тов. Майкерскому взять себе другого помощника. Но никто не ожидал этого, никто не представлял себе, что это может случиться уже сегодня. Петр Петрович пристально посмотрел на сына, а вся семья с беспокойством глядела на него. Тихая жалость, непонятная печаль уже прошли. Петр Петрович все яснее понимал, что ему что-то грозит. Но он еще не позволял себе вплотную подумать о случившемся. И он тихо ответил сыну:

— Не знаю. Подождем.

Но он уже не улыбался, не глядел светлыми глазами, он сидел мрачный, нахмуренный, снова ушедший в себя. Елизавета попробовала развлечь его, но он так выразительно поглядел на нее, что она замолчала. Она поняла, что он живет сейчас только одним — ожиданием Ендричковского.

И Ендричковский, наконец, пришел. Открывая ему дверь, Елизавета сказала, что мальчики проговорились Петру Петровичу. Она ждала, что он еще в дверях

расскажет ей, но он нахмурился, молча прошел в столовую, молча поздоровался, испытующе поглядел на Петра Петровича и, вопреки своему обыкновению, не отпустив ни одной шутки, молча уселся. Петр Петрович не сводил с него глаз.

— Вот что,— тяжело вздохнув, сказал Ендричковский после молчания.— Я вам прямо буду говорить все как есть. Это и лучше. Тов. Майкерский ни с кем не посоветовался и взял вам заместителя. Я спросил у него, что это значит. Он мне ответил, что без помощника работать не может, а раскладывать вашу работу на всех тоже не годится, потому что мы и так обременены, да у нас и знаний таких нет. Я спросил: значит, это временный заместитель? Нет, говорит, не временный. А как же Петр Петрович, спрашиваю. Извините меня, Петр Петрович, я вам правду скажу, точно передам, что сказал тов. Майкерский. Он мне ответил: я не могу оставить у себя помощником человека, в котором я не уверен. Да и вы, говорит, в нем не уверены. Что с ним, я не знаю, но, по слухам, он — скажем так — еще не выздоравливает. Мне его очень жаль, но довериться ему, пока я не буду убежден, что он совершенно стал прежний и что, например, история с деньгами не повторится, я не могу. Вот, Петр Петрович, сообразите это и скажите мне прямо, по совести: мог я что-нибудь возразить ему? Подумайте сами. Я только спросил, как теперь будет с вами. Он мне ответил: я отправил о нем бумагу в трест, прошу, чтобы оставили его не помощником уже, а специалистом. Что ответят, не знаю, но хлопотать, конечно, буду. Вот, Петр Петрович, извините, если что не так, но я решил от вас ничего не скрывать. Надо же, наконец, выяснить все. По-моему, так правильнее.

И Ендричковский откинулся на стуле и с глубоким вздохом вытер лоб.

Петр Петрович слушал его, весь вытянувшись в кресле и даже приложив ладонь щитком к уху, чтобы лучше расслышать. Слушая, он только часто моргал глазами. А когда Ендричковский кончил, он тоже откинулся в кресле и уставил глаза в пол. Все молчали. Семейным казалось, что Ендричковский говорил слишком прямо и резко. Но об этом теперь поздно было думать. Они ждали, что скажет и что сделает Петр Петрович. И теперь только они поняли окончательно, чем грозит им страшная новость.

Понял это и Петр Петрович. Он робко посмотрел на всех. И он прочел в их глазах, что и они не были уверены в нем. Усилием воли он сдержал слезы и крик. Ему было очень больно, страдала и его гордость. Он впервые так ясно понял, что он сам во всем виноват. Он слишком поддался своей слабости. Надо было жить, надо было помнить о жизни, а он решил, что важны только его собственные переживания. Другие не знали его чувств, и вот... Нет, тут было уже не до гордости. Может быть, следовало что-то, кого-то спасать,— себя? семью? И главное — жить, жить, даже если смерть придет завтра. Все живут, ничто не останавливается. Он низко опустил голову и пробормотал:

— Да... что ж... так, верно, и надо... да... Спасибо вам, Ендричковский. Да...

Это было так неожиданно, что Ендричковский покраснел, вскочил и горячо воскликнул:

— Но я говорил ему! Я только вам так сказал, а с ним я спорил!..

Все ждали, что с Петром Петровичем должно что-то случиться. Но совершенно неожиданна была для них его тихая, приниженная печаль. Елена Матвевна заплакала. Он не заметил ее слез. Он грустно усмехнулся.

— Нет уж,— сказал он,— что тут... Тов. Майкерский прав. Вы мне тоже не доверяете. Не понимаете то есть.

Он глубоко вздохнул и безнадежно, но почти поспешно, словно боясь, что обидел Ендричковского, прибавил:

— И вы тоже правы. Да. Все правы.

Ендричковский совсем смутился. Он посмотрел с робкою надеждой на остальных, но они молчали: они тоже не знали, что делать, и им тоже было тяжело. Он отвел глаза в сторону и тихо, запинаясь, неверным голосом сказал:

— Когда вы пойдете на службу... и все будет как раньше... через некоторое время...

— Увидим,— безнадежно ответил Петр Петрович.— Зачем загадывать? Пойти пойду, а сколько времени буду ходить...

Он махнул рукою и отвернулся.

— Петр Петрович! — вскричала Елена Матвевна.

— Папа! — кинулись к нему дети.

Он отстранил их. Новая мысль пришла ему в голову.

Он взглянул прямо на Ендричковского и дрожащим голосом сказал:

— Я понял теперь, это я вам всем хочу сказать, потому что я перед вами всеми виноват: не должен был я тех денег брать. Не имел права. Мне, может быть, благодарить всех надо, что пожалели меня и не... не выгнали.

Ему дорого стоило это признание. Губы его запрыгали, и он с трудом отдышался. Все окружили его и что-то говорили. Но он не слушал и старался только справиться с сердцем и с головокружением. Сегодня они были почему-то страшнее, чем раньше,— как-то обреченнее стучало сердце, и в голове все дрожало. Да, он знал теперь окончательно: все было ошибкой, он сам виноват, не в том дело, что его могут выгнать, а в том, что он сам заставил других потерять к нему доверие. Надо еще жить, а жить поздно, и поздно, может быть, исправлять роковую ошибку, погубившую все. Но он помнил: нельзя другим показывать, что ему нехорошо. И он с трудом прошептал:

— Ничего, это так, пройдет, ничего.

Он слышал, что это звучит неубедительно, а убедить было надо, надо успокоить, раз он виноват перед всеми, значит, нельзя больше тревожить их собою. И он собрал все силы для улыбки и сказал:

— Еще послужим вместе, Ендричковский.

Он сам не верил в это, но он хотел придать бодрости другим. И Ендричковский поддержал его.

— Конечно, послужим, Петр Петрович,— горячо, но далеко не уверенно сказал он.

Петр Петрович все-таки переоценил свои силы. Он хотел показать, что все понимает, и сказал, все еще пытаясь улыбнуться:

— Только теперь, должно быть, я у вас под началом буду.

Он хотел пошутить, он думал, что сможет вынести шутку над самим собою, и прибавил:

— Не обидьте старика-то...

И тут он не выдержал. Слезы сжали его горло. Но он все-таки не изменил себе и отвернулся, чтобы другие не разглядели этих горьких слез.

17. ИСКУПЛЕНИЕ

На этот раз Петр Петрович не вышел из дому спозаранку, он ведь шел не на службу, а только поговорить. Он очень побаивался, как встретят его сослуживцы. Он чувствовал себя виноватым, и он был унижен. А он знал, что людям трудно удержаться и не подчеркнуть ближнему его вины и унижения.

Сначала, однако, все обошлось как нельзя лучше. Кочетков встретил его очень сердечно, ни одним словом не намекнул о прошлом и, видимо, по-настоящему обрадовался. Курьер даже стал уверять, что Петр Петрович прекрасно выглядит и несомненно поправился. Войдя в прихожую, Петр Петрович заволновался, но заставил себя скрыть волнение. Он спросил Кочеткова, где его заместитель. Кочетков ответил, что заместитель уехал в трест, и, оглянувшись, с явным удовольствием сообщил, что новый помощник понимает в деле куда меньше Петра Петровича. И хотя Петр Петрович знал, что Кочетков — далеко еще не авторитет и что слова его могут быть просто лестью, но это сообщение его обрадовало. Он стал как-то увереннее чувствовать себя.

Он не считал себя вправе зайти в кабинет тов. Майкерского без доклада, раз он пришел не на службу, и потому попросил курьера справиться, может ли начальник принять бывшего помощника. Кочетков рысью убежал наверх, тотчас вернулся и сказал, что тов. Майкерский просит Петра Петровича к себе. Пока все шло хорошо, лучше даже, чем Петр Петрович ожидал. Силь-

но волнуясь, но не теряя бодрости, он поднялся наверх и постучал в дверь кабинета.

Когда он вошел, тов. Майкерский что-то писал и не встал навстречу бывшему помощнику. Он очень медленно дописывал последние строки, и по этой медлительности Петр Петрович понял, что начальник несколько смущен. Петр Петрович хорошо знал тов. Майкерского и даже пожалел его в эту минуту. Он понимал, что предстоящее объяснение не может быть приятно и для начальника. И когда тов. Майкерский поставил, наконец, точку и нерешительно взглянул на него, он заговорил первым.

— Я все знаю, Анатолий Палыч,— сказал он тихо,— и я понимаю теперь, что сам виноват во всем. Я пришел только спросить, как теперь будет со мной. И еще я хотел сказать вам, что скоро уже смогу явиться на службу. Если, конечно, вы ничего не будете иметь против,— совсем тихо, опустив голову, прибавил он.

Ему было все же очень обидно, что тов. Майкерский не встал ему навстречу. После того как он так долго не был в распределителе, этот прием был своего рода унижением. Тов. Майкерский, помолчав, ответил довольно сухо:

— Во внимание к вашей прошлой службе я возбудил ходатайство, чтобы у нас учредили новую должность — эксперта-приемщика, с назначением на нее вас.

Вероятно, тов. Майкерский считал, что оказывает Петру Петровичу благодеяние. Собственно, оно так и было. Ведь он мог просто уволить бывшего помощника. Но все это было Петру Петровичу очень обидно, и он вовсе не хотел принимать милостыню.

— Я раньше эти обязанности по своей должности выполнял,— сказал он дрогнувшим голосом.

Тов. Майкерский помолчал и нахмурился. Это замечание было ему, очевидно, очень неприятно. Он посмотрел на Петра Петровича подозрительно, даже с какою-то угрозой, и резко ответил:

— Новый помощник не обладает вашими знаниями.

Петр Петрович был удовлетворен. Он кивнул головою. Но он не должен был этого делать. Он-то обрадовался тому, что, значит, он был еще нужен распределителю, но тов. Майкерский понял его движение по-другому. Тов. Майкерский увидал в этом скрытое

злорадство. И если он прежде чувствовал себя только неловко, то теперь им овладело раздражение.

— А как будет, пока решат насчет новой должности? — спросил Петр Петрович.

— Согласно закону вы числитесь в отпуску,— сухо ответил начальник.— Ответ на мою просьбу все решит.

— Я, наверно, скоро уже смогу служить,— робко сказал Петр Петрович. Он слышал раздражение в голосе начальника, но не понимал, чем оно вызвано.

Тов. Майкерский принадлежал к тому сорту людей, которые собственную неловкость вымещают на собеседнике. В душе он жалел Петра Петровича, хотя и раскаивался, что был так уступчив в свое время и дал помощнику отпуск, потому что без Петра Петровича работа шла плохо. Он знал, что Петр Петрович, наверно, придет к нему объясняться, и приготовился к этому. Он ждал упреков и просьб и, боясь их, решил принять неприступный вид. Но он никак не ожидал, что Петр Петрович не будет оспаривать справедливость его поступка. Он приготовил сдержанный и достойный ответ, на случай, если бы Петр Петрович спросил его, почему взят новый помощник. Но Петр Петрович не спрашивал. Эта покорность больше всего теперь упрекала, а потому и раздражала тов. Майкерского. И он обратился к Петру Петровичу еще резче, чем раньше:

— Я вам должен еще сказать: вам придется на новой должности вновь приобрести доверие сотрудников — и мое.

Он значительно подчеркнул последние слова и облегченно вздохнул. Ему казалось, что он не сердце свое сорвал, а нашел в себе мужество сказать Петру Петровичу в лицо вещь неприятную, но неизбежную и необходимую по долгу службы. И после этого он даже приветливее взглянул на своего бывшего помощника, ожидая благодарности.

Петр Петрович был подготовлен ко всему еще вчерашними словами Ендричковского. Все-таки в глубине души он ожидал, что тов. Майкерский пощадит его. Но он ничего не ответил, только еще ниже опустил голову. Он не обиделся. Может быть, тов. Майкерский был вполне прав. Просто ему стало очень больно. Он тихо и покорно сказал:

— Я постараюсь, Анатоль Палыч.

Он вспомнил, что хотел поговорить с остальными

сотрудниками. Он знал и раньше, что все эти разговоры будут болезненны. Но вчера и сегодня еще, до свидания с начальником, он испытывал некоторый подъем. Теперь осталось только сознание какой-то необходимости.

— Простите, что задержал вас, Анатоль Палыч,— тихо сказал он.— Разрешите мне зайти к сослуживцам на одну минуту.

Тяжело было спрашивать разрешения зайти туда, где он раньше был главною персоной. Но он чувствовал, что он больше не свой в распределителе. А тов. Майкерский и эти слова истолковал превратно. Ему показалось, что Петр Петрович только сдерживается, только прикидывается покорным, а на самом деле считает начальника несправедливым. И он холодно кивнул в ответ на вопрос.

Петр Петрович вышел в коридор. Он не сразу пошел в комнату сотрудников. Ему было очень не по себе. Искупление обходилось довольно дорого. В этом коридоре он уже достаточно пережил. Он вспомнил это и со странным равнодушием вместо испуга почувствовал, что сердце его снова тронула старая, знакомая скука. Ее прикосновение было очень холодным, сердце сжалось под ним, но не забилось. Оно привыкло. Он знал уже, что из посещения сослуживцев тоже ничего не выйдет. И не по доброй воле, а словно по какой-то обязанности он открыл дверь.

Все были в сборе. Все повскакали с мест и подбежали к Петру Петровичу, на все лады выражая свою радость и удовольствие. Сослуживцы, как и Кочетков, находили, будто Петр Петрович заметно поправился. Только Евин остался сидеть и усиленно что-то строчил. Гул стоял довольно долго, но Петр Петрович даже не улыбнулся. Ему было очень тяжело, он глядел на недавних друзей как на чужих. Они и правда стали ему чужими, он даже подивился про себя: разве с этими людьми он работал вместе столько лет? Гул мало-помалу затих и перешел в изумленное переглядыванье. Впрочем, сотрудники знали, что Петр Петрович только что был у тов. Майкерского, и они решили, что его молчание объясняется суровостью начальника. Они хотели было осторожно выразить ему свое сочувствие, но их предупредил Евин. Нарочно дождавшись тишины, бухгалтер повернул ко всем злое лицо и, ни на кого не глядя и словно не замечая Петра Петровича, кинул:

— Вы долго будете мешать работать?

Скука, совершенно трезвая, серая, нудная скука давила сердце Петра Петровича. Зачем он что-то переживал, что-то видел, к чему-то приблизился, если здесь ничего не изменилось? Здесь хотели от Петра Петровича только одного: чтобы он снова стал прежним, таким, как все, чтобы он снова считал эту скуку делом и жизнью. Этого он все-таки не мог. Он хотел работать, он любил этих людей. Но не мог же он закрыть глаза на то, чего они не видели. Он не понимал еще, что он сделает, но он медленно подошел к Евину и протянул ему руку.

— Здравствуйте, тов. Евин,— сказал он, глядя бухгалтеру прямо в глаза.

Он сказал это мирно, негромко, без вызова. Он вовсе не хотел затеять ссору. Он хотел только, чтобы все эти люди, и Евин, как самый упорный, вышли из своего окаменелого состояния, стали действительно людьми. Ведь к ним пришел уже не помощник заведующего, а человек, человек виноватый и сознающий свою вину, даже благодарный им за их поддержку, но — человек.

Сослуживцы испуганно переглянулись. Они не поняли, чего хочет Петр Петрович, и у них снова пробудилась боязнь, не выкинет ли он какого-нибудь неожиданного колена. Зато Евин все понял по-своему. Он отвернулся и снова начал строчить. Руки его явно дрожали.

— Здравствуйте, тов. Евин,— повторил Петр Петрович, стоя с протянутою рукой.

Все молчали. Евин посадил кляксу и вскочил. Ни на кого не глядя, он закричал:

— Прошу мне не мешать! Я работаю, а не лодырничаю!

Петр Петрович опустил руку. Он смотрел на Евина в упор. Он все еще не знал, что будет делать. А Евин видел, что сочувствие всех не на его стороне, и это злило его свыше меры. Он думал, что Петр Петрович пришел нарочно с тем, чтобы его оскорбить. Он вообще не понимал, отчего все так носятся с Петром Петровичем, и это тоже злило его. Видя, что Петр Петрович не отходит от его стола, и не в силах унять свою злость, он крикнул, побагровев:

— И отойдите от ящика, понимаете!

Это было уже слишком. Все возмущенно загудели, и Петракевич снова, как когда-то, вырос перед Евиным

с недвусмысленною угрозой. Один Петр Петрович был наружно спокоен. Он болезненно усмехнулся и тихо спросил:

— Чего вы хотите от меня, Евин?

Он стоял лицом к Евину и спиною к остальным. Он не мог видеть, какие знаки делали бухгалтеру сослуживцы. Только Евин вдруг разом опустился на стул и буркнул:

— Ничего!

Лисаневич робко сказал:

— Вы бы присели, Петр Петрович.

Ендричковский молча подставил стул. Петр Петрович догадался, что он не смог скрыть свое волнение. А он так надеялся, что никто не заметит, как дорого обходилось ему наружное спокойствие.

Ему, правда, трудно было стоять на ногах. Он тяжело сел, и глаза его сами тотчас закрылись. Сослуживцы перешептывались за его спиною, и он догадывался, что Евину сейчас несладко под их угрожающими взорами. Но они ошибались, если думали, что Петр Петрович сердился на бухгалтера. Ему стало плохо не от обиды. Его огорчало совсем другое. Он ведь пришел в распределитель просить прощения. И он сразу сделал несколько ошибок. Он не так, как следовало, говорил с тов. Майкерским. Он должен был сделать вид, что не замечает Евина, и говорить только с другими. А теперь он не сговорился ни с начальником, ни с сослуживцами. Но и не это беспокоило его, не сами ошибки, а то, что ошибки эти были, конечно, неизбежны.

Он ничуть не считал себя выше этих людей. Он только сразу понял, что после всего пережитого он должен вновь жить в этой томительной скуке. Не булавочные уколы тов. Майкерского и Евина и не беспомощно-сочувственные взгляды остальных вызывали его раздражение. Все это было рождено непроходимою скукой их жизни, бессмысленной, неоправданной и ненужной. Он знал: если б он снова добросовестно принял эту жизнь, если б его волновали именно слова и взгляды, он сразу стал бы понятен и близок всем. Но при всем желании он этого все-таки не мог.

Он открыл глаза. Все эти мысли пронеслись в его голове мгновенно, и сослуживцы только-только успели окружить его.

— Слушайте,— сказал он вдруг всем со странною силой.— Я не ссориться пришел. Я вам хотел сказать,—

я это вчера говорил Ендричковскому,— так я хочу сказать это всем: я понял, я перед вами всеми виноват. Вы мне верили, я ваше доверие обманул. Простите меня.

Сослуживцы даже отшатнулись. Один Ендричковский, подготовленный уже вчерашним, воскликнул:

— Петр Петрович! Да будет вам! Ну было и было! Ну и давайте все по-старому.

— Подождите, Ендричковский,— строго, даже сурово ответил Петр Петрович.— В том-то и дело, что по-старому я не могу.

Все переглянулись. Они не поняли. Потом Ендричковский решил, что Петр Петрович говорит о своем понижении по службе.

— Это ничего,— стараясь казаться веселым и уверенным, сказал он.— Вы скоро опять помощником будете. Вот увидите.

Петр Петрович посмотрел на него и покачал головою.

— Нет, Ендричковский,— тихо выговорил он,— не то. Скучно мне. Тяжко.

Должно быть, внешний вид Петра Петровича был обманчив и он вовсе не выздоровел. Так расценили его слова сослуживцы, глядя на него со страхом и жалостью. По их лицам он увидал, что они никогда не поймут его. И делать ему здесь стало нечего. Он словно забыл, зачем он пришел,— все, что связано было со службой, томило скукой и потеряло всякую цену. Он уже не думал о том, как важна служба для него и для всей его семьи. Он встал и лениво пошел к двери. Уже взявшись за ручку, он почувствовал, что все с недоумением глядят ему вслед и что нельзя уходить не попрощавшись. Он обернулся и сразу увидал Евина, сидевшего в стороне и наблюдавшего все происходящее с явным злорадством.

Петр Петрович повернулся и медленно подошел к столу бухгалтера. Это было так неожиданно, что Евин невольно встал. Петр Петрович оперся руками о стол и внимательно посмотрел на бухгалтера. Тот усиленно моргал, ничего не понимая, но вовсе не собираясь дать себя в обиду.

— Евин! — сказал вдруг Петр Петрович так громко и с такою болью, что все вздрогнули.— Евин! Неужели вам не скучно?

Евин отскочил от стола и беспомощно оглянулся

на сослуживцев. Они молчали, а страдание в голосе Петра Петровича на миг обезоружило его. Петр Петрович не спускал с него глаз.

— Вот вы пишете все, счета ведете,— с тою же болью за себя и с непонятным участием к Евину продолжал он,— и еще вы выдумываете, еще иногда лжете, еще вымещаете что-то на мне — зачем? Неужели вам не скучно все это, Евин?

Кровь бросилась Евину в лицо. Он задохнулся и не мог слова вымолвить.

— Петр Петрович! — закричал Ендричковский.— Что вы говорите?

Но Петр Петрович не слушал его. Он все смотрел на Евина пытливым, тяжелым взглядом и продолжал:

— Я не обиделся на вас, Евин. Наоборот, я знаю, я виноват перед вами. Но я не понимаю: как вы можете жить так, как вы живете?

Евин, наконец, отдышался настолько, что смог открыть рот. Он закричал почти с визгом:

— Как вы смеете?.. Вы!..

— Мне скучно, Евин,— прервал его Петр Петрович. Он говорил так настойчиво, так напористо, что другие не решались его прервать.— А вам — нет? Что надо делать, Евин, чтобы не скучать? Научите меня! Выдумки не помогают, Черкасу тоже скучно. Может быть, негодяем надо быть?

Петр Петрович не хотел обидеть Евина. Он только не выбирал слов, высказывая свои затаенные мысли. Он был совершенно искренен, он не мог бы сейчас не только лгать, но и скрыть что-нибудь. Евин, конечно, этого не понимал. Этого и остальные не понимали. Но те жалели, а Евин был возмущен. Он закричал:

— Вы... Вы ответите!

И он кинулся к дверям и исчез за ними.

— Эх, Петр Петрович,— мрачно сказал Ендричковский после молчания, тоже понимая выходку бывшего помощника как месть,— уходите вы лучше!

— Зачем? — удивился Петр Петрович.— Разве я что-нибудь сделал? Я же говорил о себе,— с непонятною для других болью прибавил он.

Он искренне не понимал, что он наделал. Вернее, он не мог сейчас думать об этом. Его куда-то несло. Он уже не обдумывал ни слов, ни поступков. Он даже спешил, внутри у него все дрожало, и он сам удивлялся, что говорит медленно. Казалось, он мог сейчас полететь

по воздуху, если только не помешают. Это бы не удивило его. У него было такое чувство, что ему надо торопиться. Что ему делать, он не знал, он и к Евину обратился потому лишь, что бухгалтер попался ему на глаза. В сущности, он говорил не с Евиным, а со всеми, и, может быть, даже — только с самим собой. Быстрая смена собственных настроений его тоже не удивляла. Ему казалось, что он, как перед болотом, все не знал, куда ему ступить ногой, и вдруг, заговорив с Евиным, он сразу покатился, как по льду. Он бы многое мог сказать сейчас, и он хотел сказать, только слова как-то еще не подвернулись. Но он так и не сказал того, что собирался.

Дверь распахнулась, и на пороге ее встал тов. Майкерский. За ним, злорадный и обиженный, стоял Евин. Тов. Майкерский тяжело дышал. Он, видимо, был очень рассержен. Он молча переводил глаза с одного сотрудника на другого.

— Что здесь происходит? — закричал он наконец.— Почему никто не работает? Что за разговоры?

Все, кроме Ендричковского и Петра Петровича, опустили головы и разбрелись по своим местам. Тов. Майкерский сделал шаг к Петру Петровичу и крикнул, не глядя на него:

— Я вам разрешил зайти на минутку, а не мешать сотрудникам ненужными разговорами.

Очевидно, Евин нажаловался, и начальник явился навести порядок, но не решался сразу напасть на Петра Петровича.

— Тов. Майкерский,— мрачно сказал Ендричковский.— Если на то пошло, так виноват не Петр Петрович.

— Я не желаю вас слушать,— крикнул начальник, с облегчением накидываясь на Ендричковского.— Я не нуждаюсь в ваших разъяснениях!

— Анатолий Палыч,— тихо и все как будто спокойно сказал Петр Петрович.— Зачем вы кричите?

Тов. Майкерский остолбенел. Даже Евин, забыв о своей обиде, испуганно заморгал. Сотрудники, зарывшиеся было в папки, в ужасе подняли головы. Петр Петрович ничего не замечал. Чуть-чуть жалостливо улыбаясь, он миролюбиво положил руку на рукав начальника и убедительно сказал:

— Вы и в кабинете себя так вели, будто меня со вчерашнего дня только знаете. Ну, мы поговорили тут

пять минут, ну, что такого? Всегда разговоры были, и дело не страдало. Человек-то ведь важнее дела, Анатолий Палыч.

— Вы... вы...—чувствуя, что он может очуметь от неожиданности, и раздражаясь безмерно, вскричал тов. Майкерский.— Вы, кажется, не понимаете, где вы!

— Все понимаю,— устало прервал его Петр Петрович и снял свою руку с рукава начальника.— Вы меня понять не хотите. Вот Евин тоже ничего понять не хочет. Поэтому он и обиделся и к вам побежал. Ну, поговорим по-человечески, Анатолий Палыч, хоть раз в жизни...

— Вы с ума сошли,— закричал тов. Майкерский и даже отступил на шаг.— Вы забываете, с кем вы говорите!

— С вами,— упрямо сказал Петр Петрович,— с вами, Анатолий Палыч. И я хочу вам сказать, что криком вы ничего не возьмете. Неужели вы не видите, Анатолий Палыч, какая тут скука кругом? И крик ваш — от скуки, и евинские намеки — тоже. Неужели мы для того живем, чтобы одни накладные писать? Я вас за умного человека считал, вы же должны это понять.

— Петр Петрович! — с крайним возмущением закричал тов. Майкерский, но Петр Петрович не дал ему продолжить. Петр Петрович должен был выговориться.

— Нет,— сказал он,— я вас обижать не хочу. Я и сам нисколько не обиделся. Я пришел покаяться. Я же сказал вам: я сознаю, я виноват. Я по-человечески к вам пришел, а вы встречаете меня криком и притворством. Если так, не стоило мне у вас прощения просить. Я от этой скуки бегу, вы меня обратно загоняете. Ведь здесь дышать нечем, Анатолий Палыч!..

Сотрудники давно пригнулись к столам и не двигались. Евин опасливо обошел начальника и Петра Петровича и юркнул на свое место. Даже Ендричковский отвернулся и схватился за голову. Может быть, все думали, что Петр Петрович сошел с ума, но он говорил как-то даже слишком трезво. Тов. Майкерский и дыхание задерживал, словно ушам своим не веря. Наконец он, видимо, сообразил, что́ говорит опальный помощник. Он покраснел как кумач и визгливо закричал:

— Уходите сию же минуту!

— Тов. Майкерский,— нерешительно сказал Ендричковский, обернувшись на секунду.

— Молчать! — завопил тов. Майкерский в полном неистовстве.— Я здесь начальник! Уходите, или я велю вас вывести!

Петр Петрович спокойно посмотрел на всех по очереди. Он испытывал странное облегчение и даже некоторую просветленность. Казалось, он выполнил какой-то тяжелый долг. Он как будто не слышал, что начальник кричит на него. Совершенно спокойно он сказал всем: «До свиданья»,— и потом отдельно тов. Майкерскому:

— До свиданья, Анатолий Палыч. Не сердитесь на меня. Я хотел вам правду сказать, только говорить я не умею.

Он застенчиво улыбнулся и, еще раз поклонившись всем, вышел из комнаты.

Он вернулся домой, сохранив спокойное, ясное настроение. Он не думал больше о том, что произошло в распределителе. Он сделал то, что должен был сделать, и больше не интересовался этим. И ему в голову не пришло, что его слова могут вызвать какие-либо последствия.

Он ничего не рассказал жене. Видя, что он улыбается, она тоже не расспрашивала его. И день проходил как всегда.

Беспокойство принесла только Елизавета. Она вбежала в столовую, вопросительно посмотрела на отца, но, видя, что он спокоен и весел, кинулась на кухню. Она шепотом спросила мать:

— Папа был в распределителе?

— Да,— изумленно ответила Елена Матвевна,— а что такое?

— Говорят,— Елизавета сделала страшные глаза,— там что-то произошло, скандал целый.

— Это, должно быть, без папы было,— спокойно ответила Елена Матвевна и потом спросила: — А в чем дело, ты не знаешь?

— Не знаю. Неизвестно еще. А может быть, мне не сказали.

— Нет, почему же,— еще спокойнее ответила Елена Матвевна.— Папа веселый пришел. Он не знает.

Они все-таки решили ничего не говорить Петру Петровичу, пока не узнают в чем дело. Собралась вся семья, сели за стол. Елизавета успокоилась. Петр Петрович был весел, таким его давно не видали. Когда подали жаркое, раздался звонок. Елизавета, недоволь-

ная, пошла открывать. Послышались голоса, Елизавета появилась в дверях и поманила мать. Елена Матвевна вышла. Остальные прервали еду и с недоумением ждали. Петр Петрович меньше всего думал, что эта странная суматоха имела какое-нибудь отношение к нему. Наконец женщины вернулись, и за ними мрачно, не здороваясь, вошел Ендричковский. Елена Матвевна кинулась к мужу и зарыдала у него на плече.

— Петр Петрович! — почти запричитала она.— Петя! Что же это такое? Что ты наделал, Петя!..

Петр Петрович отстранил жену и встал. Ничего еще не понимая, он вопросительно посмотрел на Ендричковского. Тот махнул рукой, отвернулся и глухо сказал:

— У нас чуть ли не драка вышла, когда вы ушли. Да, ну что говорить!.. Одним словом, тов. Майкерский послал бумагу в трест о вашем увольнении. Он считает вас не больным, а...

Петр Петрович не сразу понял, что сказал Ендричковский. Но он больше не спрашивал, он только посмотрел по очереди на всех и потом уставился на стену. Все молчали и со страхом глядели на него. Он слабо усмехнулся, но дрогнувшие губы тотчас застыли. Он побледнел и открыл рот — дышать было трудно. Ему стало вдруг страшно жарко, вся кровь кинулась в лицо, и он побагровел.

— Папа! — с ужасом крикнул кто-то из детей.

Он не расслышал, кто именно закричал. Он сказал с мучительным трудом:

— Я... я пойду...

Идти было некуда. Он понимал это. Он сделал неверный шаг, что-то ударило его в голову, и пол стремительно унесся вверх из-под ног. Он упал.

Приедается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят, и годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась в белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

Б. Пастернак

18. КОГДА ЗВЕЗДЫ ВИДНЫ ДНЕМ

На этот раз с Петром Петровичем случился уже не обморок, а удар. Его долго лечили, а когда он немного поправился, врач настоятельно посоветовал увезти его на юг. Елена Матвевна (никто другой ехать не мог, иначе семье нечем было бы жить) повезла мужа к морю.

Петр Петрович увидал море в первый раз. Сначала оно не понравилось ему: масса воды плескалась без всякого толку, волны были слишком говорливы, точно хотели доказать что-то бесконечным повторением одного и того же. Синий круглый курган моря казался Петру Петровичу слишком большим и заслоняющим даль. Однако мало-помалу он привык к морю и скучал, уходя от него. Шум, сперва раздражавший Петра Петровича, начал успокаивать его. Бестолковая масса воды оформилась и стала одним образом, одним понятием. Синий курган сам открывал даль. А неугомонный, неустанный прибой именно однообразием и постоянностью своей невольно смешивал все времена и делал просто ненужным самое деление жизни на века и секунды. Больше, чем когда-либо и где-либо, Петр Петрович почувствовал себя у моря только частью всей жизни, всего мира и всех времен.

Он и Елена Матвевна поселились в маленькой белой дачке на горе. Здесь всегда дул ровный и свежий ветер, он-то словно и вычистил дачу и не позволял ни одной соринке упасть на нее. Тотчас за поворотом откры-

вался вид на море, сверху в хорошую тихую погоду видно было, как по морю переливаются светлые и темные полосы — прибрежные течения. Опираясь на палку,— он не мог теперь ходить без нее,— Петр Петрович часто останавливался здесь и бесцельно глядел вдаль. Тогда время не шло, а только беспрерывно и деловито, безвопросно и уверенно билось о жизнь где-то внизу у ног, как прибой. И так могли, казалось, пройти годы, а Петр Петрович все стоял бы здесь, ветер играл бы полою его пиджака, тучки ползли бы медленно, чуть только не стоя на месте, море внизу с одною и тою же силой било бы в берег. Но приходила Елена Матвевна, неуклюже скользя по камням, тревожно заглядывала Петру Петровичу в лицо и уводила его обедать.

Удар сильно повлиял на Петра Петровича. Он стал очень молчалив, тих и сосредоточен. Ни одного темного волоса не осталось на его голове, он согнулся, ходил очень тяжело, морщины обозначались резче,— он выглядел теперь много старше своих лет. Когда он появлялся на пляже среди ленивых взрослых и среди шумных детей, перед ним почтительно расступались. Он ни с кем не заговаривал. И у моря, на горячем песке, под палящим солнцем, в дневной истоме, никому не хотелось заговорить с этим стариком, так глубоко глядящим в себя и так холодно — на весь мир. И Петра Петровича люди больше не трогали. Они были так же однообразны, как песок, и вертелись на маленьком пространстве, как гонимые ветром песчинки. Он уходил в сторону, к камням, садился там и смотрел на море. Может быть, он ничего не видал. Может быть, он даже ни о чем не думал. Вспоминал он, во всяком случае, редко, обрывки далекого и недавнего прошлого, когда их случайно подсовывала память, не возбуждали ни радости, ни огорчения, и он легко расставался с ними. Он скорее прислушивался к чему-то, чего-то ожидал, не зная, откуда оно придет — изнутри или извне.

Очнувшись от удара, он понял, что ему надо умирать. Он еще не принял это как должное. Но бороться уже не было сил. Он снова понимал теперь, что всё — с той минуты, как он взял деньги из евинского ящика, до решения сказать всем правду в лицо,— было, в сущности, только попыткою бороться со смертью. Он взял деньги потому, что думал, будто они вызовут силу

к жизни. А все остальное рядом с этим и перед смертью было, конечно, не важно. Но это никому еще не удалось, и деньги он взял напрасно, ибо он не мог уйти от законов жизни. Только это было все равно непоправимо, да и несущественно, но ошибку свою он признал. И в первый и во второй раз он пошел, больной, в распределитель, тоже потому лишь, что цеплялся за жизнь. Конечно, и это не могло привести ни к чему. Ведь всегда он хотел чего-то еще, кроме прямой своей, понятной для живущих цели. Этого никто не мог дать ему, и это всех отталкивало от него. Потому-то все его попытки сговориться с людьми кончались неудачею: люди чувствовали за его словами какой-то неведомый, непонятный им страх, какое-то невысказанное желание — это пугало их, это они принимали за болезнь. Он попробовал выдумать иной мир, биение собственного сердца он принял за чьи-то шаги,— это была уже действительная болезнь, которой он дал увлечь себя, надеясь бессознательно, что она облегчит ему борьбу со смертью. И конечно, все развеялось прахом, от всего остался, может быть, один только воображаемый собеседник — он сам. Раз никто не мог понять его,— а он знал теперь, что если б ему самому другой человек в его же положении попытался бы исповедаться, он бы не понял его, да и у того человека ничего бы не вышло,— значит, ему оставалось говорить только с самим собою. Не с тенью, вымышленной и ненужной, а именно с собой, с этим вот старым человеком, от которого все сторонятся, который сидит у моря и слушает шум волн,— с тем кусочком жизни, что еще теплится в одряхлевшем теле и что, может быть, никогда не пропадет, никогда не развеется в ветре, а только соединится с его дыханием или упадет в море, и вместе с волною будет бездумно биться в берег.

Он теперь не боялся смерти. Можно ли было бояться того, против чего он был бессилен? Впрочем, может быть, это было и не так. Просто он все силы потратил на борьбу и, обессиленный, не примирился, а подчинился. Сдавшись, он увидал, каким безумием было начинать неравный бой. Он, наверно, сам ускорил конец. Но и это было ему теперь все равно. Если б у него оставался кусочек надежды, искорка сил, он, может быть, пожалел бы о том, что сам сократил свою жизнь, пожалел бы о каких-то несбывшихся вечерах и

днях. Но у него не было надежды и не осталось сил. Он не жил больше. Он только всё с большим трудом двигался и всё с большим трудом думал. Он знал: от него теперь ничего не зависит, смерть придет сама.

Он скрывал свое состояние и свои мысли от Елены Матвевны. Вернее, он не скрывал их, а только не сообщал. Она тоже ничем не могла помочь, а тревожить ее он не хотел. Он понимал, что это и к ней придет в свое время. Зачем предупреждать события? Может быть, ей как раз все обойдется дешевле и она перейдет от жизни к смерти так же просто, как уходила из столовой в кухню. Он видел, что она никогда не может скрыть свою тревогу за него и, плача, пишет своим все еще детским почерком письма детям. Но иногда надежда возвращалась к ней, она улыбалась, она бежала на кухню и готовила особенно внимательно его любимые блюда. По ночам, лежа с закрытыми глазами, чтобы не тревожить ее, он слышал, как в минуты отчаяния она вздыхала и плакала, а ощутив днем новую надежду, пыталась читать, чтобы развлечь мысли и отдохнуть. Он очень любил ее, может быть, больше даже, чем раньше. Он жалел ее. Когда он думал порою о семье, слезы неизменно набухали на его глазах. Но и он ничем не мог помочь жене, он не принадлежал ей больше, он никому не принадлежал, даже самому себе. Нет права на ветер, унесшийся вдаль, на гребень волны, вскипевший белою пеной и разошедшийся в других волнах. Кто-то сцепил капли, но вот они рассыпались,— может быть, им этого вовсе не хотелось,— рассыпались и растворились, волна плеснула в песок, песок сохнет на солнце. И если одна капля испарится раньше другой, кто виноват в этом, кто может им помочь?

Шли дни, и дни уходили, но Петр Петрович едва ли чувствовал, что ночь сменяет день, а утро начинает новый. Время текло для него так медленно, что порою ему казалось, будто оно остановилось. И днем и ночью ветер гудел в трубе, море било в берег. И если даже поднималась буря, если шли белые барашки, волны становились больше и грознее, и ветер уже не гудел, а ревел, и заливало те камни, на которых днем сидел Петр Петрович, и среди камней рвалась пена, взлетая вверх, и вместо шелковой прохладной волны, еле плескавшейся о скалы, поднимались ог-

ромные валы,— то все-таки и ветер был тот же, и море — то же. Утром солнце сушило мокрые скалы, от них шел пар, а волнишки снова ластились и чуть-чуть пенили ровный песок. Петр Петрович отвоевал свое, ему оставалось только тихо уйти в песок.

Он ни разу не подумал о том, как идет без него работа в распределителе, как справляется новый помощник, кто определяет качество поступившего товара. Когда мысли его, ничем не занятые, бродили, как слепые, в голове, они все-таки часто натыкались на людей. Он вспоминал сослуживцев без злобы, даже с сочувствием, а некоторых — и с любовью. Но они отделились от распределителя, он видел их не в служебном особняке, не в кабинете тов. Майкерского и даже не в домашней обстановке. Они уже не были больше связаны ни с местом, ни с делом. Он видел только людей — их сердце, иногда расположенное к нему, их мысли. Он понимал их теперь очень хорошо, он улыбался молодости Райкина и Геранина так же, как с нежностью думал о Елизавете и Камышове. Он желал Константину успешных занятий, но не потому уже, чтобы он ценил эти занятия, а потому, что знал, что этого требует от Константина жизнь. Он жалел Черкаса с его ненужными выдумками и тяжелою жизнью. Он был очень благодарен Ендричковскому и Петракевичу, он не сердился ни на тов. Майкерского, ни даже на Евина. Он пожалел бы и Евина, но думал, даже знал, что бухгалтер иначе жить не может и не хочет, что мелкая месть составляет всю радость мелкого человека. Он так ясно видел людей, но и это не доставляло ему ни радости, ни огорчения. Он был уже в стороне от всего. Может быть, роднее всего он чувствовал себя теперь морю. Вряд ли бы оно так понравилось ему раньше. Он нашел бы, наверное, что оно слишком беспорядочно и велико. Теперь он знал: уйти в это огромное и беспорядочное — его собственная участь.

Он чувствовал себя физически очень слабым, хотя и скрывал это от Елены Матвевны. Каждый день отнимал у него силы. Отдохнув после приезда, он вначале легко ходил и почти не задыхался, поднимаясь с пляжа домой. Теперь он должен был отдыхать на каждом шагу, несколько саженей от поворота до дома казались ему бесконечной и тяжелой дорогой. Он вся-

чески скрывал это от Елены Матвевны. Останавливаясь, он притворялся, будто любуется пейзажем, и делал вид, что спешить ему все равно некуда. Он аккуратно писал письма детям и неизменно сообщал, что он здоров и скоро приедет. Он сам не верил ни одному своему слову, но Елену Матвевну ему порою удавалось обмануть. Ее теперь, казалось, больше всего беспокоило, что у Петра Петровича стало портиться зрение, а глазного врача в местечке не было, и негде было приобрести очки. Он плохо различал даже крупную печать и с трудом выводил буквы, и она беспрестанно говорила о том, как бы съездить в город, зайти к врачу и купить очки.

Дни шли, крепчал ветер, море становилось бурнее, поредели люди на пляже, и Петру Петровичу все труднее становилось подыматься в гору, а Елена Матвевна, обманутая спокойствием мужа, разливавшимся по лицу его, как здоровье, писала уже домой, что скоро думает собираться в дорогу, везти Петра Петровича назад. Из распределителя выдавали все-таки пособие; после удара, случившегося с Петром Петровичем, сослуживцы пристыдили тов. Майкерского, он поехал в трест и взял назад просьбу об увольнении бывшего помощника. Константин стал зарабатывать, повезло и Камышову,— он устроился на хорошую службу. Елизавета самонадеянно писала: «Приезжайте, папе не надо больше работать, хочу выйти за Камышова и не дождусь вас». Петр Петрович улыбался, слушая ее письма, он радовался за детей, но не загадывал, увидит ли он их еще раз. А Елена Матвевна уже наводила справки, где и когда надо брать билеты. Она все еще не замечала, что Петр Петрович только огромным напряжением воли заставляет себя пройти несколько саженей от моря до дома.

Но пришел, наконец, день, когда и это оказалось не под силу. Еще утром, только проснувшись, Петр Петрович почувствовал, что не может встать с постели. Такое же чувство он испытывал каждое утро и потому не обратил на него внимания. Он дождался, пока Елена Матвевна ушла из комнаты, и тогда только тяжело поднял на руках свое тело и спустил ноги с кровати. Кровать тотчас пошла ходуном, и сердце заметалось в какой-то тревоге. Он переждал этот приступ, хотя ему казалось, что ветер, гудевший в трубе, ворвался

в комнату и раскачивает весь дом, пол и постель, ворвался в сердце и играет им как мячом. Но он нашел еще силы улыбнуться, когда вернулась Елена Матвевна. Она всегда помогала ему одеваться, помогла и сегодня. Она не заметила, что он не только не отказывается от ее помощи, но даже сам не делает ни одного движения. Он выпил чаю и, чтобы не тревожить ее, решил, как всегда, пойти к морю. На счастье, ей что-то надо было сделать дома, и она без страха отпустила его.

С палкой, отдыхая на каждом шагу, обливаясь потом, несмотря на холодноватый ветер, задыхаясь от ходьбы и от этого ветра, через какое-то бесконечное время он дотащился, наконец, до поворота. Здесь, в укрытом месте, невидный с дороги, прислонясь к скалам, лежал большой камень. На него, лицом к морю, Петр Петрович сел и впервые вздохнул полной грудью. И тотчас в глазах завертелись цветные круги, притихшее было сердце возобновило бешеную гонку, а тело норовило сползти с камня и покатиться по обрыву вниз. Но Петр Петрович снова совладал с собою и увидел вместо кругов море, усилием воли приглушил стук разбушевавшегося сердца и осторожно перевел дыхание, чтобы глубокий вздох не вызвал нового приступа.

День был облачный, серый, облака заволокли небо и неслись с невероятною быстротою, не открывая его ни на миг, отчего оно нависло низко и хмуро. Море посерело, белые барашки не выдавались на мути, на хляби волн. Дом и Елену Матвевну и весь остальной людской мир отрезала скала, все это осталось страшно далеко, недоступно далеко. Петр Петрович сидел один на камне, перед ним шло море, он чувствовал, что он совсем скоро станет мертвым куском этого целого, но он еще не превратился в камень, он еще жил другою, короткою жизнью, ее последним концом.

Он не знал, как долго он просидел здесь без мыслей,— времени для него словно не существовало, в этом он уже слился с морем и с камнями. Кое-как усмирив болезненные ощущения, он долго отдыхал, не глядя, не прислушиваясь, не думая. Потом он вдруг забеспокоился. Он понял, что у него не хватит сил дотащиться обратно к дому, а ему так не хотелось, чтобы Елена Матвевна кинулась на поиски. Странно, он хо-

рошо понимал, что жить ему осталось считанные часы, может быть, но он ни разу не подумал о том, что будет с Еленою Матвевной после его смерти, а только волновался, не испугается ли она, если он не вернется домой к обеду. Но делать было нечего, он не мог встать, как бы ни хотел этого: он бы не удержался на ногах.

Петр Петрович медленно поднял глаза и посмотрел на море. Было так странно, что море, которого он прежде никогда не видал, вдруг стало ему ближе и роднее, чем люди, чем вся его жизнь. Может быть, им обоим, в сущности, не было дела друг до друга. Морю было все равно, кто сутулится на скалах, человек или камень, живой или мертвый, а Петр Петрович только смотрел сверху и даже ни разу не коснулся воды.

И это было все. Нет, Петр Петрович не жил на свете пятьдесят пять лет, не бегал мальчиком в сад, не женился на красавице, не торговал сукном, не растил детей. Палка уходит в песок, песчинки сыплются за нею, старый камень обваливается, осколки катятся в обрыв,— Петр Петрович жил, Петр Петрович умирает. Воображаемый собеседник, где ты? Можешь ли ты утешить, или ты уже тоже замолк, замолк навсегда?

Надо было идти домой, Елена Матвевна ждала, надо было идти домой, Елена Матвевна, наверно, уже начала беспокоиться, суп мог перекипеть, зеленый суп, любимый суп Петра Петровича, из всех кореньев, которые давала земля. Но что Петру Петровичу суп, когда скоро уже его самого мертвым корнем уложат в землю, и он не даст новых ростков, он будет лежать неподвижно, и никто не придет, даже воображаемый собеседник не придет, ибо ничьих слов Петр Петрович уже не расслышит. Шумит еще море или нет? Идут еще волны, вскипает еще песок, несутся ли облака?

Дети еще не совсем выросли, хотя они уже самостоятельны. Их ждет много обид и преград, Петр Петрович мог бы им помочь, но ничего, он и сам знал обиды и преграды. Обид не стало, последнюю преграду он скоро перешагнет.

Сегодня море и волны похожи на серое сукно, на простое серое сукно, какое идет на солдатские шинели. В распределителе — новый помощник. Носятся маль-

чики, скрипит пером Евин, Кочетков открывает дверь, мрачно огрызается Ендричковский, молчит Петракевич, тов. Майкерский гордится тем, что его учреждение — образцовое учреждение. Впрочем, Петр Петрович взял какие-то деньги. Этих денег не надо было брать, их нельзя было брать, Петр Петрович ошибся, их именно нельзя было брать. Жаль, что некогда сказать это сослуживцам. Он наговорил им много пустяков, он что-то шумел и о чем-то спорил. Это все пустое, и не так уж важно сукно, и не так уж значительны люди, а денег все-таки нельзя было брать. Надо было бы сказать еще раз об этом детям,— пусть помнят и не ошибаются. Но все это теперь не важно, поздно думать об этом и жалеть, Петра Петровича больше нет.

Скоро не будет и Елены Матвевны. Что же она не идет, Елена Матвевна? Она, наверно, не знает, где ей искать мужа, с которым она прожила вместе почти тридцать лет, а он не может подняться и пойти ей навстречу. Ее следовало бы встретить, как королеву, она заслужила это. Как он любил ее, как он сроднился с ней, мыслями, телом, дыханием!.. Но и это теперь не так важно, и это уже позади. Что же еще осталось, что мешает упасть на камень и стать самому камнем? Ведь морю все равно, камень или человек.

Да, воображаемый собеседник. Ну, он не так-то был разговорчив и занимателен, этот собеседник всей жизни. Конечно, с ним Петр Петрович сроднился не меньше, а пожалуй, и больше, чем даже с Еленой Матвевной. Ведь это все-таки был он сам. Ну, до свиданья, Петр Петрович, или как его звали? В шуме волн уже не различить имени, ветер разорвал звуки и унес, они уже стали частью, маленькою частицей ветра и морского шума. Что же еще?

Это — все. Это — вся жизнь, долгие пятьдесят пять лет? Вот для этой минуты жил человек, которого звали Петром Петровичем, говорил с другими и с собой? Все для того, чтобы стать вечно молчащим камнем?

Камень еще видел. Петр Петрович посмотрел кругом. Двинуться он уж не мог. Ветер разорвал облака. Солнца не было, только где-то в тучах пробивался розовый свет. Небо метнулось в глазах и закружилось. И Петр Петрович увидал звезды. Их было

много — тысячи светящихся точек, миллионы. Никогда раньше он не видал столько звезд. Они дрожали, описывая круги. Затих ветер, и замолкло море. Что это произошло, что в мире все остановилось, а звезды стали видны днем? Это — конец или начало?

Елена Матвевна уже давно искала мужа. Она сбежала вниз, там его не было. Она побежала назад, думая, что он, может быть, вернулся кружным путем. Беспокойство охватило ее. Она останавливалась на дороге и звала. И ей показалось, что кто-то слабо ответил ей. Она обогнула скалу и увидала, что Петр Петрович сидит на камне, прислонившись к скале, голова его повисла, а тело сползает к земле. Она кинулась к нему и обхватила его своими слабыми руками. Он открыл глаза, с трудом набрал воздуху в задыхающийся рот и тихо сказал:

— Умираю, Елена.

Он хотел улыбнуться и в улыбку вложить прощанье, любовь и привет всему, что он оставлял, но и на улыбку не хватило сил. Только чуть вздрогнули углы губ, и тело его обвисло на руках Елены Матвевны.

Он не слыхал, как она закричала. Он не слыхал, как пришли люди и, сняв перед ним шапки, отнесли его наверх, в белую дачу. Он не слыхал, как причитала и плакала Елена Матвевна, как кто-то послал телеграмму детям и сослуживцам и как пришли соболезнующие ответы. Он не слыхал, как Елена Матвевна жаловалась всем, что не успела купить ему очки, и он так и читал до самой смерти, плохо разбирая даже крупную печать,— как будто это было важно еще теперь. Впрочем, и она знала, что это не важно, она, в сущности, плакала совсем о другом — о том, что роднило ее с покойным таким простым, живым и последним воспоминанием.

Петра Петровича положили у окна. В окно видно было море. Оно все шло и шло, волны неслись, как войско, как неисчислимая армия, блестя на солнце шлемами, и казалось, что крайние — фланговые — идут так быстро, даже бегут, и передовые разбиваются одна за другой, а в это же время центр вовсе не движется,— но это только казалось так, на самом деле море шло всею огромною непостижимою своей величиной.

1928

СОДЕРЖАНИЕ

В. Каверин. Место в мире 5

ВООБРАЖАЕМЫЙ СОБЕСЕДНИК. *Роман*

1. Петр Петрович Обыденный приглашает сослуживцев на свои именины 19
2. Счастливая семья 30
3. Черкас заканчивает праздник пляской 41
4. Гражданочка, разрешите вам понравиться 56
5. Балаган — и еще балаган 66
6. Накрахмаленные бумажки 79
7. Возвращенные червонцы, возвращенный мир 93
8. Первый звоночек 107
9. Евин разоблачает 121
10. Петр Петрович пытается прервать свой отпуск 133
11. Молчание 146
12. Далекий огонек 159
13. Два посещения Черкаса 170
14. Юбилей мысли 181
15. Двойная жизнь 193
16. От воображаемого к действительному 205
17. Искупление 216
18. Когда звезды видны днем 228

Савич О. Г.

С 13 **Воображаемый собеседник:** Роман/Подгот. текста А. Савич; Вступ. ст. В. Каверина.— М.: Худож. лит., 1991.— 238 с. (Забытая книга).

ISBN 5-280-01811-2

Овадий Герцович Савич (1896—1967) более известен широкому читателю как переводчик испанской, чилийской, кубинской, мексиканской, колумбийской поэзии. «Воображаемый собеседник» единственный раз выходил в 1928 году. Роман проникнут удивлением человека перед скрытой силой его души. Это тоска по несбывшемуся, по разнообразию жизни, «по высокой цели, без которой жизнь пуста и ничтожна».

С $\frac{4702010201-163}{028(01)-91}$ КБ-39-39-90

ББК 84Р7



Овадий Герцович Савич

ВООБРАЖАЕМЫЙ СОБЕСЕДНИК

Роман

Редакторы *А. Краковская, В. Лапочкина*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *В. Нефедова*

Корректор *Г. Ганапольская*

ИБ № 6543

Сдано в набор 26.09.90. Подписано в печать 14.06.91. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 12,64. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3965. Заказ № 1093. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28


2p.